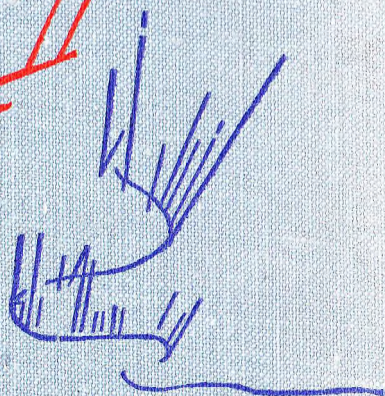


31(98)

К18

МИХАИЛ КАМИНСКИЙ



СВОИМИ
РУКАМИ



✓ ПР

9/1981
K 18



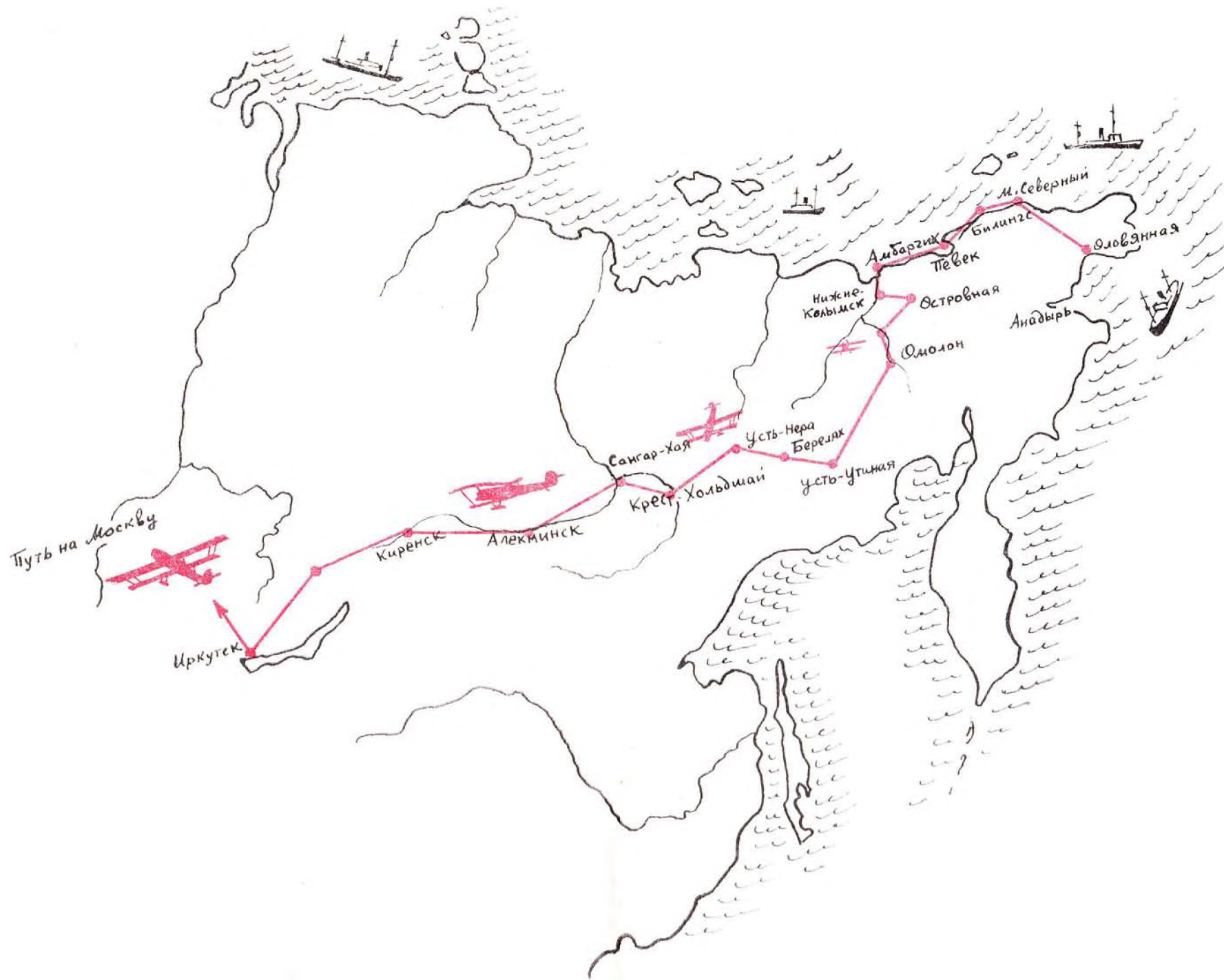
МИХАИЛ КАМИНСКИЙ

СВОИМИ РУКАМИ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1977

МОСТКОМ МОЛОД
ЕВЕР

—08856—



«Труд — источник всякого богатства... Но он еще и нечто бесконечно большее, чем это».

Ф. ЭНГЕЛЬС

Юные годы мои совпали с эпохой, которая провозгласила: «Кто был ничем — тот станет всем!» Дети рабочего класса, мы вступали в ряды комсомола и заряжались верой в то, что будущее принадлежит нам. Чтобы стать «всеми» — надо было бороться. Бороться не на жизнь, а на смерть.

Коллективизация, индустриализация, освоение пустынь и Арктики, а потом борьба с фашизмом — это деяния нашего поколения. Со своими сверстниками этот путь борьбы и побед прошел и я...

Романтика эпохи вела меня на край света: на Чукотку, к полюсу, в Антарктиду. Не раз жизнь ставила перед обстоятельствами, в которых гибли более сильные и не менее смелые, а мне повезло. Биография сложилась так, что и самому не верится, что она моя, а не чужая. И вот пришло время подвести итоги, рассказать о полярной авиации 30-х годов и самому себе задать вопрос: в чем секрет успеха, чем я мог бы поделиться с молодыми?

В самом общем виде этот «секрет» в активной жизненной позиции. Комсомол приобщил меня к передовым идеям эпохи, наделил смелостью и оптимизмом, подготовил для вступления в партию. Партия сформировала во мне личность, осознавшую величие силы человеческого разума, указала цель и научила стойкости в борьбе. Я с пользой для Отечества прожил свою жизнь и этим счастлив...

Жизнь летчика на заре становления авиации была полна опасностей. В заполярных широтах эти опасности удваивались. Не раз мне казалось: «Все, это конец!» Но я уцелел. И в первый и в сотый раз! Прежде всего я пытался понять, как попал в гибельную ситуацию, а потом уже спрашивал себя: что это, счастливая случайность или закономерность?

Реакция на опасность? И конечно, думал, что это за «штука», человеческое счастье.

Анализируя жизненный опыт, пришел к выводу, что каждый человек с первых самостоятельных шагов стремится сделать что-то необыкновенное, свое, отличное от других. Он встречает препятствия, одолевает их или отступает, радуется или горюет, снова борется с несчастливыми обстоятельствами, со своими слабостями, а в конце и с атакой лет. И очень редко, на короткие мгновения чувствует

себя счастливым. Однако жизнь идет, препятствий не становится меньше, а счастье, как горизонт, все время впереди. Человек думает: жизнь велика, еще успею!

Но жизнь не бесконечна. Приходит день, когда осознается, что время активных действий исчерпано. Пришел такой день и для меня. Генеральные битвы остались позади, бывшие обиды и неудачи потеряли значение. Перед умственным взором все преодоления выстроились в линию общего смысла. Вся жизнь была борьбой!

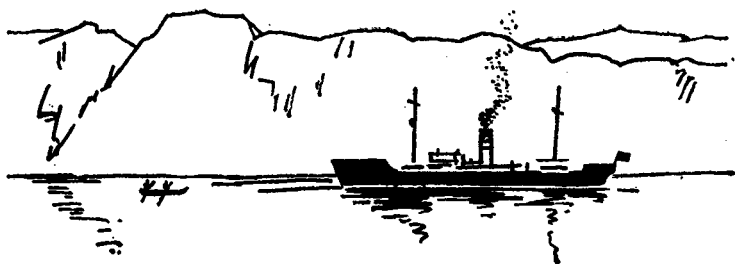
И вот я взялся за перо! Взялся с намерением рассказать тем, кто начинает жизнь, что только через приобщение к великому делу, через сотворенное в нем своими руками — достижимы полнота и величие жизни. На примерах реальных судеб я хочу показать, что человеческое счастье — в борьбе не за личное, а за общее благополучие и процветание. Убедить, что человек, если он не стоит «спиной к ветру», может гораздо больше, чем предполагает. В человеке важнее всего его характер, убеждения, поступки. Именно этим определяется успех (или неуспех) дела, которому он служит, и его личный успех. И еще одно: доказать, что романтика — великий дар природы, это то оптимистическое состояние духа, которое помогает одолевать несчастья и достигать желаемого.

В год шестидесятилетия Великой революции, поднявшей меня из социальных подвалов в НЕБО, я счастлив, что оказался не на обочине исторического процесса, не на задворках, а в самой гуще жизни. Счастлив, что с малых лет в комсомоле, а потом в партии шел вперед, не отставая, не сбиваясь с ноги.

Моя мысль с великой заинтересованностью всматривается в светлое будущее человечества, ради которого работало и сражалось мое поколение. Верю, что идеи коммунизма объединят всех людей на Земле и они устроят красивую и умную жизнь на родной планете. Горжусь, что и моя жизнь каплей в океане влилась в это прекрасное будущее.

Часть первая

**ЗДЕСЬ КЛЯТВ НЕ ДАЮТ,
ИХ ВЫПОЛНЯЮТ**



Глава первая

ВЕТРЫ ПЕРЕМЕН ДУЮТ НА ЧУКОТКУ

ЗАБУДЬ ЭТУ МИНУТУ, МИТЕЙ!

С апреля по сентябрь тридцать пятого года мы проходили обычный курс новобранцев в далекие экспедиции. Изучение материалов, комплектование снаряжения, споры и сборы в Москве.

Пересекая страну по великой Транссибирской магистрали, пережили все восторги от перемены мест. В Хабаровске получили самолеты Р-5, перегнали их во Владивосток, погрузили на пароход. Все это время скучать нам не приходилось, раскаиваться тоже, энтузиазм держался на начальном уровне.

Впервые что-то похожее на растерянность ощутил я при отплытии из Владивостока. Крохотный буксир выволакивал громадину парохода из тесноты у причальной стенки на простор. Пассажиры «приклеились» к поручням верхней палубы: мы с Митей смотрели во все глаза. Стоял на диво тихий и ясный день. По сверкающей глади бухты Золотой Рог юрко сновали катера и моторки, стояли на якорях или степенно передвигались пароходы. Заметно удалялся пирс с доверчиво прижавшимися к нему кораблями, а на зеленых склонах сопки развertyвалась панорама приморского города. Здесь была жизнь, знакомая лишь по книгам, от которых замирало сердце. Неожиданно подумалось: «А мо-

жет, эту красоту я вижу в последний раз?» И пошла разматываться нить запоздалых сожалений. Свершилось необратимое! Это не пароход уходит от берега, а я ухожу от устойчивого, защищенного благополучия. Ухожу от ясности и определенности своего места в жизни. И не к тропическому, обжитому югу, а в загадочную, беспощадную Арктику. Не будет газет, писем, известий по радио. Не более одной телеграммы, как предупреждали, я смогу послать и получить за три месяца. Слово *год* отпечаталось в мозгу великанскими буквами — оно было равнозначно слову *вечность*. Мать, жена Таня, сын Сережа, друзья по работе — все это остается здесь, а я буду в другом мире со своей тоской о них. И еще будут какие-то, пока неведомые опасности и совсем неясно, кто кого одолеет...

Чуткий Митя уловил мое душевное состояние и спросил участливо:

— О чем задумался, командир?

Вопрос его вызвал раздражение, как будто это Митя виноват, что я так себя чувствую.

— Влип я! Прав был Холобаев.

Митя удивленно поглядел мне в глаза и отвернулся. Помолчал, будто накапливая злость, и не сказал, а выкрикнул:

— Кретины!

— Кто?

— Те, кто под настроение готов мечту ногами затоптать.

— Ты мог бы не орать на всю округу.

— А ты мог бы обойтись без идиотских сожалений и думать не только о себе!

Последние слова прозвучали как пощечина. Митя всегда был справедлив. Надо отступить. В моем голосе появились заискивающие нотки:

— Я знал, дорогой мой, что у тебя нет чувства юмора, но думал, что и ты это знаешь.

— А тебя родители обделили деликатностью. И никакой я тебе не дорогой. Иди к черту!

Насупившись, Митя решительно перешел на другую сторону палубы. Мне стало нестерпимо стыдно. Ведь он только месяц назад женился, тогда я еще подумал: «Все! Придется ехать одному!»

Но он поехал. Более убедительного примера верности мечте и своему слову я не знал. Конечно, он тос-

ковал, глядя на удаляющийся берег. Я подошел к нему, обнял за плечи. Почувствовал, как протестующе напряглись бугры его мышц.

Митя! Прости и забудь эту минуту!

Буксир отдал конец, заработала машина «Охотска». Набирая ход, он дал три длинных гудка. Тут же отозвались все пароходы на рейде. Это традиционный салют уходящим в Арктику. Митя вздрогнул под моей рукой, а у меня щеkotно заглодел затылок. Очень приподнято и чуть тревожно стало от этого слитного гула корабельных сирен...

В БЕРИНГОВОМ МОРЕ

Помня о своем обещании Холобаеву и товарищам по отряду, я приучил себя вести дневник. Как и большинство начинающих, я злоупотреблял записями уже тысячи раз описанного, вроде восторгов перед необъятностью моря, красотой солнечных закатов и других явлений природы, поражающих новичка. Потому ограничусь сейчас сведениями, которые помогут понять специфику того времени.

Прямое назначение «Охотска» — грузовые рейсы для снабжения рыбацких поселков и зимовок на Камчатке и Чукотке. На своем веку он перевозил всякое: в бочках, ящиках и просто навалом, от рыбы до угля. Пропитался всевозможными запахами, и заподозрить его в стерильности было бы кощунством. Вместе с грузами «Охотск» перевозил животных и людей. Для людей приспособлялся носовой трюм, именуемый твиндеком. Коровы и свиньи размещались на палубе во временных постройках.

В нашем рейсе было двести пассажиров: авиаторы, строители, изыскатели, работники факторий, радисты, метеорологи, советские и партийные работники. Моряки говорили, что никогда еще на зиму глядя не ехало на Север столько специалистов. Освоение Чукотки требовало от Большой земли щедрости на умелых людей. Среди пассажиров — шестнадцать женщин. До сих пор в Арктику их не допускали под всеми предлогами, опасаясь раздоров среди представителей сильного пола. Пять из наших пассажирок были совсем молоденькими — девчушки, только что окончившие в Хабаровске педагогическое училище.

Из дневника за 13 сентября

«...На шестой день плавания «Охотск» вошел в зону циклонов. Низкий бег изорванных в клочья облаков, заряды холодной мороси и буйный ветер. Поверхность океана вздыблена исполинскими волнами. Они непрерывной чередой несутся навстречу. Мягкая, податливая вода стала сокрушающим тараном. Он неумоимо бьет по нашему убежищу, внушая страх силой своих ударов. Вой ветра, рев моря, взлеты и падения корабля парализуют психику, вызывают тошноту и головокружение. Озверевшее море играет с «Охотском», как кошка с мышью, а он с героическим упорством карабкается с горы на гору...

Знал я, что шторм в море дело обычное и что по этой причине корабли тонут не каждый раз, однако в первые дни не мог подавить в себе ощущение пустоты в груди, тошнотного комка в горле. Но все же я держался на ногах и не отказывался от пищи. Среди пассажиров таких оказалось меньше половины.

В один из штормовых дней, желая провести нашего инженера Ивана Мажелиса, я спустился в твиндек. Глухие стены — борта корабля, пол и потолок тоже из металла. Кроме двухэтажных нар, удобств никаких. Свет — две стоваттные лампочки; воздух — через вентиляционную трубу в потолке. Пока было тепло и тихо, оставался открытым проем грузового люка. Сейчас он задраен, и помещение больше всего походит на большой тюремный карцер. Выход из него через маленькую железную дверку и узкий коридор, а из него в кают-компанию и места общего пользования. Воздух насыщен дурными запахами, а лампочки еле просвечивают через сизую мглу испарений. Измученные морской болезнью мужчины и женщины, покорившись неизбежному, лежат вповалку. От несвежего воздуха, от этих «чертовых качелей» падающего и поднимающегося судна, от железного грома замирает сердце. Каждая молекула ощущает мизерность тех миллиметров оболочки корабля, которые защищают от ударов остервеневшей стихии...»

14 сентября. Берингово море

«Вчера шторм стал стихать. Сегодня к утру наш ковчег вошел в осязаемую, непривычную тишину. Свое недавнее буйство природа заглаживает сооружением пря-

мо-таки роскошной погоды. Ветра как не бывало, истаяли облака, море из грязно-серого стало зеленым, заметно прогревает нежгучее, доброе солнце. Магросы открыли проем грузового люка, в пассажирский трюм обрушился поток чистейшего морского воздуха и солнечного света.

Жители твиндека, как жуки после зимовки, выползали на палубу. Лица бледно-зеленые, походка нетвердая, дыхание астматическое. Пережитое сделало общительными самых замкнутых. Каждый стремился рассказать о шторме.

Вдруг среди дня, как на каравелле Колумба, раздался клич — земля! Удивительное действие производит это слово на человека в море. Все, у кого восстановилась способность интересоваться чем-либо, переместились к поручням левого борта и на нос. Действительно, на западе, между зеленым и голубым, стала различаться темная полоска. Она приближалась, и на ней выступили строения какого-то поселка. А еще дальше горизонт обозначился ломаной линией гор, затушеванных дымкой. Пароход явно сближался с берегом.

...Еще в начале пути мое внимание привлек немолодой пассажир по фамилии Войнилович. «Тысяча извинений, разрешите пройти!» (на палубе). «Не откажите в любезности передать кусочек хлеба!» (в кают-компании). Его костюм из редкого тогда дорогого бостона выделялся среди рабочих ватников и меховушек. «Романтик из ученых старичков. Хватит лиха — скиснет бедняга!» — самонадеянно заключил я свои наблюдения. Можно представить мое удивление, когда в разгар шторма я увидел в кают-компании «беднягу», с полным самообладанием разыгрывающего пулюку: «Девять пик, с вашего разрешения!»

Выяснилось, что Войнилович жил на Камчатке и уже старожил Чукотки, работает в Уэлене бухгалтером, сейчас возвращается из командировки в Хабаровск. Весь его облик, почти без морщин округлое, с добрым прищуром лицо, ласковый говорок в моем представлении не сочетались со строгостью профессии. Его жизнерадостная приветливость на всех действовала покоряюще, к нему тянулись.

Выйдя на палубу после шторма, я увидел Войниловича в окружении молодежи.

— Сергей Владимирович! А что это за деревня?

— Здесь, дорогой мой, хлеба не сеют, потому деревень нет. Охотой да рыболовством существуют здешние народы. Примечайте: все, что видите слева, — это земля камчатская, а это поселение относится уже к Чукотке. Майно-Пыльгино прозывается. Слыхали, может?.. Ага, правильно говоришь, дорогой, не отстаешь от событий. В прошлом году здешняя пурга задержала отряд летчика Каманина, и на несколько дней Майно-Пыльгино стало известным всему свету. А кроме того, ребяташки, данный географический пункт интересен и другим. Проживает в нем единственное на земле племя, от которого осталось всего душ сорок обоего пола. Исчезло бы оно начисто, кабы не революция наша в семнадцатом году. Это, дети мои, вам пример для политической сознательности.

Берег уходил назад, строения различались уже неясно. Провожая его взглядом, рассказчик продолжал:

— Кереки! Так называют это племя. Верно, нет ли, но легенда рассказывает, будто их религия запрещала проливать человеческую кровь и родниться с иноплемениками.

— Ну а как вы думаете, хорошо это — не проливать крови?

— Правильно говоришь, юноша! Хорошо, когда и твою кровь никто не желает проливать, а если желает? Что бы стало с Россией, кабы русские не оборонялись от татар, шведов и прочих любителей чужого?.. Вот, вот, дорогой, и от всех других нашествий в гражданскую войну. Когда нападают — обороняться надо, и тут уж кровью не считаются!

«Ого! Этот старикан политграмоту сдает на пятерку!» — восхитился я.

— Воинственные коряки и чукчи, — продолжал Войнилович, — беспощадно истребляли кереков, вытесняя их с оленьих пастбищ в бесплодные горы. Остатки племени на лахтачьих ремнях спустились к урезу моря и вели жалкое существование, питаясь сырой рыбой. Лет десять назад, когда в этих краях утвердилась Советская власть, Камчатский ревком взял кереков под защиту от соседей и переселил их в Майно-Пыльгино. Для них построили школу и факторию. Теперь они живут по новым законам.

В голосе рассказчика чувствовалось удовлетворение от такого поворота в судьбе кереков.

Я отошел. Что-то давно знакомое по рассказам Джека Лондона отозвалось во мне. Сильные процветают — слабые погибают! Кстати, что-то не помнится, чтобы герои этого писателя вот так, как Войнилович, рассуждали о похожей судьбе американских индейцев! Покорность, неспособность к сопротивлению противоречили духу революционной эпохи, воспитывавшей меня. Но раз такие люди еще есть, то наша революция научит их стоять на своей земле гордо. Для того мы и едем на Чукотку!

Пейзаж постепенно менялся. Низменный берег становился возвышенным, далекие горы приблизились.

Я никогда не видел гор и представлял их только по картинам. Впервые они предстали моему взору в натуре. Должен признаться — совсем немалыми к себе, как на тех картинках. От голых подножий этих могучих складок планеты, заполнивших все видимое пространство, поднимались каменные уступы, переходящие в крутобокие, безрадостно-серого цвета вершины. И даже снеговые шапки, отражавшие солнечное сияние, не смягчали впечатления чего-то недоброго и безжизненного, таящего угрозу для человека.

«Вот какая она — земля обетованная!» — думалось мне. Голая, неуютная, почти необжитая. Огромные расстояния, изнуряющие штормы — лишь первые препятствия. «Что же будет дальше?» — размышлял я и дивился, как быстро человек забывает о плохом, что уже перенес. Еще сутки назад, изнемогая в штормовой качке, думалось, что нет уже больше сил, а сейчас жажда активного действия овладевала мною. Скорей бы добраться до места!

Гористый берег круто повернул к востоку, образовав уступ поперек курса корабля. Пароход бросил якорь. Пробили склянки, и вслед за тем раздался возглас:

— Обед готов! Товарищи пассажиры, просим в кают-компанию!

Толпа поредела. Я в шторм не голодал и вместе с Митей предпочел обеду наблюдение за предстоящими событиями. А они надвигались, не зря же мы стали на якорь в необитаемом месте!

Ан нет! В распадке меж двух массивов заметил что-то похожее на творение человеческих рук. Интересно, кто же может здесь жить?

От берега отделилась какая-то непонятная посудина. Она была так мала, что трое сидевших в ней, казалось, не имели под собой опоры и передвигались по воде, как по суше. Когда они скрывались за гребнем зыби, замирало сердце. Но вот они приблизились, и стало возможным рассмотреть трех бородачей, энергично выгребавших короткими, похожими на лопаты веслами. Их прибытие капитан приветствовал продолжительным гудком и распорядился опустить парадный трап.

Первым на борт поднялся мужчина лет тридцати пяти с каштановой бородкой. На голове фуражка-капитанка, увенчанная «крабом» и буквами СМП на голубом поле треугольного значка. Этот знак говорил о принадлежности к «великой империи Главсевморпути». Мужчина держался словно представитель суверенной державы, прибывший послом в соседнее государство. Сопровождающие поднялись следом и выстроились по бокам своего предводителя. С одной стороны — высокий, атлетически сложенный человек с черной волнистой бородой и дерзким взглядом антрацитовых глаз. С другой стороны обосновался невысокий, коренастый парень, про которого так и хотелось сказать: «Скроен неладно, а сшит крепко!» Лицо его до самых глаз заросло яркой рыжей бородой, из которой выглядывала пуговка носа. Это разбойничье лицо украшали голубые, по-детски доверчивые глаза.

Все трое были одеты «из одного магазина» — в потерявшие первоначальный цвет и вид ватники, брезентовые брюки и рыбацкие сапоги, подвязанные за ушки к поясу. У трапа в парадной форме их встречал со свитой помощников сам капитан. Он обратился к первому, угадав в нем главного:

— Вы Ардамацкий?

— Так точно. Разрешите представить товарищей: Иван Никитович Хомутов — радист, — жест в сторону рыжебородого. — Максим Петрович Власенко — наш мастер на все руки.

Радист неуклюже поклонился, а «мастер на все руки» не шелохнулся.

— Здравствуйте, Игорь Леонидович! Здравствуйте, товарищи полярники. Много слышал о вас, рад познакомиться — капитан Кудлай Алексей Терентьевич!

Пожав каждому руку, капитан представил своих по-

мощников, называя должность и фамилию каждого из четырех.

Итак, здесь полярная станция! После челюскинской эпопеи эти слова стали все чаще слышаться в радиопередачах. Становясь привычным, это словосочетание не имело реального образа. Сейчас подумалось: «Странно, дороги нет, а станция есть!» Отсутствие логической связи усилило значительность такого названия. Оно топорщилось, останавливая мысль в поисках его смысла. Хорошо бы посмотреть на эту «станцию» вблизи!

По морскому обычаю капитан пригласил начальника станции «откушать» в свою каюту, а его спутников старпом увел с собой.

После обеда, оставив своих бородачей принимать и отправлять грузы станции, Ардамацкий собрался вернуться на берег. Когда он обменивался последним рукопожатием с капитаном, я встал перед ними:

— Товарищ капитан! Разрешите мне сойти на берег!

— Это еще зачем? — Брови моряка собрались домиком.

— Мне придется здесь летать. Надо обследовать местность на случай посадки.

Не зная, как отнестись к необычной просьбе, капитан перевел взгляд на Ардамацкого.

— Это желательно, Алексей Терентьевич! — ответил его гость. — Если товарищ летчик не побоится, я захвачу его на своей байдарке.

— В вашем распоряжении два часа! — сказал капитан и тут же отошел, недовольный своим вынужденным согласием.

— Спасибо, Игорь Леонидович! — тихо сказал я в спину Ардамацкому, начавшему спуск к воде.

ВСЕ, ЧТО МОЖЕШЬ, И ЧУТЬ БОЛЬШЕ!

На нижней ступени трапа мне стало не по себе. Все-таки вода не родная стихия для человека. Она дышала, как живое существо, то поднимая свою исполинскую грудь, то опуская ее больше чем на метр ниже уровня площадки трапа. «Охотск» казался маленькой, но надежной крепостью, из которой предстояло выйти и довериться этой стихии, грозной даже в покое.

Неуклюжая низкобортная посудина, названная байдаркой, не внушала доверия. Ее хилый остов был обтянут какой-то кожей, а сама она покорно повторяла все колебания водной поверхности. Казалось, плоскодонка неминуемо опрокинется от малейшего смещения центра тяжести. Однако Ардамацкий прыгнул на нее, как всадник на необъезженного коня, и протянул мне руку. Не уловив ритма волны, я тоже прыгнул в опускавшуюся лодку, повиснув на Ардамацком. При этом испытал, что значат слова: «Покрылся холодным потом».

— Не обращайтесь внимания! — с поразительным хладнокровием заметил мой капитан. — Это страшно с непривычки. — Вооружившись самодельным веслом, добавил: — Делайте как я, постепенно приладитесь!

Мы поплыли. Байдарка раскачивалась на зыби, как яичная скорлупа, а я все время ждал, что она перевернется или ее накроет волной. Скрывая смущение, спросил:

— Глубоко под нами?

— Кто ж его знает? Глубину здесь никто не промерял. Даже берег обозначен пунктиром как неисследованный. Видите эти горы? На карте вместо них белое пятно. В прошлом году, когда нас выгружали, старпом сделал астрономическое определение координат и установил, что пароход стоит на суше, в двенадцати километрах от берега, означенного на карте.

— Вы, как видно, давно на Чукотке?

— Да нет, только на второй зимовке. В тридцать третьем участвовал в основании «полярки» в Уэлене, а в прошлом году послали сюда.

— Значит, челюскинские события при вас проходили?

— А как же! На собаках я объездил все побережье от Уэлена до Ванкарема. Организовывал пункты ночлега и питания, а также транспорт для тех, кого летчики вывели из лагеря. Когда пропал Ляпидевский, участвовал в поисках и первым обнаружил его аварийный самолет.

— Счастливый вы! Сколько интересного повидали...

— Не печальтесь. На Чукотке такого «счастья» хватит и для вас.

От моей «ловкости» в действиях веслом байдарка передвигалась зигзагами, порой даже поворачивалась вокруг своей оси. Я смущался и краснел, удивляясь не-

вероятной терпимости своего спутника. Он исправлял положение, а я не знал, куда деваться, уже не радуясь поездке. Мог бы подождать и плыть на вельботе.

Но так или иначе мы добрались до линии прибоя. Волна периодически накатывалась на берег пенистым гребнем почти в рост человека. Разбившись, она отступала, обнажая метров десять мокрой гальки.

— Оставьте весло, приготовьтесь быстро выпрыгнуть! — скомандовал Ардамацкий. Я бросил весло на дно лодки, не представляя, что значит приготовиться. Казалось, эта лоханка только и ждет, когда я шевельнусь, чтобы опрокинуться.

Ардамацкий, орудуя одним веслом, вывел байдарку на гребень волны в тот момент, когда она готовилась обрушиться на берег. И — вот чудо! — нас выкинуло почти к сухому месту. Я выпрыгнул, чуть замочив ботинки, а мой капитан успел выхватить из убегающей волны и байдарку.

«Вот дьявол бородатый! Как все у него ловко получается!» — с невольным восхищением подумал я.

Делая первые шаги по земле, к которой так долго были прикованы все их помыслы, люди должны бы переживать что-то возвышенное. Со мной этого не случилось. Первый мой вопрос возник от самых примитивных ощущений:

— В каком состоянии ваши руки, Игорь Леонидович?

Ардамацкий взглянул на меня с недоумением и, мгновение поколебавшись, посмотрел на свои грязные, огрубевшие, в мозолях ладони.

— В приличном обществе с такими руками не покажешься, но мы сейчас следим за чистотой не больше, чем чукчи. Вот следующая смена обстроится и сможет жить культурнее. — Это было сказано извиняющимся тоном.

— Вы меня не так поняли, Игорь Леонидович! — Показав свои руки, растертые веслом, я помахал ими в воздухе. — Просто я удивляюсь, почему мои все в пузырях и кровавых ссадинах. Болят, черти!

— Ах вот что! Это не страшно. Поначалу у меня тоже волдыри не сходили неделями. Сейчас зайдём в нашу зону комфорта, промоем пресной водой и перевежем. Немного посаднит, а к вечеру успокоится.

От этих слов моя боль вроде бы уменьшилась. На его месте я, наверное, высказался бы менее дру-

желюбно. Мне стало стыдно: не утерпел, пожаловался как маленький...

Есть мелочи, безотказно действующие на воображение. В необитаемом месте, в первобытных условиях оказались восемь человек, случайно соединенных судьбой. И они не дичают, а остаются такими же, а может, стали лучше, чем были. Эта мысль невольно возникла, когда зимовщик в потрепанном ватнике, подошедший к Ардамацкому, увидев меня, постороннего человека, приветливо сказал:

— Здравствуйте вам, — и, видя, что не могу принять его руку, слегка поклонился со словами: — Перфильев Евгений Федорович! — С иронической усмешкой кивнув в сторону зимовки, уточнил: — Милостью божьей прораб этих грандиозных сооружений! — И, лишь исполнив долг вежливости, он обратил лицо к начальнику зимовки.

Пока шел их недолгий разговор, касающийся разгрузки и прибытия новой смены, я огляделся. Подножия гор справа и слева обозначились обрывистыми каньонами, по которым к морю сбегали небольшие речушки. Между каньонами простиралось плато. По мере удаления от берега оно повышалось и вдали замыкалось горами. Вероятно, в первый день творения здесь стояла сопка. Ледник, срезавший вершину, оставил после себя наклонную плоскость, усеянную валунами и диким камнем. На краю этой плоскости, прижавшись к западному каньону, расположилась зимовка. Несмотря на ясный день, ее окрестности выглядели угрюмо.

«Грандиозное сооружение» оказалось убогим строением без крыши, сложенное из разнокалиберных бревен, брусьев и досок. Две телескопические мачты рации да будочки и столб с флюгером на метеоплощадке подтверждали, что это не становище потерпевших кораблекрушение.

«Как же мало надо, чтобы мог жить человек! С трех сторон его окружает бесплодный камень, четвертую замыкает всегда недоброе море, а человек не только живет, но и делает полезную работу. Царское правительство ссылало революционеров в более приветливые места. Что же заставило жить здесь свободных людей нашего времени?!»

Следуя за Ардамацким, я вошел в «зону комфорта». Внутри неказистого жилища, получавшего свет через

крохотные оконца, чувствовался порядок, свойственный людям, облагороженным цивилизацией.

— Это наша кают-компания! — отрекомендовал Ардамацкий помещение, в которое мы попали. В тоне, каким это было сказано, я уловил чувство непонятной мне гордости. С первого взгляда определялось, что люди, живущие здесь, не испытывают ига вещей. Всю обстановку составляли: самодельный стол, три скамейки, пара табуреток и настенные полки. Два ящика, поставленные один на другой, служили буфетом для посуды и кухонной утвари. Посредине находился примитивный очаг из дикого камня, возле которого еще один бородач, судя по всему, готовил обед.

— Знакомьтесь! Умелец по столярной части, сын татарского народа — Керим Галей-оглы!

Черноглазый, быстрый в движениях «сын татарского народа» схватил меня за руку, сказав при этом: «Очень приятно!» Почувствовав, что мои волдыри попали в тиски, я не мог удержаться:

— Однако, Керим, силенкой вас аллах не обидел!

— Извините! — увидев мои ссадины, парень покраснел, засмутился. — Сейчас солью вам тепленькой водички.

Через пять минут мои руки городского неженки оказались промытыми и перевязанными, а я ощутил себя в роли иждивенца, за которым должны ухаживать люди, занятые делом.

Кроме кают-компании, в домике оказались еще четыре крохотные комнатки. В радиорубке и метеокабинете соответственно жили радист и метеоролог. Обязанности последнего исполнял Ардамацкий. В двух других размещались остальные шесть человек. Нигде ничего не валялось, на деревянных колышках по стенам висела одежда. Кроватей не было, их заменяли деревянные нары и топчаны. Оставалось впечатление опрятности и твердого порядка, скрашивающего очевидную бедность этого приюта.

Когда мы вышли «на улицу», Ардамацкий, убедившись, что от парохода еще не идут кунгасы* с его грузами, отвел меня метров за триста от дома в глубь долины.

* Маленькая несамоходная баржа.

— Как видите, кругом горы: это плато — единственное и лучшее место, где мы могли бы принять самолет.

Я скептически оглядел «лучшее место». Из первородной глины сочилась оттаявшая вечная мерзлота, там и сям разбросаны разного калибра валуны. Если даже выбрать ровное место и садиться по склону, то самолет не остановится до самого моря, а скорее всего скатируется раньше.

— По правде сказать, Игорь Леонидович, худшего места для посадки самолета я еще не видел. А какой ветер господствует?

— Всегда вдоль долины и, как правило, на море.

— Это оставляет надежду. При посадке на склон самолет не разбежится, а при слабом ветре можно взлететь в обратном направлении. Но найдется ли кусочек плотного грунта?

— Найдется, но только для У-2, метров двести длиною. А вообще грунт уплотняется морозом. Когда выпадает снег, все выравнивается.

«Ну вот, — сказал я самому себе. — Ты же говорил Холобаеву, что хочешь узнать, чего стоишь там, где нет аэродромов. Вот оно, это место! И что же? Тебе и то плохо, и это нехорошо...»

Ответил твердо:

— Спасибо, Игорь Леонидович! Если понадобится — я здесь сяду!

— Это вам спасибо, что поинтересовались. Вы не представляете, как нам нужна была помощь извне прошедшей зимой. Слава богу, обошлось...

Оставив эту фразу без внимания, я спросил:

Игорь Леонидович! Какая надобность заставляет вас жить среди этих камней?

— Вы ошибаетесь. Не среди камней, а возле моря. Это большая разница. Живем мы действительно как робинзоны шестнадцатого века. Только рядом не тропическое море, не растут пальмы, не бродят дикие козы для приручения и даже нет земли для огорода. Но жить здесь необходимо. История нашего поселения оказалась несколько драматичной, и, если вам интересно, я расскажу, что успею...

Рассказ этот неоднократно прерывался, так как подходили вельботы со снабжением и кунгасы со стройматериалами. На берегу шла авральная работа, требовавшая присутствия начальника зимовки. Наблюдая за его

действиями, вслушиваясь в его разговоры, я все яснее видел в нем незаурядного, интересного мне человека.

Я предполагал, что в диком месте, на краю света, встречу и человека, соответствующего окружающим условиям. Выносливого, непритязательного, в какой-то мере примитивного. Дело прошлое, не скрою, что считал себя в числе тех, кто несет в эти дремучие места, так сказать, факел знания и современной культуры. После встречи с Ардамацким я ощутил себя в роли мифического гуся, претендующего на спасение Рима. Выяснилось, что он коренной ленинградец, вырос в интеллигентной семье, имеет законченное среднее образование и сам как по воспитанию, так и по натуре прежде всего интеллигент в самом лучшем смысле слова. Позднее я убедился, что именно такие люди принесли с собой на Север планеты дерзающий разум Человека.

Современники слишком близки к большим событиям. Когда-нибудь история заново оценит совершенное в Арктике нашим поколением. Лишь потомки, умозрачительно представляя прозу героических преодолений, увидят в свершениях нашего века светлую поэзию борьбы Разума с могучими стихиями Природы. Выйдя за пределы родной планеты, осваивая иные миры, встречаясь с грозным ликом космического пространства, они будут черпать вдохновение в нашей отваге перед неизведанным, в нашей стойкости перед трудным. История зимовки на мысе Наварин — один из множества таких примеров.

В поступках человека очень часто решающую роль играет память о поступках других людей. В этом благородная сила хороших и пагубная плохих примеров. И для меня, начинающего полярника, пример Ардамацкого стал образцом исполнения долга в самых трудных условиях.

Во второй пятилетке началось освоение Великого Северного морского пути. Такое грандиозное предприятие не могло обойтись без серьезных трудностей. Челюскинская эпопея показала, что самые большие трудности встречаются на восточном плече Советской Арктики. Было решено немедленно поселить на Чукотке мобильный авиаотряд, а также создать метеопост у мыса Наварин, около которого в марте 1934 года пароход «Смоленск» со спасательным отрядом летчика Каманина

встретил льды и не мог пробиться к южным берегам Чукотки.

Для решения этих двух задач из Владивостока снарядили пароход «Хабаровск». Капитаном назначили опытного моряка Павла Авдеевича Половкова. Но для него моря Дальнего Востока были незнакомы, так как он плавал в Черном море. В составе экспедиции единственным человеком, побывавшим на Чукотке, оказался Ардамацкий. На материке было решено высадить авиаотряд в бухте Провидения, а место для зимовки Ардамацкого предстояло выбрать ему самому. Следует добавить, что разные обстоятельства задержали выход экспедиции до октября, когда навигация кончалась и все корабли возвращались с Севера на зимнюю базу.

Все это рассказывал мне Ардамацкий.

Район мыса Наварин пользовался славой самого штормового места в Беринговом море, да и карты достоверностью не отличались, потому моряки избегали приближаться к нему. Из сказанного следует, что в экспедиции никто не предполагал, что их может ожидать у недоброго мыса.

«Хабаровск» подошел к мысу Наварин 20 октября. Увидев черные скалы возле кипящего моря, капитан сказал, что высаживаться здесь могут только ненормальные. И действительно, жутко. С неба валит снег вперемешку с дождем, сумасшедший ветер поднимает с воды столбы крутящихся смерчей. Пароход «валяется» с боку на бок, волна, забрасывая свои гривы на палубу, то поднимается вровень с бортом, то опускается ниже ватерлинии.

После уже испытанных мною ощущений при шторме я легко представил то, о чем Ардамацкий и не упоминал. В таких условиях даже закаленные моряки чувствуют себя, мягко сказать, неуютно, что же говорить о новичках? Решающее слово принадлежало Ардамацкому.

— Будем ждать! — сказал он, утешая капитана и своих ребят тем, что в Арктике везде так.

Прошел день, другой, третий. Шторм выматывал, любой берег становился желанным, да и психологически все свыклись с неизбежностью высадки. Чуть только море стало милостивее — приступили!

— «Плыть — так плыть», — сказал котенок, когда по-

несли его топить! — возгласил Леня Рубинштейн, штурман авиаотряда, становясь у трапа.

Предстояла схватка с неизведанным, и, что ни говори, добрая шутка вместе с готовностью к действию обезоруживает страх и нерешительность. Кстати, еще в первый день, когда капитан высказался о ненормальных, Рубинштейн выдал один из своих афоризмов: «На невесту надо смотреть глазами жениха!», тем подкрепив решимость Ардамацкого не отступать при первом взгляде на опасность.

В опытности Ардамацкого все убедились сразу. Первый кунгас он загрузил палатками, продовольствием и другим необходимым для жизни. И как в воду смотрел — при переправе через полосу прибоя все вымокли до нитки, а на пароход вернуться не смогли. На берегу осталось семеро: трое зимовщиков и четверо летчиков. Зуб на зуб не попадает, с непривычки силы израсходовались быстро, а надо разбивать лагерь. Хорошо, что все нужное оказалось под руками.

С грехом пополам переночевали. На другой день разгрузка началась по-настоящему, но к вечеру опять налетел шторм, да такой, что якоря не держали пароход. Капитан решил укрыться в бухте, за мысом. На этот раз Ардамацкий оказался на корабле, а на берегу половина летного состава и радист зимовки Хомутов. Связь с берегом потеряна, как сообщить оставшимся, чтобы не волновались из-за ухода корабля? И тут выручила находчивость авиационного штурмана

— Послушай, старый сыч! — сказал он Ардамацкому. — А для чего Рубинштейн изучал азбуку Морзе? Пиши им успокоительную депешу, а я оттарабаню ее гудками парохода.

И действительно передал, чтобы летчики перешли сушей в ту бухту, а за ними вышлют шлюпку. Хомутов выложил два костра, удостоверяющих, что сообщение понято.

Бухта Грейга оказалась небольшой вмятиной среди скал, но при таком ветре и она — защита. Только берег далековато. На другой день в бинокль усмотрели на берегу костер — значит, пришли ребята. Спустили шлюпку, поплыли. Команду гребцов возглавил старпом Кириллов, Ардамацкий взял с собой пожилого плотника Семенова, которого все звали дядей Тришей.

Крепкий встречный ветер и волна. До берега плыли

почти три часа. Стало темнеть, а костра и людей не видно. Ардамацкий со своим спутником с трудом разыскал угасшее кострище. Около него прижатую камнями записку: «Наступает ночь, шлюпки не видим, замерзли, решили вернуться в лагерь. Штурман Падалко».

Вот тебе и раз! Три часа гребли, и напрасно. У Ардамацкого, как он выразился, «заныло под ложечкой»: вдруг кто отстанет или заблудится? Пропадут ребята! Надо догонять...

— Дядя Триша, до лагеря приблизительно километров пятнадцать, как ты, выдержишь? — спросил Ардамацкий.

— Пойдем, Леонидович, когда нужно, человек все выдержит!

Крикнули старпому, чтобы возвращался к пароходу, а сами пошли в ночные горы.

«Блуждая в темноте, — вспоминал Ардамацкий, — вместо пятнадцати километров мы прошагали вдвое больше. В одном распадке нас накрыла какая-то мгла. Клацаем на ветру зубами, идти страшно, а стоять невозможно. Вспомнились мне пустыни, где люди испытывают изнуряющую жару, и так захотелось поменяться с ними. Как мы выбрались, сам плохо представляю. Я молодой, сильный и то изнемог дальше некуда, а ведь дядя Трише за пятьдесят было. И откуда только брались силы у него. Идет матюгается, а меня подбадривает:

— Креспись, Леонидович! Дойдем!

До лагеря добрались через девять часов после выхода из шлюпки».

Войдя в палатку, Ардамацкий увидел на ящиках керосиновую лампу «летучая мышь», вскрытые банки с мясными консервами, которые Падалко подогревал на примусах. Не веря своим глазам, пересчитал лежащие фигуры. О радость! Все в сборе! Он готов был перечеловать этих ребят. Ведь, что ни говори, а для них эти испытания вроде бы в чужом пиру похмелье.

Появление начальника зимовки вызвало оживление. Чуть передохнувшие летчики стали подниматься, язвительно приветствуя неожиданных пришельцев.

— В такую погоду хозяин со двора собаку не выгоняет, а наш заставил топтать сто километров и хоть бы стопку поднес! — пророчал Падалко.

— За чем дело стало? Ваня, достань баклажку! — сказал Ардамацкий Хомутову.

— Как, у этого рыжего бандита была баклажка? Братцы! Я сейчас из него шашлык сделаю! — взвился Падалко.

Остаток Ваниного лица, не заросший волосом, приобрел такой же морковный цвет.

— Да я забыл про нее, ребята, сейчас найду!

— Он носа на своем лице найти не может, а вы хотите баклажку! — Это вступил в игру Масленников, и на бедного Ваню посыпались насмешки со всех сторон.

— Будь я проклят, если бог не накажет этого разбойника. Клянусь всеми спиртными напитками — я полностью божью волю!

В лицах передавая эту сцену, Ардамацкий добавил:

— В Вадиме Падалко пропадал великий артист. Надо было видеть его яростно перекошенное лицо, гневные глаза, изготовившуюся для прыжка фигуру, чтобы не усомниться в серьезности намерения, когда он, потрясая кухонным ножом, одним духом выкрикнул эту тираду. Через три минуты Хомутов боязливо просунулся в разрез палатки, впереди держа баклажку.

— Заходи, зверь в образе человека. На шашлыки ты пригодишься в другой раз! — так закончил этот маленький спектакль Падалко.

Придя в лагерь, что называется, на последнем дыхании, Ардамацкий менее всего ожидал от летчиков оптимизма. Ведь тот же путь они прошли дважды, а держались так, будто вернулись с загородной прогулки. Мне он сказал, что гордится дружбой с этими «железными» ребятами: Иваном Павленко, Виталием Масленниковым, Георгием Катюховым, Юрием Соколовым и Вадимом Падалко. А я позавидовал своим коллегам-предшественникам да и рассказчику тоже.

«Полярником можно стать только за Полярным кругом», — сказал великий Амундсен. Я увидел, как это делается...

Через два дня фортуна улыбнулась. Прояснилось, стих ветер. Появился на рейде «Хабаровск», и тремя рейсами кунгасов все имущество зимовки доставили на берег. В трюмах остался только материал для дома. Чтобы использовать ненадежное затишье и разом закончить операцию, капитан решил из лесоматериалов сделать плот. Ардамацкий возражал. Окольцевать (скрепить скобами и тросами) можно только нижний ряд, когда он погрузится, то и малая волна разрушит

такое сооружение. Кроме того, дерево намокнет, потом промерзнет. Дом будет трудно собрать, да и сушить его придется всю зиму своими боками. Но капитан стоял на своем.

Может, все и обошлось бы, но произошло непредвиденное. Почти у берега плот привалило к катеру. Буксировочный трос намотало на винт. Мотор заглох, караван течением потащило на рифы мыса Наварин. Рискуюя кораблем, делая торопливые промеры, стали догонять. Как на грех, налетел совсем небольшой шквал, и действительно плот стал расползаться. Еле успели поднять катер и спасти людей. На этом плоту были кровати, две железные печки и часть личных вещей зимовщиков. Все это стало жертвой моря.

Можно представить моральное состояние участников экспедиции, когда дом, основа зимовки, погиб. Труды, страхи, напряжение — все пошло прахом. Но Ардамацкий не сдавался. Оставив ребят вылавливать то, что выбросит волны, сам отправился с «Хабаровском» в бухту Провидения, где должен был выгрузиться авиаотряд. «Побираться!» — так он сказал.

Он знал, что лес здесь не растет. В других местах Заполярья большие сибирские реки выносят с материка плавник. Чукотка этим обделена. Каждый кусок древесины попадает сюда только пароходами и ценится наравне с металлом. Очень трудно будет кому-либо поделиться с ним таким дефицитом, но есть же такое понятие, как *солидарность*!

В этом месте я чувствую необходимость передать собственные ощущения от рассказа и личности рассказчика.

Я представлял, как это было, и меня бил нервный озноб. Как будто сам переживал мучительные сомнения, сам, изнемогая, шел горными распадками и волновался за неопытных товарищей. Где-то идет жизнь благополучная, даже комфортабельная. И люди в той жизни не представляют иной. Но кто-то должен расширять зону жизни и ее комфорта? Их называют *первыми*. Вот он, один из них! О драматических обстоятельствах рассказывает ровным голосом, без аффектации, пережитым не воспламеняется. Сказанному верилось безоговорочно.

Самоотверженностью людей, посвятивших себя морской службе, нельзя не восхищаться. Мне не было труд-

но представить моральное состояние капитана «Хабаровска» Половкова и его команды. Они всей кожей ощущали, что «Хабаровск» один на тысячи километров в окружности. Однако в том рейсе моряки показали все величие моряцкой доблести. Я сказал бы, и героизма!

Кроме выгрузки авиаотряда в бухте Провидения, было еще задание оставить дом для чукотской школы в заливе Лаврентия. Берег у места разгрузки оказался забитым шугой. Через нее невозможно было протаскать кунгасы.

Начался декабрь. Никто не знал, может, в первую же ночь весь залив покроется льдом и пароход вмерзнет, как это и бывало в Арктике.

Капитан Половков помнил о своей ошибке, погубившей дом Ардамацкого. В личных интересах ему следовало бы как можно быстрее возвратиться к мысу Наварин. Но он этого не сделал. Ардамацкий говорил с уважением:

— Павел Авдеевич Половков оказался человеком долга и выполнял его, пренебрегая опасностями и личной выгодой. Если бы я сказал, что он не испытывал страха, это было бы неправдой. Он боялся! Долгие недели жил в непрерывном страхе и все же делал то, что считал себя обязанным делать. Три дня он держался «на нервах» и дождался отжимного ветра. Школа для чукотских детей дошла до места.

С миру по нитке — Ардамацкому удалось насобирать разнокалиберного стройматериала. В середине декабря — для этих широт неслыханное дело — «Хабаровск» вторично стал на рейде мыса Наварин.

— На Чукотке вы еще узнаете, что такое снежный шторм, — говорил Ардамацкий. — Снежная круговерть, крутая, злобная волна, и ни черта не видно. Идет день, другой, проходит третий, нет возможности доставить на берег даже меня одного, а капитан держится, крейсируя в море. Клянет все на свете, но держится. Все эти дни Павел Авдеевич продолжал уговаривать меня лишь укрыть имущество на зиму, а с людьми вернуться на материк. Даже предлагал корабельные брезенты, на что решился бы не каждый. Я не возражал ему. И в самом деле, остаться здесь на зиму без крыши над головой — не шутка! Думалось по-всякому. За себя я ручался, но ведь было еще семь человек, которых я почти не знал.

Ардамацкий продолжал свой рассказ:

— На четвертый день развиднелось, чуть стихло, ударил мороз. На вельботе меня доставили на берег. Борис Занегин, оставшийся за старшего, сказал, что люди не паникуют, и на мой вопрос ответил:

— Выдюжим! Люди царскую каторгу выдерживали, гражданскую войну выдержали, голод и разруху одолели. Чем мы хуже!

Отправив Занегина на пароход руководить разгрузкой, Ардамацкий остался на берегу. В тот день удалось доставить только два кунгаса пиловочника, и на этом счастье кончилось. Уже не шторм, а тайфун накрыл весь район. Вновь капитан уходил крейсировать в море и держался еще три дня. На четвертый сообщил, что появились ледяные поля, а в угольном бункере показалось дно. Если Ардамацкий решит возвращаться, то он рискнет подождать еще.

Ардамацкий ответил, что зимовка остается. Поблагодарил за сделанное и лишь попросил подойти как можно ближе к берегу и выбросить за борт остатки добытого им материала.

Я спросил:

— Игорь Леонидович! Обстоятельства оказались сильнее вас. Почему вы пошли на столь крупный риск, а не вернулись, как благоразумно советовал капитан?

— Честно сказать, тогда я не сумел бы этого объяснить...

— А теперь?

— Теперь? Теперь думаю, что, кто не рискует, тот не проигрывает, но и не всегда выигрывает! А мы выиграли, значит, риск не был глупым. Но главное не в этом...

Я терпеливо переждал паузу.

— После уэленовской зимовки я не использовал и двух недель отпуска. Меня вызвал Отто Юльевич (Шмидт) и сказал: «Есть очень трудная задача. Не всякий с ней справится!» Этого было достаточно, чтобы я взялся. В Уэлене я вступил в кандидаты партии. Партия дала директиву освоить Арктику. Как же я мог отступить перед трудностями?

— Ну хорошо, это вы, а другие?

— Я советовался с ними, когда еще можно было уехать, потому за зиму никто не попрекнул. Сюда ехали добровольно, гордились этим... Что касается потерь, то самой чувствительной для меня была потеря Бориса

Занегина. Он так и не смог сойти с «Хабаровска». Это был умный, жизнерадостный человек и верный товарищ. Как бы эти его качества пригодились всем нам...

Как и рассчитывал Ардамацкий, волны выбросили на берег значительную часть строительного материала. Однако море скупно расставалось со своей добычей. Оно возвращало ее по бревнышку, по дощечке, добрую часть пригодной лишь на дрова. Причем выбрасывало там, где ему заблагорассудится, порой за пять километров от зимовки. Крупные находки несли до места всей артелью. Понадобился весь январь, февраль и часть марта, пока набралось достаточное количество материалов для постройки дома. Лишь в начале апреля зимовщики справили новоселье и радовались, будто попали во дворец.

— Всю зиму наш пост работал, как и было задумано в Москве, — продолжал Ардамацкий, — Ваня Хомутов регулярно выходил в эфир, я делал свои наблюдения. В палатке наши постели и одежда никогда не просыхали как следует. Только раз в месяц мы могли позволить себе роскошь подогреть воду для обмывания, и то за пределами палатки, на «свежем воздухе». Всех ограничений и не перечислить. Они по-разному воспринимались каждым из восьми. Для меня основной трудностью было достичь совместимости характеров. Конечно, не обошлось без ссор и мелких обид, но они не перешли во вражду и ненависть, вот что важно!

Намного труднее пришлось команде «Хабаровска». Уходя, капитан рассчитывал, что топлива для машины хватит до Петропавловска. Но тайфун сыграл злую шутку. Когда стало возможным определиться, выяснилось, что пароход находится от Петропавловска еще дальше, чем был, близ острова Матвея, в американском секторе. Сигнал SOS в переводе означает: «Спасите наши души!» Только в крайних обстоятельствах капитан решится послать в эфир такие слова. И гордый Полковов это сделал. На остатках угля машина работала вхолостую лишь для поддержания на корабле света и работы рации. Чтобы протянуть еще несколько дней, он распорядился жечь в топке все, что могло гореть, вплоть до спасательных шлюпок и канатов.

До Владивостока почти четыре тысячи километров, и капитан знал, что прийти ему на помощь может только счастливый случай. Через неделю-полторы на «Хаба-

ровске» останется только железо. Тогда исчезнет и надежда на спасение. Ваня Хомутов перехватывал сигналы корабля, и эти дни были для меня самыми тяжелыми за всю зимовку. Вместе с капитаном я переживал его стыд и отчаяние, считая себя виновником несчастья, в какое он попал.

По счастливому стечению обстоятельств один из пароходов-«северняков» «Свердловск» в это время был направлен из Владивостока в Петропавловск. Он успел найти дрейфующий «Хабаровск», пока не умолкла рация.

Выгрузка «Охотска» закончилась, от берега уходил последний вельбот, и беседа с Ардамацким оборвалась на полуслове. Прощаясь, я только успел спросить, сколько ему лет:

— Уже немало — двадцать три!

Трудно было не изумиться. Я дал ему тридцать пять. А он оказался в том возрасте, когда многие из его сверстников еще не знают, в чем их призвание, и держатся за матушкин подол.

Теперь, дорогой читатель, поразмышляем вместе над тем, что слышали от Ардамацкого: стал ли мир богаче или мудрее от жертв личным благополучием, на какие шли люди, ведомые Ардамацким и Половковым? Счастливы ли они сами? Ведь с практической точки зрения все ими сделанное оказалось бесполезным. В Чукотском море больше не гибли корабли, и метеопост на мысе Наварин оказался ненужным. Капитан Половков ничего не достиг, отставаясь в бухте Грейга, а Ардамацкий зря пошел на риск ночного похода вслед за летчиками. Все это позднее стало ясно. Ну а как же тогда быть с теми, кто в годы войны шел на таран, грудью закрывал амбразуру? Кто бросался с гранатами под танк или дрался в кольце окружения? Не ранее ли, задолго до Ардамацкого, люди, населявшие русскую землю, с молоком матери впитывали любовь к родине и чувство долга перед землей отцов?..

Думайте сами, а я от себя добавлю, что в Арктике мне довелось встретить и другие примеры человеческой доблести, а по контрасту — и случаи подлости. Каждый раз вспоминался Ардамацкий и думалось о сущности сделанного им и ему подобными. Я читал «Северные рассказы» Джека Лондона, драматические отчеты

о погибших в Арктике полярных экспедициях, слышал о трагических зимовках нашего времени. Условия жизни в Заполярье выявляют сущность человека. На меня сильное впечатление произвело то, что выдержала наваринская зимовка. А позднее, когда появился собственный опыт, еще значимее стало то, *как* они выдержали ту зиму.

— Прожили как братья! — сказал Игорь Леонидович.

Несомненно, его личность сыграла решающую роль в сплочении людей. Только коллективно можно было преодолеть все, что я услышал. Но что же руководило им самим? Каким словом обозначить мотивы его личного поведения?

Здесь было все: *мужество* — когда требовалось устоять, не сдаваться на милость несчастливым обстоятельствам, *отвага* — когда становилось возможным атаковать их, *верность* слову, данному своему руководителю, товарищам, поверившим ему, присяге, которую дал партии вступлением в ее ряды.

Да, все перечисленное, как говорится, имело место. Но, вероятно, есть какое-то более емкое слово, вмещающее в себя все вместе взятое? Ардамацкий назвал его походом, не придавая особого значения. Он сказал — *долг!*

В заключение вернусь к истории наваринской зимовки. Я никогда не видел капитана Половкова, старпома Кириллова и матросов «Хабаровска». Не зная их в лицо, преклоняюсь перед сделанным ими в том рейсе. Их никто не принуждал к риску, и они имели законные возможности не искушать судьбу. И все же они поступили так, а не иначе, потому что рядом с Ардамацким не хотели оказаться «ниже ростом» в самоотверженности. В сложившейся обстановке их служебный долг не воспрещал соревнования в смелости и благородстве. Он позволял выяснить предел возможного для Человека, а ему с юных лет интересно узнать: «Что Я могу?» Именно этими словами и Ардамацкий мотивировал свою настойчивость при выполнении порученной ему задачи.

И вот это тяжеловесное, угловатое слово — *долг* — предстало передо мною во всем своем высоком значении, очищенном от всего привходящего: корысти, тщеславия, страха и принуждения.

В любое время года пассажирский лайнер по воздуху доставит вас сейчас на Чукотку за 24 часа. О ней известно почти все. Коренное население поголовно грамотно, имеет своих общественных деятелей, педагогов, ученых, писателей и летчиков. Открыты и разрабатываются богатства недр, рудники, обогатительные фабрики, построены города. Воздвигнуты современные морские порты, проложены действующие авиалинии. Введена в строй атомная электростанция. Но это теперь!

Ничего похожего не было всего сорок лет назад. Чукотка еще ждала своего открытия. Догадок было много — известно мало: расположена на крайнем востоке Азии, с трех сторон окружена морями. 750 000 квадратных километров малоисследованных гор и бездорожной тундры — ее территория. Напомню, что самое крупное государство Европы на 200 000 квадратных километров меньше Чукотки. Восемьдесят процентов населения — чукчи и эскимосы. Основное занятие — охота на морского зверя и кочевое оленеводство. По численности процентов пятнадцать тундровики-кочевники, остальные — оседлые береговые охотники.

Поражала пустынность этой страны: на каждого жителя приходилось по 35 квадратных километров. Единственными средствами сообщения были парусные байдары из моржовых шкур — летом; олени или собачьи упряжки — зимой. Море было единственной дорогой во внешний мир. В течение летних месяцев из Владивостока приходило два-три парохода-снабженца. В остальное время года попасть на Чукотку не представлялось возможным.

Человеческие поселения располагались редкими оазами по берегам морей и по течению главной реки — Анадыря. От окружного центра (тогда поселка) Анадыря (по имени реки) до районного центра в поселке Уэлен, что у Берингова пролива, — 500 километров. До другого райцентра, в Певеке, — 1500 километров. А до самого дальнего, в поселке Островное, близ Колымы, — все две тысячи. До Владивостока почти пять тысяч километров. В то же время от Уэлена до Америки (Аляски) через пролив всего 90 километров. Этим обстоятельством определялась уязвимость поли-

тического и стратегического положения Чукотки как части страны.

Так истари сложилось, что торговлю с населением Чукотки до 1932 года вели главным образом американские купцы. В разных местах они содержали свои фактории, а каждое лето на легких шхунах завозили на них товары, увозя шкурки песцов. В своей коммерческой деятельности американские купцы опирались на кулаков-оленьеводов, перекупщиков и шаманов. Эти люди в то время обладали большим влиянием, чему способствовала почти поголовная неграмотность населения.

Советская власть утвердилась здесь к 1923 году, а автономный национальный округ образовался лишь в 1930 году. Но и после этого жизнь по новым советским законам еще долго налаживалась в райцентрах, медленно распространяясь в глубинку.

Наряду с представителями партии и Советской власти наиболее значительную роль в приобщении к новым законам жизни сыграли первые учителя — русские комсомольцы. Они жили в ярангах кочевников иногда лишь для того, чтобы научить письму и счету двух-трех учеников. Но именно из этих учеников и их детей позднее сформировалась теперешняя национальная интеллигенция.

Находясь в окружении враждебного мира, страна с каждым годом все острее стала ощущать необходимость независимого морского пути на Дальний Восток. Северный морской путь, о котором мечтали многие поколения лучших людей России, стал на повестку дня как задача, решающая политические и экономические интересы Советского государства. Задача, быть может, такой же важности, как индустриализация и коллективизация.

Первые попытки освоения этой трассы перемежались успехами и поражениями. Впервые в истории мореплавания ледокольный пароход «Сибиряков» в 1932 году прошел за одну навигацию от Архангельска до Владивостока. Но в 1933 году пароход «Семен Челюскин» вынужден был зазимовать в Чукотском море и в феврале 1934 года был раздавлен дрейфующими льдами.

Из-за отдаленности и малой изученности Чукотки спасение челюскинцев стоило огромных усилий,

но все 104 человека были вывезены из района бедствия летчиками. Их победа над Белым безмолвием, как тогда называли Арктику, представилась современникам столь значительной, что послужила причиной для учреждения статуса Героя Советского Союза.

Но Чукотка по-прежнему оставалась почти неизвестной и труднодоступной, а прилегающие к ней моря самыми опасными для мореплавания. Чтобы не повторилась морская катастрофа, случившаяся с «Челюскиным», руководство Главсевморпути решило основать на Чукотке оседлый, круглый год действующий авиаотряд.

Следует сказать, что самолеты в чукотском небе эпизодически появлялись с 1926 года. Полеты совершались только в летнее время, и выполняли их героические люди. Решая ту или иную экспедиционную задачу, они и близко не подходили к основным проблемам освоения Чукотки — безопасности мореплавания и оторванности административного центра округа в Анадыре от глубинных районов.

Осенью 1934 года специальный пароход доставил на северное побережье Чукотки материалы и рабочих для постройки авиационной базы. Как рассказано в предыдущей главе, в ноябре пароход «Хабаровск» доставил в бухту Провидения первый отряд И. Л. Павленко. Отряд располагал самолетами Р-5 для полетов на лыжах, но бухта покрылась льдом лишь в конце февраля. В самолетных ящиках авиаторы прожили декабрь, январь, февраль и только в марте смогли перелететь к месту строительства базы.

Летать в самое трудное время года, осенью и зимой, первым пришлось летчикам второй авиагруппы под командованием Г. Н. Волобуева. В составе этой группы с базированием в Анадыре в сентябре 1935 года прибыли и мы с Митей Островенко. Первый же полет в глубь Чукотки, предпринятый в ноябре, закончился вынужденной посадкой в тумане. Она стала суровым испытанием наших физических и моральных сил. Все было за то, чтобы мы погибли тогда из-за своей неопытности. Но мы уцелели.

Потом, удивляясь этому чуду и радуясь удаче, мы сделали такой вывод: уцелели мы потому, что не сдавались до последней крохи сил и последней искры сознания. В этом и заключалось мужество, первая победа

которого вдохновляла нас в дальнейшем. Правда, столь тяжких испытаний уже не случалось. Их предотвращал тот первый горький опыт. Мы начали понимать, чего здесь делать нельзя. Нельзя думать о вынужденной посадке как катастрофе. Нельзя летать на самолете, не снаряженном для самостоятельного выхода с вынужденной посадки, и тому подобное. В этом и заключался опыт.

Наши полеты не отображались в зеркале славы, доставшейся недавним предшественникам, спасавшим челюскинцев. Для авиаторов 1935—1936 годов Чукотка стала таким же рабочим полем, как через десятилетия целина для пахарей. Беспощадная действительность заставила осознать, что, если что-то не додумаем своими мозгами, не сделаем своими руками, пропадем! В избитой теперь формуле: «Полет начинается с земли!» — в те годы таился буквальный смысл.

«Земля» — это наша база на северном побережье. Мы приняли ее от строителей. Кто был новоселом, тот знает, что это значит. В городе можно пойти в магазин или пригласить шабашников. В Арктике забытое или недоделанное автоматически обрекало на лишения... Нас было мало, а недоделок много. В доме зимой круглые сутки топились печи, а тепло не держалось. В пургу в жилых комнатах расстилались коврики снега, стены промерзали, окна с осени до весны были покрыты толстым слоем льда. Электрического освещения не было, не было мастерской, с каждой починкой или разборкой агрегата бежали в дом и т. д.

Наибольшую часть сил отнимали не полеты, а совсем не «летчицкая» физическая работа на базе. Полеты считались за отдых и развлечение. Возвращаясь на землю, каждый немедленно включался в очередные дела, ждущие наших рук.

Мы понимали, что не только полеты, но и сама жизнь в этих суровых условиях и есть то, что называется освоение. В каждом полете летчик оказывался «сам себе агроном». Самостоятельность давала простор инициативе, соровнованию в смелости и огромное удовлетворение. С воздуха нашим глазам всегда открывалось что-то еще никем не виденное, и это возбуждало азарт: «А что там дальше, за горизонтом?»

Другой стороной медали была необходимость непрерывно бороться с холодом, мириться с неудобом

базы, катать бочки с бензином, грузить уголь, работать топором и лопатой. Вне базы приходилось ночевать в палатке или на полу дома крохотной зимовки, подчас не раздеваясь и не умываясь. Суп из сухой картошки с тушенкой или щи из сухой капусты с солониной — опостылевшая неизбежность. В таких условиях и один год кажется нескончаемым.

Однажды командир отряда Е. М. Конкин в свойственной ему грубоватой манере отчитывал нашего летчика Николая Быкова за нерадивое отношение к наземной работе. Нет надобности повторять красочные обороты матросского фольклора, но мне хорошо запомнился смысл сказанного: в Арктике всякую работу надо любить, сильно, самозабвенно любить. Иначе здесь работать нельзя. «Полярный летчик — это не титул, а призвание. Если у тебя его нет — уезжай, не занимая чужого места!»

Как-то в середине августа 1936 года по вызову Конкина мы с Митей прилетели от геологов, с которыми работали в горах.

Предстояла баня, и все три экипажа оказались в сборе. Конкин объявил, что из Владивостока вышел «наш пароход». Значит, через месяц конец зимовке! Общему ликованию не было меры.

— Митя! Я уже чувствую во рту вкус жареной картошки! А ты?

— А у меня перед глазами деревенька на опушке леса. Теперь мы поедем туда втроем!

Голос у моего механика что иерихонская труба. На самолетных стоянках в Москве его слышали от края до края. В этом случае он буквально оглушил меня, так как кричал в самое ухо, обхватив за талию и подняв на полметра от земли. Митин энтузиазм по поводу скорого отъезда не вызывал сомнений. Потому совершенно неожиданной оказалась его реакция на дальнейшие события, изменившие нашу с ним судьбу. А произошло следующее. С заговорщицким лицом Евгений Михайлович Конкин позвал меня с собой и, помедлив, вглядываясь в меня как в нового человека, вручил радиogramму из Москвы. Предчувствуя недоброе оттого, что он сделал это наедине, я взял депешу, как будто она могла укусить. Так оно и было. Начальник полярной авиации М. И. Шевелев предлагал мне остаться на вторую зимовку — командиром от-

ряда. Видя мою растерянность, Конкин сказал по-отечески:

— Соглашайся, сынок. Это предложение ставит на попа проблему авиационного освоения Чукотки. Оно станет твоей заслугой, если согласишься, или будет сделано без тебя, если струсил...

— Уж очень неожиданно, Евгений Михайлович! Подумать надо!

— Конечно, подумай. В таких случаях человек решает ни много ни мало, а свою судьбу. Ты станешь первым из летчиков, который без смены должен выдержать вторую зимовку. Хватит ли сил?

Взбудораженный, я помчался советоваться с другом. А он в это время ушел в баню. Не в силах стоять на одном месте, я расхаживал недалеко, обдумывая создавшееся положение.

Врать не буду. Предложение Шевелева льстило моему честолюбию. Оно открывало возможности полной самостоятельности в решении давно обдуманного. А мы с Митей после очередной промашки всякий раз говорили, что можно бы сделать, имей мы с самого начала так трудно дававшийся опыт.

В Москве правильно считали, что год на Чукотке — это немало, это трудно. Но Шевелев понял, что летчицкая работа — это не производство, где один включает станок, а другой выключает, но точат одни и те же детали. Это даже не полярная станция, где новый сотрудник продолжает те же наблюдения по общей инструкции. За год жизни в Арктике летчик только-только распознает, где кончается «можно» и начинается «нельзя». В полную силу, и то не сразу, он начнет работать лишь на второй год. Кому-то надо оставаться на вторую зимовку, чтобы применить добытый опыт, передать его новичкам.

Кому-то надо, но почему мне? Что у меня, «шкура» толще, чем у Виктора Богданова или Николая Быкова? Все уезжают. Ишь, как возликовали! Приедут новички, наверное, такие же «небитые», какими приехали мы. А еще хуже, если окажутся аристократами и станут отлынивать от наземной работы, как Быков. Конкин — заслуженный старик! Он и накричит, и тросточкой пониже спины огреет; ему можно, а я так не могу и не имею права. Нет, нельзя браться за то, в чем не уверен!..

А вдруг приедут хорошие ребята? Надо полагать, никто не пожелает жить как мы: в холоде и грязи... Но интересно, что посоветует Митя? Наверное, скажет: оставайся, покоряй Чукотку, а сам уедет...

Такие противоречивые мысли привели на ум басню о Буридановом осле — якобы он подох от голода между двух копен, затрудняясь, от какой из них ухватить клоч сена.

Наконец-то с банным свертком в руках, распаренный и веселый, появился мой советник. Я увлек его в сторону пустынного берега, пересказал ситуацию, свои соображения, честно говоря, рассчитывая на сочувствие.

К великому удивлению, мой экспансивный друг никак не обнаружил своего отношения к услышанному. Он молча шагал по гальке, глядя под ноги, с замкнутым, необычно посуровевшим лицом. Я уже готов был вспылить, когда он остановился. Как-то по-незнакомому оглядел меня. Наверное, с таким вниманием врач рассматривает неизвестный ему микроб.

— Если уедешь, не простишь себе, что оставил Чукотку непокоренной территорией. Конкин правильно тебе сказал, что судьбу решаешь. Если решишь по-большевистски, в старости гордиться будешь...

Я сделал последнюю попытку обернуть все в шутку:

— А как же... с картошкой?

— Перетерпишь еще годок!

— А ты отложил бы «еще на годок» свидание с деревней возле леса? Втроем?!

И вот тут-то Митя, что называется, уложил меня на обе лопатки.

— Как ты знаешь, и месяца я не прожил с Машей в той деревне. А теперь появился Виталик, которого я не видел, не представляю даже. Поверишь, наверное, что мне по-человечески труднее вас всех решиться на вторую зимовку. Но если надо, чтобы ты остался, — я это сделаю! Сразу представил, как тебе тяжело будет одному с новичками. Надеялся, что веришь мне и сам попросишь об этом. В общем, я остаюсь!

Я понял, что, испытав с ним всяческое лихо, съев пуд соли и любя как друга, все же я еще не знал главного в нем. Горячая волна благодарности, братской нежности захлестнула меня. Честное слово, стыдно признаваться в этом взрослому человеку, но в ту минуту

радостного откровения я боялся расплакаться, как это было в самую тяжкую минуту нашей жизни, когда он представился мне мертвым, в том заснеженном кустарнике у совхоза «Снежный», на вынужденной посадке.

А Митя продолжал:

— А уезжать отсюда сейчас все равно что бежать с поля битвы, когда наметился успех. И вообще, черт возьми (Митя уже разгорелся), грош нам цена, если мы не положим Чукотку на обе лопатки!

В этих высокопарных словах весь Митя. За этим подразумевалось многое. И то, что мы должны одолеть страх перед пургой, застругами, неизведанностью. Доказать руководителям округа, что самолеты приносят пользу не только летчикам, доказать самим себе, что справимся с вокзальной нашей неустроенностью в быту, и т. п.

У каждого человека бывают в жизни минуты, после которых он не может оставаться тем, кем был. Вполне вероятно, что я никогда больше не вернулся бы за Полярный круг. Своему другу и его благородству я обязан принятым тогда решением. Оно действительно определило мою судьбу и не заставило раскаиваться, хотя трудное и опасное сопутствовало мне всю жизнь.

В заключение приведу последний разговор по этому вопросу с Конкиным. Он принял мое согласие, как будто знал о нем заранее.

— А я тебе сюрприз приготовил. Переговорил с ребятами и нашел еще добровольцев, согласных остаться с тобой.

— А если бы я не согласился?

— Это значило бы, что я старый дурак и ничего не понимаю в людях.

Этот эпизод позволил мне сделать два важных вывода. Во-первых: никогда не следует думать, что только ты прозорливо видишь государственный интерес и жертвуешь собой во имя дела; и второй: смелые и честные поступки заразительны не менее дурных. На трудное надо идти первому, и люди пойдут за тобой.

Считаю себя обязанным с чувством глубокого уважения поименно назвать пионеров второй авиационной зимовки: Михаил Францевич Драневич — пожилой, опытный, авторитетный базовый механик; Николай Михайлович Берендеев — тоже немолодой, тоже опытный,

серьезный, осмотрительный человек по характеру, летающий бортмеханик; Миша Малов — 24 года, жизнерадостный, безотказный, отличный бортрадист. К еще большему удовольствию вскоре выяснилось, что в новой смене окажутся два ветерана самой первой зимовки летчики Г. И. Катюхов и В. М. Сургучев. Уже «битые» и совсем не «аристократы». С этим костяком второй зимовки мы успешно проработали осень и начало зимы 1936 года.

Теперь я могу продолжать повествование об авиационном освоении Чукотки, начатое книгой «В небе Чукотки».

Но прежде в самом кратком виде сформулирую свой взгляд на философскую сущность изложенного как в первой, так и в этой — второй книге.

Жизнь не ждет, когда вырастут люди и будут созданы нужные материальные условия. Она ставит все более трудные задачи, которые надо решать. Умеешь ли, боишься ли — этого не спрашивается. Надо, и все тут! И люди самые обыкновенные, если они верны своему долгу, делают то, что надо. Иногда ошибаются и падают. Но в борьбе с препятствиями неожиданно для себя они обнаруживают, что могут сделать и то, на что не надеялись. Только так и растут люди! На собственном опыте я убедился в этом и своим рассказом надеюсь убедить тех, кто своего опыта пока не имеет. А кто имеет, думаю, подтвердит правоту этого вывода.

ВСЯКОЕ ДЕЛО НАЧИНАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКА

Из предыдущего ясно, что я не мечтал о должности командира. Но, согласившись на нее, понимал, что вместе с ней на мои плечи ложится нелегкая ноша. Ноша личной ответственности за государственное дело. Москва — на другом краю земли и не может ни помочь, ни подсказать. Не будет «бати» Конкина, который принимал все решения. Теперь все, что произойдет в чукотском отряде, больше всего будет зависеть от меня. Вспомнились клятвенные слова, сказанные Холобаеву: «Хочу что-то сделать *своими руками!*» И вот мое *хочу* — полностью совместилось с *могу!*

За прошедший год даже в менее ответственной роли, за спиной Конкина, накопилась моральная и физиче-

ская усталость. Больше всего от неустроенного быта. Память возвращала к началу моей полярной карьеры.

Март 1935 года. Малюсенский служебный кабинет в Управлении полярной авиации на площади Свердлова. На канцелярском столе карта Чукотки. Четверо летчиков: Пухов, Буторин, Богданов и я, сидим вокруг и затаив дыхание слушаем Волобуева. Массивный, представительный, он стоит по ту сторону стола и толстым карандашом, словно указкой, водит по карте. За стеной шелкают счеты, трещат арифмометры. Доносится слитный гул голосов. Как всегда, среди энтузиастов находятся и прагматики. Они расспрашивают бывалых о нормах арктического пайка и обмундирования. И на этом прозаическом фоне звучат слова, от которых кружится голова:

«Освоить эту, богом забытую землю, проложить дороги в стране, не знающей назначения колеса, помочь геологам открыть золото Чукотки — все это геройские подвиги. И это сделаете вы!»

От таких слов сильнее бьется сердце, а наши взоры неотступно следуют за карандашом-указкой Волобуева. Желтые мазки на поле карты — горы. Надпись — «Золотой хребет». Рядом голубое пятно — Анадырский лиман. На его берегу кружочек — Анадырь. Синий карандаш, оставляя жирную черту, рассекает Анадырский хребет и упирается в точку на северном побережье.

«Мы будем летать так! Вы сделаете то, что не удалось Каманину!»

Дерзко мечтал командир нашей авиагруппы. Осушествляя свою мечту, он погиб. Нерешенную задачу оставил нам как завещание. Виктор Богданов с механиком Сергеем Баниным, а следом и мы с Митей воплотили ее, как говорится, в плоть и кровь. Анадырский хребет перестал быть загадкой. Надо подниматься на новую ступень освоения чукотского неба.

Богданов и Пухов уехали, Буторин и Волобуев погибли. Если я не сделаю этого нового шага, больше никому!

С командирской должностью получил я от Конкина некоторые советы и наставления. Приведу их, как запомнил:

— Некоторые думают, что командир может творить все, что захочет. Это неверно. Хотя он не застрахован

от ошибок, но делает не то, что его левая нога желает, а что требуют интересы службы. Это надо помнить всегда.

Отряд здесь существует для того, чтобы корабли в Чукотском море больше не зимовали и — боже упаси — не тонули, как это случилось с «Челюскиным». Отсюда вывод: если корабль зажали льды, сам погибай, а моряков выручай.

Когда в море делать нечего, помогай округу. Авиация перед ним в большом долгу. В условиях бездорожья люди на Чукотке живут, как на островах. В случае несчастья только самолет может быстро прийти на помощь. Утверждение авторитета авиации остается за тобой.

И еще одно: необходимо помочь геологам раскрыть богатства недр Чукотки. Ты и Богданов хорошо это начали, продолжай и дальше так же. Без авиации Анадырский хребт геологам не взять.

Учи, всякое дело начинается с человека. Командир не имеет права руководствоваться личными симпатиями. Неспособные работать изо всех сил стремятся ладить со своими начальниками. Льстят, никогда слова поперек не скажут. Приятно, но на этот крючок нельзя попадаться. Больше всего опасайся людей без собственного мнения. Такие и дело завалят, и тебя самого утопят при первой возможности. Замечаю в последние годы спрос на личную преданность. Личная преданность — основной признак карьеризма. А карьеристы большое зло для нашей партии.

И еще сказал Конкин такое, что я воспринял как завет старого коммуниста ленинской гвардии:

— И последнее: когда будет трудно решать тот или иной вопрос, советуйся с людьми и руководствуйся здравым смыслом. Принцип здесь простой: что полезно людям, то полезно и обществу, в широком смысле, конечно. Где начинается вред или неудобство отдельным людям, там дело обязательно обернется ущербом для всех.

Я почему сказал тебе: берись за базу? Потому, что «текучесть рабочей силы», как выражаются газетчики, для Арктики имеет особо разрушительное значение. Люди увозят отсюда опыт, который нигде больше не применим, а здесь он на вес золота. Значит, надо устраивать людей по-человечески. Приезжая сюда, они

лишаются многого. Это надо ценить. Сильных поощрять, слабых поддерживать, чтобы человеческое тепло оказалось сильнее арктического холода.

Впоследствии не раз я вспоминал добрым словом эти наставления Конкина. В них заключалась мудрость жизненного опыта, но еще важнее для меня была, я сказал бы, мировоззренческая установка этого старого коммуниста.

ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО ЖЕ?

В сентябре 1935 года на летающей лодке МБР-2 по пути в Анадырь я сделал посадку в заливе Креста. В числе зимовщиков, окруживших меня, заметил незнакомого молодого человека. По-городскому одетый, чисто выбритый, с красивым интеллигентным лицом, он отличался от старожилов. Я предположил, что это один из геологов новой смены. Он держался скромно, поодаль, пока поздоровались и задавали свои вопросы знакомые со мной. Потом подошел и спросил:

— Михаил Николаевич, не признаете?

— Честно сказать, не могу этого опровергнуть!

— А ведь мы с вами встречались год назад.

Действительно, в негромком голосе было что-то знакомое, но такого лица я не видел, это точно. Заметив мое смущение, незнакомец назвал:

— Ардамацкий, если не забыли.

— Да не может быть! Вот здорово! Ужасно рад вас видеть, что вы делаете на этом берегу?

— Прибыл с ребятами ставить «Перевальную». В Москве сказали, что вы с Конкиным предложили ей место на Амгуэме и даже название придумали.

— Верно, предлагали. Рад, что именно вам поручили это дело.

— Рано радуетесь. Положение такое — хоть уезжай обратно. Но и уехать нельзя, пароходов больше не будет.

— Что произошло, Игорь Леонидович? Вы — и такие слова!

— Мы же не можем, как геологи, поселиться в горах с палаткой и рюкзаком. Нам надо перевезти домик, аппаратуру, движок, горючее, всякие припасы. Тонн пятнадцать, не менее. Меня отправляли сюда с распоряжением получить у здешней экспедиции оба

вездехода, но, пока добирались, Юрий Алексеевич (Одинец, начальник геологической экспедиции) доказал Москве, что и его план сорвется без вездехода. Машины оказались сильно потрепанными, и нам, конечно, отдают тот, что на ладан дышит. Просто не представляю, что делать.

— Не отчаивайтесь, Игорь Леонидович! Нет безвыходных положений. Вы это превосходно доказали своей наваринской зимовкой.

— С тех пор я постарел изрядно. Понял, что голым энтузиазмом Арктику не возьмешь!

— Но здесь вы не в одиночестве. Я попрошу Юрия Алексеевича одолжить вам свой вездеход на один рейс, а вы пока ремонтируете свой. Тяжеловесы перебросите, а то, что поднимут самолеты, перевезем мы.

Однако Одинец и слушать меня не захотел. «Говорят, что жену и бритву не доверяй и другу. Когда складывалась эта поговорка, еще не существовало вездеходов». Так он ответил мне. Я улетел сконфуженный неудачным ходатайством и все же испытывал радость. От того, что Ардамацкий рядом, сил вроде бы прибавилось.

За полтора месяца до следующего моего прилета на базу геологов Ардамацкий предложенную ему помощь не попросил, а на мой вопрос, как идут дела, ответил:

— Дела, как сажа бела. Оказалось, с горами сражаться нисколько не легче, чем с морем. Пробовали пройти за персвал, встретили снежный козырек и еле добрались обратно. Ленты вездехода рассыпались на кусочки.

Сказанное не было утешительным, но тон был задиристым, вроде бы Ардамацкий был и доволен, что встретил противника по силам. На мой вопрос, как же быть дальше, он ответил:

— Изобретаем! Слышите грохот? Это механики Анаголий Шубин и Юра Цируль рубят бочки и делают из них плиты. А ленты взамен резиновых будем делать из моржовых шкур. Работа анафемская, но не сидеть же сложа руки?

— Чем вам помочь?

— Перебросьте моего Цируля в Анадырь. Надо заварить коронную шестерню ходовой части и раздобыть кое-какой инструмент.

— С радостью, сегодня сможет улететь?

— Голому собраться — только подпоясаться. Сейчас скажу!

Не так давно я сам остро нуждался в дружеской поддержке, потому знал цену людской отзывчивости, равно как и черствости. Нет большей радости для человека, чем запас сил, которым можно поделиться. Считаю обиженными судьбой тех, кто всю жизнь занимается накопительством, ни с кем не делясь. Год назад рядом с Ардамацким я чувствовал себя чуть ли не мальчиком. Теперь я вырос, стал равным в опыте, но более сильным, ибо владел оружием, какого не было у Ардамацкого. Кто же ему поможет, если не я?!

При моей помощи Цируль успешно и быстро решил свои дела в Анадыре, а через несколько дней летчик отряда Сургучев доставил его обратно.

Так первым из товарищей Ардамацкого в поле моего зрения попал Юра Цируль, высокий, стройный парень двадцати пяти лет. Примечательной особенностью его внешности был большой, красивый лоб, с далеко уходящими залысинами. Коренной ленинградец, он работал модельщиком на одном из заводов Васильевского острова и имел высокий разряд. Ардамацкий соблазнил его Арктикой, и Юра бросил все и приехал сюда. Когда я поинтересовался мотивами, Юра презрительно ответил:

— Рано мне обеими руками за теплый клозет держаться!

Всегда приятно видеть, когда люди дружно работают и живут душа в душу. Я радовался удачливости Ардамацкого в выборе соратников. Юра Цируль был тому наглядным примером. Этот городской парень как будто был создан для борьбы с трудностями в Арктике. У него были талантливые руки. Они могли сделать из дерева или металла любую вещь. Взять хотя бы те же ленты для вездехода. Для сцепления с грунтом они должны иметь шипы, так называемые плицы. Не имея другого материала, Юра предложил делать их из железных бочек. Кто видел бочку, без труда представит, что стоило нарубить полсотни прямоугольных планок с ровно заправленными по краям шипами. Тиски, кувалда, молоток — все оборудование. На фоне такой бедности особенно заметно, что могут сделать руки, управляемые изобретательной головой.

Другие соратники Ардамацкого были под стать Цирюлю. Радист Ваня Хомутов и плотник Илья Галкин прошли закалку у мыса Наварин. Второй плотник Костя Беспалов, механик Анатолий Шубин и метеоролог Федя Шипилов не уступали другим ни в сноровке, ни в трудолюбии. В общем, нытиков и белоручек не было, все работали, как говорится, не за страх. Называю этих ребят потому, что в каждом видел частицу личности Ардамацкого.

Размышляя о том времени, удивляюсь я, какие трудные дела доверялись людям, не достигшим тридцати. Сейчас нередко приходится слышать жалобы на инфантильность молодых людей. По моему разумению, это обозначает затянувшееся отрочество с его иждивенческим отношением к делам взрослых. Пример Ардамацкого показывает, что только трудные и ответственные поручения куяут сильные, стойкие характеры. Потому большую часть вины за инфантильность я возложил бы на старших. Нельзя до бороды опекать молодых, создавая им тепличные условия и лишая инициативы. Этим подрываются корни их будущего...

У добрых вестей длинные ноги. Неведомыми путями Чукотка узнала:

«Самолеты летают!»

И люди, привыкшие к оседлой, неторопливой жизни, вдруг почувствовали тягу к воздушным путешествиям. В окружном, окрисполком, Анадырский политотдел и на мое имя посыпались запросы. Райкомы, райисполкомы, начальники экспедиций и зимовок просили прилететь, перебросить в Анадырь, доставить обратно. Все, на что прежде махнули бы рукой до прибытия парохода, неожиданно стало неотложным, приобрело небывалую остроту. Еще бы! В Анадыре можно решить «большой вопрос», добыть дефицитное и даже выточить сломавшуюся деталь. Единственные на всю Чукотку токарный станок и сварочный аппарат имелись только в Анадыре. В свою очередь, и окружным организациям оказалось до зарезу необходимым послать то в один, то в другой район своего инспектора или вызвать для доклада местного работника. Полное отсутствие удобств в полетах возмещалось энтузиазмом наших пассажиров.

Впервые я почувствовал, что отряд стал для Чукотки влиятельной и доброй силой. Это наполняло меня

гордостью и делало щедрым. Принимая просьбы и поручения, я не набивал себе цену ссылками на авиационные наставления, запрещавшие одиночные полеты, посадки вне аэродромов и тому подобное. Позднее понял, что своей безотказностью я обесценивал услугу. Если человек не торгуется, не ссылается на трудности, на невозможность — значит, и в самом деле это ему ничего не стоит. Так рассуждают многие. Но эта житейская истина дошла до меня позднее, а тогда я лишь радовался, что могу помочь, и откликался на нужды людей, становясь на их позиции.

Надо сказать, что эту традицию установил старик Конкин, спасибо ему... Только у него еще не хватало возможностей распространить ее на нужды округа. Впервые все самолеты находились в постоянной готовности летать, не было происшествий, какие мучили нас год назад.

Шла нормальная отдача опыта, добытого при Конкине. Моя заслуга лишь в том, что я безбоязненно реализовал его на практике. Да и то не заслуга. Вероятно, Богданов или Быков, если бы остались, сделали бы то же самое. Следует отметить, что другие летчики отряда Катюхов и Сургучев — когда оказывались одни где-то в районе или у геологов, а требовалась немедленная помощь самолетом, не запрашивали моего решения, действовали по своему разумению. Такую инициативу я поощрял, как когда-то Конкин поощрял мою. Исполнителю нельзя связывать руки, пусть решает и отвечает сам. Только так могут расти люди.

В первых числах ноября 1936 года на двух Р-5 с механиками Митей Островенко и Сашей Моховым я и Володя Сургучев прилетели в Анадырь. Я встречал жену Таню с трехлетним Сережкой, прибывших последним парходом.

В эту осень к нам прибыли первые женщины: две Ольги — повариха и прачка, и еще жена Катюхова Дуся с трехлетней Галкой. Побывать с семьей для Катюхова радость, а для базы польза. Рабочие руки и хозяйственная смекалка Георгия очень нужны нашему жилому дому в подготовке к зиме.

К середине декабря объем работы превзошел все ожидания, пришлось вызвать с базы на подмогу и Катюхова. В его экипаже были бортмеханик Николай Берендеев и радист Миша Малов. Они должны пройти

тем же маршрутом, каким летели мы с Сургучевым, только уже в условиях середины полярной ночи.

В день его полета я изрядно поволновался, хотя принял все меры предосторожности. Мы с Сургучевым дежурили на базе геологов и в течение десяти минут могли вылететь на помощь, если бы она понадобилась. С раннего утра я сидел около радиста зимовки Володи Высотского и мысленно дублировал все действия и переживания своего товарища.

Вот машина на старте. Ярko блещут звезды, впереди горят костры, и в белесой мгле еле-еле различается горизонт. Преодолевая чувство неуверенности, даю газ. Машина бежит, а я прислушиваюсь к мотору, если откажет — это авария. Но вот уже есть высота. Делаю круг над базой, проверяю приборы и жду, пока Миша Малов скажет, что имеет связь с поляркой. Ложусь на курс вдоль берега, затушеванного сумеречной темнотой.

Жду Катюхова и чувствую, что легче лететь самому, нежели ждать товарища из опасного полета.

Однако когда Катюхов приземлился и подрулил свою машину к нашим, на душе отлегло.

На фоне небесной голубизны и горных вершин, подковой обнявших девственную белизну залива, стройная шеренга самолетов казалась пришельцами из другого мира. Солнце, низко плывущее по южному горизонту, положило на них золотого своих лучей, до немыслимой рельефности высветив каждое пятнышко. Успокоение и гордость овладели мною.

Кто чего-либо добивался, поймет меня правильно. То, что мы сегодня вместе, что нам не страшен хребет в полярную ночь, что перед Чукоткой мы уже не «кролики», — все это действительно добыто моими руками, как мечталось в Москве. Общие усилия и все крупницы коллективного опыта объединены мною. В этом смысл и цель моей командирской роли. Почему же мне и не погордиться?

В тот час это были не мысли, выраженные словами, а запомнившееся ощущение, для которого я лишь теперь нахожу нужные слова.

Выключив мотор, Катюхов степенно покинул кабину, потянулся и направился ко мне с докладом о прибытии. За этой неспешностью тоже скрывалось успокоение и гордость. Я обнял его, поздравил с удачей и под-

вел к Берендееву и Малову, накрывавшим мотор. Поздравил и их. Хотелось, чтобы все они ощутили, что я горжусь ими. Ведь нет большей награды человеку, чем прилюдное признание заслуженного.

Потом прилетевшие попали в объятия остальных. Встречали все, кто был на этом кусочке земли. Я отошел, чтобы не мешать. Ликующее дружелюбие, как ни странно, вернуло меня к пережитому за эти часы. На днях исполнится годовщина попытки Волобуева сделать то, что сегодня удалось Катюхову. Надо отметить как-то эту дату...

Не раз я удивлялся: по каким приметам Митя узнает мои мысли? Подойдя ко мне и отводя еще дальше в сторону, он стал выкладывать переполнявшее его:

— Ну как, гордишься, поди?

— Так ведь есть чем, Митя!

— А знаешь, когда я решил остаться с тобой на вторую зимовку, то, честно говоря, считал это жертвой. А сейчас не жалею — рад. Еще год разлуки с Машей вытерплю, впереди целая жизнь, зато сколько мы сделали из того, о чем мечтали! А ведь это главное в жизни, как думаешь?

— Я думаю, Митя, что без тебя я не смог бы выдержать всех невзгод, какие достались. Спасибо тебе!

— Ну это ты брось. Не во мне дело.

Мой друг смутился и покраснел.

— Я о другом думаю. Вот двух лет не прошло, как мы встречали челюскинцев и только еще мечтали об Арктике. Думали: мы молодые, сильные, она перед нами на колени бросится. А первый же полет нас самих бросил, как слепых котят в прорубь. Барахтались и не верили, что выживем. Просто обязаны были утонуть... — Митя нахмурил брови, помолчал... — Ну а в общем-то этот год мы прожили не зря. Научились кое-чему, даже других учим. Теперь бы вот Ардамацкому помочь. Он тут у Одинца снега зимой недопросится. У тебя сейчас авторитет — вмешайся!

— Легко сказать, Митя! Иногда есть смысл стать арбитром среди врагов, один из них будет другом. Одинец и Ардамацкий — наши друзья. Вмешайся — и кто-то превратится в недруга. Нет, это не тот выход. Лучше помочь Ардамацкому своими силами...

— Хорошо бы, а как?

— Появилась у меня одна мысль, да страшновато.

Если бы удалось, то мы помогли бы не только Ардамацкому...

— Ну что ты тянешь, договаривай!

— Подожди, сейчас я к ней подойду. Пока летел Катюхов, я следил за ним, а из головы не выпускал Волобуева. Ты этого не знаешь, а ведь он мечтал о таком полете еще в Москве. Как ты помнишь, мы с тобой раза три ходили в Управление полярной авиации, а пойти к начальству все смелости не хватало. В четвертый раз, уже без тебя, я решился. Вижу на двери табличку: «Замнач Г. Н. Волобуев». Постучал. Услышал: «Не заперто!» Вошел и вижу — над столом склонились три головы. Судя по форме, два летчика, сидят спиной ко мне, а хозяин кабинета, стоя по ту сторону стола, водит карандашом по карте и говорит. Он лишь на секунду прервался бросив: «Садись и слушай!» Представляешь обстановку: за стеной щелкают счеты, трещат арифмометры, из коридора гул голосов, и на этом прозаическом звуковом фоне я услышал такое, от чего замерло сердце. «Освоить эту богом забытую землю, проложить дороги в стране, не знающей колеса, помочь геологам открыть золото — все это геройские подвиги. И это сделаете вы!» Вот, думаю, счастливики, куда поедут! Вглядываюсь в карту, вижу — Чукотка. У меня совсем сердце упало — опоздал! Ведь мы с тобой только о ней и мечтали. А Волобуев синим карандашом тянет прямую от Анадыря на Север, через горы и говорит: «Мы будем летать так! Вы сделаете то, что не удалось Каминну». Услышав эти слова, я совсем пригорюнился и не сразу понял, что Волобуев обращается уже ко мне.

— Вижу, что летчик, догадываюсь, что хочешь в Арктику. Где служишь, на чем летаешь, отпустят ли из части? — С этими словами подошел, положил руку на плечо, не дав подняться для ответа по всей форме. Выслушав, сказал: — Вот тебе лист бумаги и тут же заготовь письмо своему Гроховскому от полярной авиации, а я посмотрю, какой ты грамотный!

Через час, не более, с отпечатанным на бланке письмом Шевелева я мчался в КБ. Летел как на крыльях и думал: «Этого я не забуду!» И вот, Митя, пришло время вспомнить и платить за доброе.

Полярной ночью Волобуев полетел через хребет первым. Представь себя на его месте после аварии: самолет

разбит, где находятся, неизвестно, механик со сломанной ногой, уйти от него нельзя. Но в Анадыре есть действующий самолет, да и у Богданова вот-вот сменят мотор. Никто бы не ушел от самолета при таких надеждах. И он не уходил! Почти месяц. Все сроки для ожидания прошли, а НЗ иссяк. Что мог подумать Георгий Николаевич? Наверное, уклонились так далеко, что здесь и не ищут. «Может, зря, — думал он, — я потерял здесь время и силы? Возможно, рядом бродят кочевники с оленями, а мы пропадаем в бездействии? Надо идти!»

Ушел он со своим летчиком Буториным, и оба как в воду канули. Были люди, и нет их. Живым так легче перенести утрату. А вот найти превратившегося в скелет механика Богдашевского, прочитать его дневник, потом хоронить, сам знаешь, как это было тяжело.

Легко, Митя, представить, что пережил Богдашевский, оставшись с двумя плитками шоколада. Он мог бы прекратить мучения, у него был наган. А в дневнике запись: «Так поступают трусы. Человек обязан бороться до конца!» И еще: «Сегодня отломил десятую дольку, осталось восемь...» От этих карандашных каракуль во всю страницу — мороз по коже! Отломить дольку и ждать сутки, чтобы отломить другую... Какая же потрясающая выдержка и воля к жизни угасли в этом городском мальчишке. Ведь он и не жил еще, не исполнилось и двадцати пяти...

И вот, думаю, Митя, хорошо бы перебросить Ардамацкого на Амгуэму в годовщину того рокового полета Георгия Николаевича. Ведь «Перевальная» станет недалеко от места катастрофы как памятник погибшим. Да и нам будет спокойнее летать через хребет, зная, что на Амгуэме свои люди...

Митя слушал меня с таким напряженным вниманием, как будто впервые узнавал эту историю. Мы вышли на дальний конец бухты, когда он остановился и сказал, глядя на меня горячими глазами:

— Мы должны это сделать, Миша!

— Страшновато! Никакие победы не дают того, что отнимает одно-единственное поражение.

— Но ты же сам говорил, что для нас самая большая опасность в боязни риска. Волобуев рисковал вслепую, а мы знаем точно, где и чем рискуем. В этом наша сила! — И в свойственной ему манере Митя решительно

заклучил: — Я за то, чтобы такой полет сделать, и именно девятнадцатого декабря!

— Ну и спасибо тебе!

— За что, Миша? — в голосе Мити недоумение.

— За то, что помог одолеть сомнения.

Человек не бездушная машина. Он подвержен страху, сомнениям, колеблется, принимая решение в неясной обстановке. Задуманное действие таило в себе возможность неудачи. В этом случае придется отвечать по всей строгости закона. На вопрос прокурора: «Кто разрешил?» — ответить будет нечего. Запрашивать Москву бесполезно. Шевелев еще не забыл катастрофы Волобуева. На его месте я ответил бы: «Подождите до светлого времени!» Ведь и в самом деле нужда не толкает в спину.

Правда, бывают в жизни обстоятельства, когда для раздумий времени нет. Если тонет ребенок, смелый, не рассуждая, бросается в воду. Когда гибель угрожает самому, решение приходит молниеносно. Если оно верное, ты спасен, неверное — погиб. Это отвага мгновения, отвага последнего шанса. Такие мгновения были и у меня. Но сейчас я могу и должен, как говорится, семь раз отмерить.

Прислушиваясь к разноречивым голосам в самом себе, услышал и такой: «Боишься? А Холобаеву говорил, что хочешь что-то сделать для революции *своими руками*. Революция — это не всегда баррикады, но всегда борьба за новое, чего не было».

Этот голос стал решающим. За истекшие полтора года я живо чувствовал признание. Это был честный авторитет. Я могу объявить задание на полет как приказ, и его не ослушаются. Но очень важно, чтобы летчики были не исполнителями моей воли, а убежденными соратниками. Чтобы для них этот полет стал такой же моральной необходимостью, как и для меня с Митей.

Шестнадцатого декабря 1936 года, на следующий день после прилета Катюхова, я провел совещание с экипажами. Оно сыграло большую роль в сплочении и нравственном росте нашего коллектива, поэтому все выступления привожу с протокольной точностью.

Я. Здесь находится группа Ардамацкого. Ей поручено строить первую в Арктике радиометеостанцию в

горах. Располагаясь на трассе наших полетов к северному побережью, она станет служить не только науке, но и страховать наши «перевалы» через хребет. Поэтому ее называли «Перевальной». Предполагалось, что Ардамацкий получит оба вездехода экспедиции Зяблова, но фактически ему достался один, и тот в плачевном состоянии. При таком положении группа Ардамацкого неизвестно когда доберется к месту постройки. Я предлагаю — перебросить минимум людей и все им необходимое нашими самолетами. Когда войдет в строй вездеход — подвезет недостающее.

Прямой и немедленной необходимости в этой переброске нет. Но год назад, 19 декабря, невдалеке от места основания «Перевальной» погиб экипаж командира авиагруппы Волобуева. Мне представляется важным сделать наш полет в день этой годовщины. Он станет памятником погибшим товарищам. Посадка на Амгуэме сейчас рискованная, поэтому прошу всех до одного высказать свое отношение к моему предложению. Начинайте вы, Георгий Иванович!

Г. И. Катюхов. «Перевальная» нам нужна — спору нет. Помочь Ардамацкому самолетами нужно. Но сейчас полет за хребет опасен. Мы еще не настолько окрепли, чтобы рисковать заработанным авторитетом. Надо подождать хотя бы до февраля, когда по светлеет и потеплеет...

В. М. Сургучев. Сегодня в заливе минус тридцать шесть. За хребтом наверняка более сорока. Не представляю, как в морозной дымке и сумерках вы найдете посадочную площадку. Согласен с Жорой, надо подождать!

Бортмеханик А. И. Мохов. А я что могу сказать? Вы командиры, вы и решайте. Я полечу, куда повезете: на Амгуэму или Колыму — мне все равно, не боюсь!

Бортмеханик Н. М. Берендеев. Если рассуждать практически, то, конечно, можно подождать месяц-другой. Жили без «Перевальной», проживем еще немного. Но мне хочется возразить выступавшим до меня по двум пунктам. Во-первых, мы недооцениваем сами себя. Год назад такого полета мы сделать не могли, а сейчас можем, и не надо останавливать себя страхом. Со страхом летать в Арктике нельзя. Во-вторых, год назад здесь погибли наш командир Волобуев, отличный

летчик Буторин и мужественный бортмеханик Богдашевский. Разве им не хотелось жить! Но они летали, чтобы проложить дорогу другим. Мы освоили эту дорогу, так чего же мы боимся? Считаю, что своим полетом в годовщину их гибели мы докажем самим себе, что нам уже не страшно то, что погубило экипаж Волобуева. Я так думаю, а вы решайте!

Бортмеханик Д. Ф. Островенко. Доводы Георгия Ивановича и Володи Сургучева полны здравого смысла. Но у людей есть долг подниматься выше практических соображений, когда речь идет о доблести и чести. Правильно сказал Николай Михайлович — нам прокладывали дорогу в более трудных условиях, во имя этого дерзали и погибали наши товарищи. Как же можно такое забыть? Обязательно надо лететь, и лететь именно девятнадцатого, чтобы почтить подвиг первых.

Начальник «Перевальной» И. Л. Ардамацкий. Я не летчик и советовать вам что-либо не могу. Как полярника, меня увлекает возможность поставить символический памятник вашим героическим товарищам по профессии. Если вы полетите, я согласен жить на Амгуэме в палатке, хотя знаю, каково это в сорокаградусный мороз. Если не полетите, то мы ждатель февраля не будем, а начнем продвигаться своими средствами, как сможем. И последнее — я знаю Катюхова и Сургучева. Им занимать мужества ни у кого не надо. Будет обидно за них, если кто-то подумает, что они осторожны от боязни...

Не скрою, на этом служебном совещании я очень полновался. Кто когда-либо руководил другими, тот знает могучую силу единомыслия и моральной поддержки товарищей. Встречаются люди, которые этим пренебрегают, считая, что их мнение и решение не подлежат обсуждению. По-моему, это вредно везде, а в наших условиях тем более. Без сплоченности нельзя победить Чукотку.

Сдержанное, но твердо определенное высказывание Катюхова меня не удивило. Я этого ожидал. Но когда и Сургучев высказался в таком же духе, мне стало не по себе.

Но вот слово взял Берендеев. Его замкнутость и молчаливость в пору первой зимовки я расценивал как своего рода приспособленчество и стремление к безмятежной жизни. И вот, не глядя на Катюхова, с которым

он летает, Берендеев высказывает свое независимое и граждански зрелое суждение. После него даже Митя удержался от своего обыкновения громить несогласных и высказался на удивление очень кратко. Обрадовали меня также слова Ардамацкого о мужестве Катюхова и Сургучева. Я заметил, что они пошептались, после чего Катюхов заявил во всеуслышание:

— Мы с Володей берем свои слова обратно и согласны лететь на Амгуэму!

Возможно, кому-то покажется, что это совещание чем-то напоминает профсоюзное собрание, где все вопросы решаются голосованием, что я упустил из рук своих «руководящие вожди». Но это неверно. Все шло, как было задумано, и меня не покорила форма выраженного согласия. Теперь я был уверен, что мои ребята не посягнут на инициативу и все сделают с полной отдачей сил. Поэтому мое заключение было кратким:

— Катюхов и Сургучев правы в главном: мы не смеем терять с таким трудом заработанный авторитет. Я знаю, что их возражения продиктованы не страхом, а тяжким опытом, который учит, что в подобных предприятиях осмотрительность равна храбрости. Мужество спасает, когда на голову человека свалится беда. Но если человек сам атакует трудности, сам идет навстречу опасности, мужество становится отвагой... Год назад пример такой отваги показал экипаж Волобуева. Пусть «Перевальная» станет памятником нашему отважному командиру, а наш полет — продолжением того, что делали здесь до нас: Кальвица, Страубе, Куканов, Богданов и многие другие. У нас два дня на подготовку — давайте увезем все, что только сможем, чтобы Ардамацкому возможно меньше пришлось страдать от палаточного «комфорта»...

До Амгуэмы около часа летного времени. Полная заправка позволяла нашим Р-5 быть в воздухе семь часов. Распорядившись заправить машины бензином на трехчасовой полет, я попросил экипажи до отказа заполнить самолеты имуществом Ардамацкого. Листы фанеры, свернутые кольцом, и оленин шкура заняли пустоту хвостовой части, зарядный движок и аккумуляторы были размещены во вторых кабинах, а инструменты и банки с консервами — в моторной гондоле. Словом, внутри

самолета не осталось места, куда можно было бы просунуть руку. Бруски и балки, составлявшие каркас дома, мы подвязали по бокам фюзеляжей к узлам несущих лент и стянули веревочной петлей у хвостов. Даже под днищами самолетов, от радиаторов до хвостового лыжонка, были принайтовлены доски.

И летчики и механики безропотно выполняли мои указания, но в их глазах я угадывал тревогу. Никогда прежде они не знали такого пренебрежения аэродинамикой. Но мы с Митей подобное испытывали в десантном КБ Гроховского и верили, что самолеты выдержат, лишь бы все было надежно закреплено. К вечеру 18 декабря погрузка была окончена и самолеты выглядели как верблюды, снаряженные для длительного путешествия в пустыне.

Все дни, предшествовавшие полету, погода была тихой и ясной. Удержится ли она еще один день? Если задует, то задует надолго, и тогда к принятому грузу прибавятся сотни килограммов снега, который забьется во все щели и пазы самолетов. В этом случае придется все вынимать, отвязывать и повторить сначала канительную работу по загрузке самолетов. А главное, мы не сможем вылететь в задуманный нами день — 19 декабря.

Первые синоптики Чукотки Николай Волков и Павел Голубев находились на базе.

К условленному сроку, вечером 18-го, я просидел в рубке радиста Володи Высотского два часа, но моя осведомленность о погоде не стала большей. Дисциплина радиосвязи в ту пору оставляла желать лучшего. Да и техника многого не позволяла.

— «Гухор — непрохождение!» — печально докладывал мне Володя, не добившись ответа на свои вызовы.

Ночь была беспокойной. Несколько раз я вставал, чтобы проверить погоду. Наконец наступило утро. Темное небо посветлело, одна за другой гасли звезды, южный небосклон порозовел. Все участники предстоящего события оказались на ногах вместе со мной. Уже горели под моторами примусы подогрева. Полет предстоял необычный, и я видел, что мои товарищи с трудом скрывают нетерпение и тревогу. Молча мы стояли, обратив лица на юг и ожидая восхода солнца. Небесный свод непрерывно менял свою окраску. Из темно-голубого он

стал нежно-зеленым, затем желтоватым, оранжевым, розовым. Краски чередовались друг с другом, проникали одна в другую, передвигались все выше и выше, отражаясь на заснеженных склонах окружающих гор.

Зрелище было волшебное, и, вероятно, мы впервые так остро воспринимали игру красок, предвосхищавшую восход полярного солнца.

Единственными звуками в этой морозной тиши были хлопки запускавшихся моторов и звенящий шорох винтов на малых оборотах. Но вот из-за горбушки океанской глади показалась багровая лысина солнца. Оно поднималось над горизонтом, с каждой секундой меняя свой цвет — сперва малиновое, затем красное, желтое и наконец белое, каким бывает раскаленный металл. Только появившийся диск еще не рассыпал лучей, и на него можно было смотреть, затем, чуть приподнявшись, солнце брызнуло в глаза так ослепительно, что мы зажмурились и как по команде повернулись на север лицом к хребту.

Все мы были потрясены этим великолепным праздником. Никто не сказал ни слова, но я чувствовал взволнованность моих товарищей.

И решил рассказать легенду о Матачингае. — так назывался самый высокий пик в горах Анадырского хребта. Всякий раз во время полета на Амгуэму нам приходилось огибать его вершину, даже если мы летели выше. Он обладал магической силой притяжения, и проходить прямо над ним было страшно.

— В стародавние времена нутесхин (по-чукотски — богатырь) Матачингай пас свои стада на южных склонах Анадырского хребта. Он был молод и красив. Однажды, разыскивая отбившихся оленей, он пришел в стойбище Аннаната, кочевавшего по Амгуэме. Там он увидел его дочь, юную Рультыну, и полюбил ее. Она была стройна, как молодая важенка, ее волосы были темнее ночи, лицо напоминало полную луну, а глаза — звезды на заре. Рультына тоже полюбила Матачингая.

— Отдай мне Рультыну, — сказал Матачингай Аннанату, — и я стану твоим сыном.

— У меня есть три сына, ты станешь четвертым, если перехитришь могучего шамана Тадлеана, который хочет, чтобы Рультына стала его женой. Завтра истекает срок. Бери Рультыну и веди в свою ярангу. Ее братья покажут вам секретную тропинку в долину

Нарвакинота. Если успеете до восхода солнца пройти перевал, то Тадлеан не сможет вас догнать. За перевалом его власть кончается.

Обрадованные Матачингай и Рультина пустились в дальний путь. Но Тадлеан узнал про этот разговор и бросился в погоню. Неизвестно, успел бы он догнать беглецов, если бы Рультина не вывихнула ногу, переходя ручей. Матачингаю пришлось нести ее на руках, и он не мог бежать. Братья Рультины, показав дорогу, остались на месте, чтобы задержать свирепого волшебника, но он дунул один раз, и они окаменели, превратившись в сопки. На самом перевале Тадлеан настиг Матачингаю, закрыл выход туманом и сказал: «Я слышал о тебе, Матачингай, и убедился, что ты сильный и смелый воин. Ты не испугался даже моего гнева. Чтобы люди не забыли твоего имени, ты станешь на этом перевале самой высокой горой!»

Дунул Тадлеан, из глаз его вырвалось пламя, и превратился нутесхин Матачингай в красивый и отвесный пик, на голову выше всех других. В отчаянии Рультина, забыв про боль в ноге, бросилась на Тадлеана и сделала то, что делают все женщины со своими обидчиками, — она выцарапала ему глаза.

— Горе тебе, неблагодарная хромоножка! — воскликнул Тадлеан. — Ты лишила меня силы и власти над Амгуэмой. Она иссякнет с первым лучом солнца над соленой водой, но, пока темно, я еще могу выполнить свою последнюю волю. Навеки вечные ты станешь горой рядом с Матачингасм, но никогда не прикоснешься к нему. Твои слезы будут стекать ручьями и питать реку, которой я лягу между вами.

Дунул последний раз Тадлеан, и превратилась Рультина в гору поменьше. Только успел он это сделать, как над соленой водой показалось солнце и сам Тадлеан превратился в реку, как сказал. Но, став рекой, Тадлеан отравил ее воду своей желчью, и все, кто ее пьет, страдают желудком. Забылось имя возлюбленной богатыря, и стоящую по соседству с ним гору, что поменьше, мы зовем Малым Матачингаем. Их разделяет река по имени Тадлеан, и мало кто знает, что это имя всесильного когда-то шамана. Коварство слепой страсти погубило великую любовь. Но окаменевшие головы влюбленных будут вечно смотреть в небо, а коварство так же вечно будет змеиться у их ног отравленной во-

дой. Такова участь всякой истинной любви и всякого коварства...

После небольшой паузы Сургучев раздумчиво и серьезно сказал:

— И у чукчей, оказывается, есть сказки про любовь...

— Жениться надо, Володя! — смеясь, хлопнул его по плечу Катюхов. — Вот я свою сказку, как говорится в песне, сделал былью и не тужу. Не надо мне других сказок!

Я знал, что Георгий Иванович нежно и преданно относится к своей Дусе. Не пожелал с ней расстаться, даже уезжая на Чукотку. И правильно поступил. Подумал я и о своей сказке — о Тане. На моем пути тоже стояли «злые волшебники», они тоже были готовы превратить меня в каменную гору, но я успел проскочить за перевал. Вспомнив это, невольно улыбнулся, вызвав недоуменные взгляды летчиков.

Между тем механики уже включили моторы после прогрева, и я сказал:

— Ну что же, мужики, на месте нам надо быть в самое светлое время, в полдень. Вылетать будем в одиннадцать.

И вот мы в полете. Самолеты оторвались тяжело и сейчас еле «выгребают» на высоту. Слева и справа — Катюхов и Сургучев. Смотреть на их машины страшно. Благородные очертания летательных аппаратов неузнаваемо искажены пачками брусков и досок. Приближаемся к хребту и проходим рядом с вершинами обоих Матачингаев, невольно вспоминая красивую легенду. Они проплывают, суровые, крутобокие, выставив острые грани, на которых не держится снег. В такое время года люди впервые осмеливаются тревожить их покой громом своих моторов.

Оглядываюсь назад. Оранжевое солнце висит над выпуклой кромкой сизого от морозных испарений Берингова моря. Желтоватый с краснотой свет солнечного сияния, рассеянный этими испарениями, не вселяет бодрости. А впереди насколько видит глаз — измятые складки земли, как будто мы летим над мертвым морем со множеством островов, утонувших в морозной дымке горных вершин.

«Неужели Володя прав, — подумалось мне, — и я не найду площадки для посадки?»

Приближаемся к долине Амгуэмы. Горы становятся ниже, снижаемся и мы. Морозная мгла делает даже хорошо знакомые места неузнаваемыми. Вот устье Тадлеана. Где-то рядом находится площадка, где мы должны приземлиться. Ага, вот она! Делаю круг, другой, третий. Слежу за скоростью: плохо обтекаемый самолет может запросто сорваться в штопор. Под дымкой на заснеженном фоне почти не осталось примет, за которые может уцепиться глаз. Но большая практика внеаэродромных посадок возле гор выработала зрительную цепкость: ловлю мельчайшие ориентиры — они все же есть. Покачавши с крыла на крыло, захожу на посадку. Планирую. На высоте двухсот метров попадаю во мглу. Во мне все напряжено до предела. Мгла смыла горизонт, ограничила видимость. Мелькают неясные очертания деталей воображаемой полосы подхода, и все кажется незнакомым, обманчивым.

Сердце зачастило, я перестал дышать. Вот та замеченная кривулина, против которой надо приземлиться. Хотя сомнение жжет мозг: она ли? Убираю газ до отказа и выравниваю машину над еле различимой поверхностью площадки. Лыжи касаются снежных надувов, машина подпрыгивает, снова прижимается к земле, а я напрягаю зрение, чтобы упредить встречу с препятствием, если оно вдруг возникнет на пути пробега.

Но самолет благополучно останавливается. Перевожу дыхание и даю газ. Остывший на планировании мотор стреляет перебоями и забирает не сразу. Осторожно отруливаю в сторону. На таком морозе выключать мотор нельзя — не запустишь, и он бросает из патрубков клубы белого выхлопа.

Ардамацкому команду отвязывать доски, а сам с Митей спешу на площадку. Убеждаюсь — она, не ошибся. Ставлю Митю в конце, а сам по лыжному следу бегу к месту приземления и ложусь, раскинув руки. Катюхов понял, покачал крылом, заходит на четвертый разворот. Ему легче, он видит створ из двух черных точек, какими представляются с воздуха наши фигуры, и точно обозначенное место приземления. Вот и его самолет попал во мглу и почти пропал из виду, но направление держит точно. Увидев меня, убрал газ и приземлился. Тут же садится Сургучев.

— Ох, как здорово! Молодцы, ребята! Главное сделано, теперь-то уж улетим!

Быстро отвязываем доски и брусья будущего дома «Перевальной». Извлекаем из фюзеляжей фанеру и все остальное. Возле самолетов образуется гора всякого имущества. Лица и руки прихватывает морозной струей от работающего винта. На термометрах минус сорок четыре!

Через полчаса все выгружено. Мы помогаем новоселам поставить палатку. Остаются трое. Игорь Ардамацкий, радист Ваня Хомутов и рабочий Илья Галкин. Наваринцы! Самые испытанные, но лица у них озабоченные, даже растерянные. Захотелось ободрить, сказать какие-то высокие слова о подвиге, который они совершают. Но этих слов всегда нет, когда они нужны. Вырвалось банальное: «Ни пуха ни пера!» — и взгляд — глаза в глаза каждому. Мол, верьте, в беде не оставим! Короткие рукопожатия, и экипажи расходятся по самолетам.

Разгруженные машины взлетели молниеносно. Выходим из приземной мглы и совершаем прощальный круг над станцией. Вторично на момент заныло сердце — нам хорошо, мы улетаем, каково достанется здесь им?

Вот под нами прошли макушки «трех братьев». Выше, выше, скорее к солнцу! Вот и оно. Сделали! Вышло!

Вы не забыты, дорогой Георгий Волобуев! Жертва ваша не была напрасной. Мы научены и вашей отвагой, и вашими ошибками... Командиры самолетов Катюхов и Сургучев... Самые обыкновенные парни. А какие мужественные и верные сердца у этих парней! А механики? Всегда они где-то на втором плане — за летчиками. А ведь черного и грязного труда на их долю выпадает всегда больше нашего. И риск пополам. Нет, мне просто везет на славных товарищей. Такие же чернорабочие освоения Чукотки, как и мы с Митей. Никто не знает, как достается нам это освоение.

После этого полета мы останемся такими же, какими были, но все же и чуть-чуть другими — больше будем уважать самих себя.

И опять мысли о посадке. Минус сорок четыре! Лицо саднит, руки ноют, как обожженные. Почему газетчикам недостаточно такого мороза? Им ничего не стоит помянуть пятьдесят, даже шестьдесят. Сорок градусов для них вроде бы и не мороз. Попробовали бы они сегодняшнее своими боками!

...Через шесть часов после посадки на Амгуэме Володя Высотский принял первую радиограмму «Перевальной»: «Все в порядке. С завтрашнего дня начинаем регулярную передачу метеосводок. Все здоровы, только обморозились. Всем привет. Ардамацкий, Хомутов, Галкин».

Узнаю Ардамацкого. Илья Галкин для него не просто рабочий, а соратник. В таких условиях все равны, никто не должен быть ниже другого.

Ну и везучий же я, черт возьми! Надо же простоять ясной погоде ровно столько, сколько надо! В ночь температура за два часа поднялась до минус двадцати и разыгралась пурга. Наутро Хомутов на связь не вышел. Я не очень беспокоился. Мало ли что не ладится поначалу? Через три дня, когда стало стихать, зачирикала «Перевальная». Оказалось, что в первую ночь усталые новоселы, понадеявшись на тишину, не закрепили как следует палатку. Когда уже спали, ее снесло.

Я представил себе эту жуткую картину: темень, ветер со снегом и трое смельчаков в спальных мешках под открытым небом. Все, что было в палатке, унесло к чертовой бабушке вместе с нею. Найти ее во что бы то ни стало, иначе пропадешь ни за грош! Запросто могли погибнуть ребята, и впервые я пожалел, что не послушался Катюхова, настоял на высадке сейчас, в декибре. Слава богу, как говорится, обошлось, а случись беда, отвечать за эту самостоятельность пришлось бы по уголовному кодексу!

Запросил, нужна ли наша помощь? Ардамацкий ответил одним словом: «Обойдемся!»

Мы улетели в Анадырь, где нас ждала работа, и еще долго мне снилось, как ветер сносит палатку и я разыскиваю ее в снежной метели...

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ...

Глубокий сон прервался вскриком Тани. Я услышал тяжелые удары по оконной раме и звон осыпающихся стекол. В комнате темно; часть оконного проема загроживает фигура человека.

— Командир! Дом горит! Спасайте Таню и Сережу, давайте их сюда.

Эти слова ударили в сердце, как выстрел. Что это: сон или явь? Потом я не раз удивлялся материнскому

инстинкту, который заставил Таню среагировать на внезапную беду раньше меня. Она не потеряла драгоценных мгновений. словно подброшенная пружиной, вскочила с кровати, метнулась к постельке малыша, схватила его вместе с одеяльцем, шагнула к окну.

Босой, в одном белье, я бросился к двери и распахнул ее. Сквозняк мгновенно втянул огонь, бушевавший в коридоре. Как дикий зверь, огонь запрыгал с предмета на предмет, комната мгновенно заполнилась угарным дымом. Закашлявшись, я попятился к окну, жадно заглатывая свежий воздух.

Если бы Таня растерялась, стала кричать, метаться, вероятно, вся моя энергия обратилась бы на помощь ей. Но она поступала разумно; уже успела передать в окно Сережу и вот-вот вылезет сама.

Я действовал быстро и почти хладнокровно. «Документы, деньги!» — пригнувшись, бросился к столу, где хранилась отрядная канцелярия и бухгалтерия. На счастье, под руки попала парашютная сумка с унтами, перчатками, планшетом и другим полетным снаряжением. Унты на ноги, остальное — вон. Сгреб в сумку бумаги со стола, выдвинул ящики и опорожнил их. Жар ощутимо палил плечи, и я передвинулся к окну.

Сколько времени прошло? Вероятно, считанные секунды, потому что Таня, передав ребенка, сама еще протискивалась между вертикальными стойками оконной рамы. Мое плечо уперлось в ее обнаженные ноги. Как же она будет босой на снегу? С этой мыслью ползком вернулся к кровати и отыскал ее валенки. Выбросил их и сумку на улицу и вылез сам. Зацепил оконную штору, выдернув ее, укрыл плечи Тане.

Видимо, и двух минут не прошло с момента пробуждения, как мы оказались в толпе около горящего дома. Из соседнего окна вырывался кровавого цвета язык пламени. Огонь уже прорвал тесовую крышу и торжествующе гудел, рассыпая снопы искр и выстреливая кусками горящего дерева.

Все это сфотографировалось одним взглядом, ибо мне тут же пришлось заняться Таней. Двойные с мелким переплетом рамы окон нашего дома были сработаны добротно. Даже такой силач, как Иван Григорьевич Шамин, не мог их сокрушить. Зубцы разбитых стекол держались прочно, и Таня, передавая на улицу Сережку, сильно порезала о них руки. С них ручьем текла

кровь, а кожа выше запястий висела клочьями. Она старалась надежнее укрыть сына.

Какая же это могучая сила — материнская любовь!

Я как-то не сумел раньше коснуться истории возникновения анадырской базы, где произошел пожар, и должен это сделать сейчас для ясности его причин и следствий.

На смену отряду Павленко, о котором я уже говорил, в Москве под командованием Волобуева была сформирована авиагруппа из двух отрядов. Северный отряд состоял из трех, а южный из двух экипажей, которые должны были базироваться в Анадыре и работать на нужды округа.

Вместе с нами на «Охотске» прибыл и дом для летчиков. Строительная бригада до отплытия последнего парохода собрала наш дом, а мы (нас было десять человек) закончили его отделку. После катастрофы Волобуева на зимовку 1936/37 года остался лишь северный отряд из трех экипажей без освобожденного командира. Дом в Анадыре пустовал, и по распоряжению Москвы в нем поселилась гидрографическая экспедиция, прибывшая для обследования реки Анадырь. Представителем авиации и хозяином анадырской авиабазы прибыл авиатехник Иван Григорьевич Шамин.

В ноябре 1936 года, когда мы с Сургучевым прилетели с севера, нам представился высокий брюнет с мужественным лицом. В нем чувствовались физическая сила и природное умение по-умному распоряжаться ею. Быстрая и точная реакция удачно сочеталась с осмотрительной неторопливостью. К двадцати пяти годам он успел стать одним из основателей полярной станции на мысе Жслания Северной Земли. С этой трудной зимовки он вернулся с отличными аттестациями, и Шевелен доверил ему самостоятельную работу на Чукотке. Перед нами он держался скромно, но в дальнейшем убедил нас в своих дарованиях организатора и хозяйственника. Дом анадырской базы при нем стал лучшим на Чукотке, а мы летали, не зная забот о быте. Это было для нас ново и непривычно.

Иван Григорьевич Шамин первым прибежал к окну моей комнаты. Выбив плечом часть оконного переплета,

помог выбраться Тане с Сережей. Опоздай на минуту — было бы поздно. Митя спал в другом углу дома, но его реакция была такой же — спасти командира. Спасибо им за подарок, им стала жизнь.

Теперь я могу продолжать рассказ о том, что происходило дальше.

В этот вечер гидрологи провожали своих товарищей «в поле» после новогоднего сбора. Пирушка происходила в одном из домов плавбазы рыбокомбината. Геодезист Морозов, вернувшись к себе, зажег свечу, так как электростанция в поселке работала лишь до двадцати четырех часов. Морозов поставил свечу на тумбочке у окна, близко к занавеске. Легкое дуновение воздуха, и пламя свечи прикоснулось к занавеске.

Дом, построенный из смолистой сибирской сосны, вспыхнул как солома. Ночевавшие в дальних комнатах летчики проснулись от криков Морозова и через окна выбрались наружу. Только нас с Таней да еще астронома экспедиции Серафима Карандашева не разбудил возникший переполох. Помощь пришла буквально в последнюю минуту.

Хотя шел третий час ночи, раздетых в такой степени, как мы с Таней, в толпе не оказалось. Отстранение нас, мужиков, Таней занялись женщины. Инженер Тамара Спевак оторвала от своей блузки рукав и стала перевязывать ей руки. Техник Мария Суярова и Аня Шамина где-то раздобыли кухлянку и пытались напаять ее на Таню. Но та сопротивлялась изо всех сил, прижимая к себе ребенка. В этом выразилось ее шоковое состояние, хотя внешне оно не было заметно.

Вскоре прибежали люди из поселка комбината, появилась собачья упряжка, и женщины повезли Таню с Сережей в больницу.

А я стоял в толпе, чей слитный гул растворялся в треске рушащегося дома, отупелый и ко всему безучастный; на моих глазах в пламени и дыму исчезала база — дом, еще совсем недавно казавшийся мне несокрушимой крепостью, в которой мы укрывались от невзгод полярного бытия. Печальное слово «погорельцы» из абстрактного понятия стало осязаемым, сулило горькое будущее.

Вернули меня к действительности слова начальника Чукотского треста Василия Даниловича Бовтуна:

— Сейчас вам тут делать нечего. Завтра при свете дня все прояснится. Пойдемте ко мне!

В его голосе было столько неподдельного участия, что я подчинился. Он накинул на меня свою шубу, и только теперь я почувствовал, как зверски озяб. Термометр показывал минус двадцать шесть, и, несмотря на шубу, у меня, что называется, зуб на зуб не попадал. Думаю, не столько от мороза, сколько от нервного возбуждения.

Таню уже привезли из больницы, где ей пришили лоскуты кожи на руках, между локтями и запястьями. Вместе с женой Бовтуна Верой она занималась устройством постели для Сережи.

— Весь мой инструмент сгорел, — расстроился Сережа, — чем тепель буду лазилать?..

Поняв, однако, что нам сейчас не до его забот, заключил:

— Ну ладно, буду добилать! — и, подложив ручку под щеку, закрыл глаза.

Букву «р» он еще не выговаривал, а слово «добилать» в смысле «доспать» позаимствовал у механиков, пользующихся случаем прикорнуть при возможности.

Трехлетний Сережка был любимцем отряда и всех гидрологов, живших в нашем доме. Его любили за милую, любознательную мордашку, смешленость и врожденную страсть к технике. Разбирать что-либо, орудуя отверткой, было главным занятием его в течение дня. Он увязывался с механиками к самолетам, а если мать не пускала, околачивался около инженеров экспедиции, когда те налаживали геодезический инструмент.

Однажды Сережа поверг в панику отряд Карандашева, вывернув все винты из отлаженного астрономического прибора. Весь его «инструмент» — плоскогубцы и отвертка. И без них он из комнаты не выходил.

В эту ночь Сережа тоже предстал передо мною в новом свете. Он ни разу не заплакал. Между горькими мыслями солнечным лучом мелькнула и такая: «Характер у тебя, сынок, стойкий — в мать. Вы сегодня держались геройски!»

На счастье, ночь оказалась тихой. Пожар не распространился на поселок, и наши самолеты, стоявшие невдалеке, на льду лимана, не пострадали.

Однако гидрографическая экспедиция вышла из строя почти на месяц. Сгорели все материалы, добытые

тяжким трудом в ноябре и декабре, многие люди лишились полевой теплой одежды. Астроном Карандашев в своем отчете писал:

«Что-либо спасти, к сожалению, не удалось из-за чрезвычайно быстрого распространения огня по помещению. Мне самому удалось выбраться из охваченной пламенем комнаты с обгоревшими на голове волосами, бровями, ресницами через окно, выбитое бортмехаником Островенко...»

С помощью Анадырского политотдела погорельцы разместились в поселке рыбокомбината. Мы с Таней остались невольными постояльцами Бовтуна, а летчикам и механикам отвели под жилье больничную палату.

Наша работа в Анадыре стала еще более необходимой. Теперь только от нас зависело, успеют ли гидрографы наверстать упущенное и выполнить свой план. По мере готовности отрядов экспедиции мы вывозили их к месту работы в различные точки, по всему нижнему течению реки Анадырь до Усть-Белой. Перебрасывали с места на место и доставляли обратно на базу.

Как и раньше, нам нигде не выкладывали посадочного «Т», не обозначали площадку флажками, и мы продолжали жить в атмосфере рабочего риска. Но изменилась, как-то «отвердела» наша психология. Если еще в ноябре — декабре каждый полет представлялся и нам самим, и нашим клиентам чем-то выдающимся, необычным, то в январе регулярные и безаварийные вылеты никого уже не удивляли. Что касается нас, то после вышеописанного десанта на Амгуэму обычные полеты при свете дня стали нам казаться, по выражению Сургучева, «семечками».



Глава вторая

«ШТУРМОВАТЬ ДАЛЕКО МОРЕ ПОСЫЛАЕТ НАС СТРАНА!»

ГОЛУБОЕ ВРЕМЯ

На своем опыте я убедился, что не трудности жизни или работы разобщают людей. Наоборот, они только сплывают, если старшие в коллективе дают пример

самоотверженности в борьбе с ними. Наш отряд достиг высокой степени сплоченности.

Целых восемь месяцев до конца лета 1937 года я был счастлив полностью и во всем. Рядом была моя семья, надежные соратники, любимая работа, и все мне удавалось.

«Ты командир, но твои подчиненные — это не безгласные исполнители твоей воли, а равноправные товарищи, сотрудники. Не позволяй себе никаких поблажек, бери на себя самое трудное, и люди пойдут за тобой!» Следуя этим наставлениям Конкина, я вскоре убедился в их мудрости. Общая заинтересованность в успехе дела, взаимное доверие стали определяющими в нравственном климате коллектива. До поварихи Ольги включительно каждый ощущал себя личностью и был готов сделать все, на что способен.

Такой климат создавался не за один день, но через полгода он стал моим командирским счастьем.

Наша материальная база осталась такой же, какой была два года назад. Те же самолеты, та же неустроенность быта, но люди стали другими. Переломным моментом оказался наш десант на Амгуэму с Ардамацким. Летчики безоговорочно поверили в меня, и Чукотка, казалось, стала к нам дружелюбнее. Каждый полет был задачей, решая которую летчик имел простор для инициативы, находчивости и смелости — одним словом, для творчества. Полет одиночного самолета за триста-пятьсот километров перестал быть событием.

К началу тридцать седьмого стало ощутимым все предпринятое для освоения Чукотки. Появились новые полярные станции, торговые фактории, школы, строились морские порты и угольные базы, в ряде мест работали изыскательские экспедиции. Чукотка обстраивалась и исследовалась небывалыми темпами. Теперь жизнь на ней не замирала от последнего парохода и до следующего лета, как в былые годы. Всем требовались контакты с окружным центром и между собой. Летный отряд стал тем звеном, которое связывало в одно целое усилия многих.

Мы это почувствовали уже в феврале. Редкий день на мое имя не поступало распоряжений и запросов на полеты со всех концов округа. Наступило более светлое и теплое время, все длительнее стали периоды без пурги, и каждый погожий день самолеты поднимались в

воздух. До марта мы, все трое, базировались в Анадыре. Выполнили все заявки окрисполкома и Анадырского политотдела, закончили работу и для речников, по вине которых сгорел наш дом. В марте стали работать с северного побережья. Завезли в горы продовольственные базы для летнего сезона геологической экспедиции Ю. А. Оди́нца. Впервые такую же работу Катюхов сделал для певекской экспедиции Н. И. Сафронова. Для певекцев эта услуга оказалась непривычной роскошью, и Сафронов прислал благодарность в самых восторженных выражениях. Несколькими полетами я и Сургучев перебросили на «Перевальную» тонны две срочных грузов Ардамацкого, чем уменьшили остроту его зависимости от вездехода, который больше простаивал, чем работал.

В те поры жизнь в Арктике еще не могла вытерпеть формализма в отношениях людей и организаций между собой. Требуемые полеты мы выполняли без дискуссий о том, кто и когда заплатит за них. Расчеты велись в Москве и нас не касались. Нужды наших клиентов мы принимали к сердцу как свои, старались сделать для них все возможное, часто сверх того, что разрешали авиационные инструкции. Нам отвечали таким же братским отношением. Возвращаясь на базу, мы привозили свежее оленьё мясо или рыбу, какой у нас не было. Даже добыли генератор к имеющемуся у нас движку и к следующей зиме надеялись организовать на базе электрическое освещение.

В апреле нам довелось оказать помощь летчикам, совершавшим перелеты на Чукотку с материка. Первым обратился к нам один из пионеров полярной авиации, Василий Никифорович Задков. Он летел из Хабаровска по берегу Тихого океана и застрял на северном побережье Охотского моря. Его двухмоторный самолет Р-6 вышел из строя из-за повреждения винта.

В любом деле мастерство человека растет от малого к большому. Полет на выручку Задкова стал для меня экзаменом по курсу наук, преподанных Чукоткой. Впервые я предпринял беспосадочный полет за пределы Чукотки протяженностью, равной от Москвы до Крыма. По безориентирной местности, без штурмана и связи. Из этого полета сопровождавший меня Сургучев привез штук двадцать березовых веников для бани.

Вторым гостем Чукотки оказался Фабио Брунович

Фарих. В те годы очень популярный летчик, совершивший несколько отважных перелетов в западной Арктике. Он летел на двухмоторном туполовском самолете Г-1 из Москвы через Красноярск — Якутск, а обратно по северному побережью Ледовитого океана. На самом трудном участке маршрута между Колымой и Анадырем ему не хватило горючего, и он произвел посадку в Маркове. Мы доставили ему бензин и познакомились с его экипажем — ставшими впоследствии моими друзьями, знаменитыми деятелями полярной авиации штурманом А. П. Штепенко и бортмехаником М. И. Чагиным.

20 мая полетом на остров Врангеля закончилась зимняя навигация на лыжных самолетах Р-5. Наступила весна, давшая нам небольшой антракт перед летней навигацией. Она помнится мне как самая счастливая в моей жизни полярного летчика. Пройдет несколько месяцев, и это счастливое время оборвется. Мне будет сказано, что плохие времена приходят к человеку, когда он перестает видеть свои ошибки в хорошие времена. Это будут справедливые слова, и вы, читатель, вместе со мной сделаете выводы, которые позволят вновь подняться над несчастьями. Но «плохие времена» пока впереди, а сейчас пойдет рассказ об удачах. Они постепенно притупляли бдительность и возвращали мою самоуверенность, которая не могла остаться безнаказанной...

А ЧТО ТАМ ЗА ГОРИЗОНТОМ?

В середине июня на северное побережье пришло полярное лето. Солнышко круглые сутки не уходило с небом, все чаще воздушные массы, прогретые над материком, смещаясь на север, поднимали температуру в иные дни до двенадцати четырех градусов. Картина местности менялась ежедневно. От солнечной радиации быстро разрушался ледовый панцирь моря, появились забереги, потом полыньи, и вот лед уже видится белой полосой на горизонте. Так же быстро уменьшалась площадь снежников в лощинах, дотаяивал лед в лагуне. В солнечном сиянии смягчалась бедность красок окружающей природы. Рядом со снежниками расцветали полярные маки, незабудки и еще какие-то крохотные цветочки. Яркой, сочной зеленью одевалась тундра, появилась

масса комаров и насекомых-однодневок. Жизнерадостно перекликались кулички и пуночки, радуясь обилию добычи.

Как-то отмякли душой, но стали задумчивыми люди. Глядишь, то один, то другой нет-нет да остановится, заглядевшись на сизое море, в котором колыхались горы на юге. Далеко за ними у каждого осталось что-то дорогое, о чем напомнил теплый ветер с материка.

Из Владивостока к нам вышли корабли, и теперь главная задача отряда — провести их во льдах до устья Колымы. Наступила горячая пора, именуемая в Арктике навигацией.

Жора Катюхов еще в начале июня улетел на Амгуэму для работы с геологами, а мы с Володией Сургучевым будем летать в одном экипаже на нашей лодке МБР-2. Погода великолепная, но заданий нет. Только 3 июля пришла долгожданная депеша от начальника полярной авиации:

«Авиабаза. Каминскому. К вам подходят корабли с важными грузами Дальстроя. Обязываю лично обеспечить их проводку до Амбарчика по требованиям капитанов и начальника операций Дриго. Доложите готовность лодки и состав экипажа. С северного берега не отлучайтесь. Шевелев».

Наконец-то! У нас все готово. Докладываю, что вторым пилотом Сургучев, штурманом Морозов, бортмехаником Островенко, радистом Малов. Но снова идет день за днем, солнышко манит в небо, а ни кораблей, ни запросов на разведку нет как нет. Завидуем Катюхову, он летает каждый день.

Радость пришла с неожиданной стороны. Анадырский политотдел предлагает мне перебросить из залива Креста в Чаунскую губу комиссию из четырех человек. В тот же день 18 июля мы доставили комиссию на свою базу. От нее узнали, что геологи Сафронова открыли в районе Певека новые месторождения олова и это сулит району мощное промышленное развитие.

Начиная с основания отряда, ни один летчик не летал дальше Певека. Не позволяли обстоятельства, о которых сказано ранее. Сейчас отряд окреп, у нас уже есть опыт и уверенность в своих силах. Пора узнать, а что там, дальше к западу? Корабли «с важными грузами Дальстроя» должны выполнить свою задачу. Мы отвечаем за их благополучие во льдах до самой

Колымы. Принимаю решение: после высадки комиссии в Певеке разведать этот неизвестный нам участок морской трассы.

Рано утром 19 июля мы стартовали в дальний путь. Я понимал, что в этот автономный рейс ухожу без страховки. Случись вынужденная посадка за Певеком — помочь будет некому. Сухопутных площадок даже для У-2 Катюхова не будет, а морских самолетов в радиусе трех тысяч километров не сыскать. Это обстоятельство держит меня в напряжении. По большому кругу набираю высоту, прислушиваюсь к мотору, присматриваюсь к приборам. Мелодия мотора вселяет уверенность, стрелки приборов как солдаты на своих постах. У меня все в порядке, а как у остальных?

Передаю управление Сургучеву, встаю с кресла, спрашиваю, указывая глазами на борт: «Ну как?»

Володя вынимает вату из левого уха и склоняется ко мне:

— Как в Крыму! Давно такой погоды не видел! — и оттопыривает большой палец величиной с кукурузный початок. Его скуластая физиономия излучает удовольствие, а глаза щурятся в улыбке.

Зиглядываю в кабину бортмеханика. Митя кивает мне головой с тем выражением лица, какое бывает у людей, преисполненных сознанием важности совершаемой ими работы. Как будто он сам толкает поршни и крутит винт. Миша Малов из-за его спины передает записку:

«Имею связь с «поляркой» и радистами Врангеля. Желают счастливого пути, будут следить!»

Радиосвязь в полете еще не совсем привычная для нас роскошь. Одобрительно улыбнувшись радисту и обратив взгляд на Митю, я мотнул головой в сторону пассажирского отсека, как бы спрашивая о самочувствии пассажиров. Митя тоже отвечает жестом, подняв большой палец, и, поколебавшись, распахивает дверку. Наши спутники приникли к иллюминаторам. Впервые они смотрят на эти горы сверху вниз.

Под приборной доской на карачках пролезаю в кабину штурмана. Здесь тесно — места для одного, и то не слишком толстого. Слитный шум от мотора и завихрений воздушного потока глушит слова, но понимаю, что и штурман к дальнему полету готов.

— Ну что ж, можно уходить.

В ряду трудных, порой опасных полетов случаются в жизни летчика такие, от которых он испытывает наслаждение. Упрямая воздушная стихия подчиняется ему, и он может без тревоги любоваться прекрасными видами, когда природа в покое. Иногда выпадают полеты, обогащающие чувства и обостряющие мысль. В них как бы обнажается сущность труда полярного летчика — служить познающему разуму человечества.

Над Чукоткой большой день. Солнце не покидает неба все двадцать четыре часа. Ни единое облачко не мешает ему работать. Атмосфера недвижима, а ее прозрачность абсолютна. Про такую видимость летчики говорят: «Миллион на миллион».

Как огромна ширь горизонта! Чем выше мы поднимаемся, тем дальше он отступает, вытягиваясь на севере в нитку и собираясь на юге в гармошку. Берег уходит в невообразимую даль. Это великая граница между земной твердью и Мировым океаном.

Долгие века на утлых деревянных ладьях смельчаки пытались пробить кратчайший путь с запада на Дальний Восток. Пропадали одиночки, гибли экспедиции. Дорогой ценой, по крупицам добывая знания, они первыми осваивали Великий Северный морской путь.

XX век двинул в сражение стальные корабли, и вот уже двигатели внутреннего сгорания поднимают здесь человека на крыльях. Правда, еще мало и кораблей, и самолетов, невелик наш опыт. Но нет предела могуществу человеческого разума.

Слева по курсу, за узкой полоской лагун, почти непрерывной чередой идущих вдоль береговой черты, местность повышается. Холмы и сопки, обкатанные временем и свирепыми ветрами. За ними разворачивается величественная панорама горной страны. Для людей эта страна пока недоступна, и заснеженные пики вершин сторожат ее безмолвие. В этой холодной и голой стране ни кустика, ни деревца. Здесь не гнездятся птицы, не водятся звери. Даже суровый океан добрее. Нерпа, морж, белый медведь могут стать добычей человека. В горах Чукотки проживешь только тем, что принесешь с собой.

Под нами береговая полынья — дорога древних морепроходцев. Кроме отдельно плавающих льдин и солнечной дорожки, на ее поверхности ничего нет. На протяжении пятисот километров нам попадутся всего три человеческих поселения: Пильхин — десяток яранг бе-

реговых охотников, два домика и десяток яранг за мысом Биллингса и четыре строения «полярки» под сенью утесов мыса Шелагского.

Геологи заразили нас с Митей верой в богатства гор Анадырского хребта, и всякий раз, пролетая над ними, я гадал: «Здесь? Или, может, там?» Легенда о теле «золотого человека», лежащего в горах Чукотки, мнилась истиной. Золото разбудит этот край от спячки. Вспыхнут огни городов во тьме полярной ночи, и даже дороги лягут в этих тундрах, не знающих колеса. Люди обязательно придут сюда, и тогда разлетится на осколки сонная тишина, затаившаяся в этих могучих складках планеты!

Самолет поглощает пространство.

Дима Морозов, приподнявшись лицом к нам, выразительными жестами показал вниз, потом на северный горизонт, где обозначился гребень острова Врангеля. Мы проходим мыс Якан, от него до знаменитого острова наименьшее расстояние — 150 километров. Обернувшись, я выманил из «кочегарки» Митю и радиста Мишу Малова. Пусть тоже посмотрят на эту легендарную землю.

Первым об острове услышал от чукчей морской офицер Федор Петрович Врангель, когда в 1824 году обследовал северные берега Чукотки. Чукчи утверждали, что именно с мыса Якан в летние дни они видят иногда землю на севере. Врангель предпринял несколько попыток убедиться в этом, однако безуспешно; дрейфующие льды одна не похоронили его отряд. В своем отчете он написал:

«С горестным удостоверением в невозможности преодолеть поставленные природою препятствия исчезла и надежда открыть предполагаемую землю, в существовании которой мы уже не могли сомневаться. Борьба с силой стихии безрассудно и, более того, бесполезно. Я решил вернуться».

В 1849 году английский капитан Генри Келлет, искавший экспедицию Франклина *, первым увидел эту

* В 1845 году из Англии под начальством знаменитого полярного капитана Джона Франклина отправилась экспедиция на двух кораблях. Ставилась задача найти проход из Атлантического в Тихий океан. Как потом выяснилось, все участники похода погибли. Экспедицию Франклина искали много лет.

землю с востока. Небольшой остров перед ней он даже обследовал и назвал в честь своего корабля «Геральд».

В 1867 году американский китобой Томас Лонг смог осмотреть землю, открытую Келлетом, с юга на более близком расстоянии. Лонг и дал ей имя в честь Врангеля. Кстати, пролив между островом и материком носит имя отважного китобоя.

Впервые американские корабли «Корвин» и «Роджерс», разыскивающие экспедицию Де-Лонга*, порознь — 12 и 24 августа — подошли к берегам загадочной земли. Особенно важную работу по обследованию острова и созданию первой карты выполнил экипаж «Роджерса» под начальством капитана Берри.

Русские побывали здесь впервые в 1911 году. Гидрографическая экспедиция на корабле «Вайгач» прошла от мыса Биллингса к западной оконечности острова, где определила астрономический пункт.

Затем начинаются драматические страницы истории острова.

В сентябре 1913 года шхуна канадского исследователя Стефенсона «Карлук» оказалась затертой во льдах к северу от Аляски. За три месяца наступившей полярной ночи она прошла в дрейфе около тысячи километров к западу.

В январе 1914 года в ночной тьме произошла катастрофа. Раздавленная льдами шхуна утонула, а двадцать четыре члена экипажа образовали «лагерь кораблекрушения».

Капитан Роберт Бартлет в последующих событиях проявил распорядительность, хладнокровие и самоотверженность. Вовремя были выгружены на лед солидные запасы продовольствия и снаряжения, в нужный момент последовал приказ: «Всем покинуть судно!»

«Я остался на борту, — пишет Бартлет, — и решил дожидаться конца. В 15 часов 15 минут судно стало погружаться. Через несколько минут палубы покрылись водой. Поставив похоронный марш Шопена, я завел

* В 1878 году к Северному полюсу на шхуне «Жанетта» отправилась американская экспедиция под начальством Джорджа Де-Лонга. «Жанетту» затерло во льдах около о. Геральда, и она дрейфовала на запад почти три года, пока не погибла от сжатия. Тридцать три человека экипажа направились к земле. Часть людей погибла в море, часть на суше в дельте Лены от голода. Спаслись тринадцать человек.

виктролу. Вода хлынула в люки. Я забрался на релинги и, когда их края сровнялись со льдом, соскочил. Канадский флаг развернулся на верхушке мачты, коснулся воды, и судно скрылось».

Опуская подробности гибели двух партий, преждевременно, вопреки советам капитана, устремившихся к острову Врангеля. Бартлет дождался светлого времени и 24 февраля сам повел оставшихся с ним 16 человек.

Никто не знал, где они находятся, у них не было ни единого шанса на помощь. Они могли спастись только собственными усилиями. В подобных ситуациях всегда обнаруживаются слабые духом, своим нытьем подрывающие веру у остальных. Каким же стойким человеком должен был быть капитан Бартлет, чтобы сохранить эту веру самому и поддерживать ее в других!

Он сказал: «Я выведу вас к земле. Это остров — он необитаем. Мы выживем, если придем не с пустыми руками!»

До острова 150 километров пути по торосам. Имея десять часов светлого времени суток, надо было идти каждый день в любую погоду. И они шли — день за днем. Не просто шли, а перетаскивали на санках десять тонн продовольствия и снаряжения. От этого пройденный путь утраивался. Мороз держался между отметками тридцать пять и сорок пять градусов. Каждую ночь надо было разбивать лагерь, готовить пищу, сушить одежду над примусами. И еще надо было верить, что они придут.

Они достигли обетованной земли в невероятный срок — за восемнадцать дней.

На «Карлуке» не было радио, и Америка не знала о катастрофе. Во имя спасения доверившихся ему людей капитан Роберт Бартлет совершил еще один подвиг. Он вышел на лед пролива Лонга и направился к мысу Якан. За четырнадцать суток, сопровождаемый одним спутником, преодолел путь, который никто больше повторить не смог. 4 апреля оба вышли на материк и наткнулись на стойбище чукчей. К 16 мая, преодолев еще тысячу триста километров на собаках, Бартлет оказался в бухте Провидения. И опять смелому человеку сопутствовало счастье — в бухте находился американский пароход.

Прибыв на родину, Бартлет организовал экспедицию по спасению оставленных им на острове людей. В его

отсутствие погибло еще три человека, но остальных удалось вывезти.

Эти события привлекли большое внимание к острову. В 1921 году, пользуясь тем, что в России шла гражданская война, Стефенсон решил подарить «беспризорный остров» английской короне. Для этой цели он послал туда партию из пяти человек.

Как только кончились запасы продовольствия, новые колонисты по примеру Бартлета решили перейти на материк. Но то, что удалось Бартлету, оказалось не по силам его преемникам. Их похоронил полярный лед.

Однако это не остановило Стефенсона. В 1923 году он доставляет на остров партию уже из четырнадцати человек.

Этих людей сняла в 1924 году канонерская лодка «Красный Октябрь», тем самым Советское правительство положило конец хозяйничанью иностранцев на своем острове. Дерзкий поход был совершен под руководством гидрографа Давыдова. Сняв с острова Врангеля иностранцев, Давыдов навсегда водрузил над ним советский флаг. Возвращение корабля на материк оказалось чреватой новой катастрофой. Чтобы пробиться к запасам угля в бухте Провидения, экипаж сжег в топках все, что могло гореть, вплоть до пеньковых канатов.

Спустя два года на острове поселилась советская колония. Ее организатором и руководителем стал человек выдающихся личных качеств, несколько не уступавший в мужестве и отваге американцу Бартлету, — Георгий Алексеевич Ушаков. Он сам написал прекрасные книги, и о нем написано много. Потому замечу только, что Ушаков, пробывший здесь три года, и его преемник А. И. Минеев, проживший долгих пять лет, стали теми героями Арктики, чей пример вдохновлял наше поколение полярников, в том числе и меня.

Пролетаем над мысом Биллингса. В 1785 году по указу Екатерины II капитан-поручик Иосиф Биллингс возглавил экспедицию для описания берегов Чукотки. От устья Колымы он сумел пройти только двести километров — до Баранова камня. За восемь лет дорогостоящих, но, как видно, несмелых попыток, Биллингс так и не повидал северного берега. Он побывал в Анадыре, совершил немало поездок внутри материка, но

основной задачи не выполнил. За что же его именем назван мыс, где не ступала его нога?

Кроме гидрографического знака, на низменном мысу нет ничего. В этом месте горы отступили от берега, оставив обширную тундровую равнину. На ней разместилась причудливая цепочка яйцеобразных озер. Первое из них километров пятнадцати в длину, а последующие все меньше и меньше. Озера отделены друг от друга узенькими перешейками и кончаются каналом, соединяющим их с лагуной.

В пятнадцати километрах от мыса на запад, возле чукотского поселка Валькаркай осенью 1935 года построили маленькую полярную станцию, тоже носящую имя Биллингса. Ее задача сообщать морякам о ледовой обстановке вблизи пролива Де-Лонга.

В те времена каждая полярная станция становилась для местного населения проводником культуры, очагом борьбы с предрассудками и бытовыми болезнями. Поэтому ее поставили не случайно возле поселка аборигенов, а те выбрали себе место из-за близости к рыбной реке.

...Пересекаем устье реки Пыхтымель. Чукчи называют ее Лелерой, что в переводе означает «Дурная река». Такому названию она обязана дурным нравом множества переменчивых русел, особенно в весеннюю пору. В устной истории отряда это место памятно.

В пилотской кабине механик и радист; наши взоры обращены к панораме с левого борта. Мы сблизили головы, и Сургучев, указывая на детали местности, уточняет, где и что происходило.

В начале мая 1935 года Георгий Катьухов с бортмехаником Юрием Соколовым на лыжном самолете Р-5 совершал пионерский полет в район Чаунской губы. Майское солнце делало свое дело, терял зимнюю жесткость морской лед, на глазах таял снег в тундре. На фоне эмалевой голубизны весеннего неба на южном горизонте возвышались загадочные горы.

Они летели три часа. Глаза уже устали от белого сияния льда и снега, от солнечных зайчиков, которыми стреляли мириады лужиц и ручейков. Подавляло ощущение пустынности огромного пространства, через которое несли их крылья самолета. Но еще сильнее было чувство, которое влечет в неизведанное всех первопро-

ходцев, — это чувство удали, чувство, роднившее их с соотечественниками, в прошлые века прошедшими от Урала до берегов Тихого океана и сюда, до края студеного моря.

«Будь что будет, на всякую беду страха не хватит!» Так они летели, не предчувствуя беды...

Вдруг в ровно гудевшем моторе что-то хрустнуло, и он умолк. Неподвижно замер пропеллер, в пугающей тишине лишь шелестели расчалки крыла. Надо быть на их месте, чтобы ощутить силу внезапного удара, пережить испуг, останавливающий сердце. Справа в безбрежную даль уходили льды Восточно-Сибирского моря, слева к подножию гор поднималась бугристая тундра. Под ними разлившаяся река. Все это они видели минуту назад, но теперь картина представилась в новом качестве: **ЗДЕСЬ** они должны остаться!

Катюхов спланировал на морской лед. Это была ошибка! Если бы он знал, что оборвался коленчатый вал, то сидел бы на сушу. Пожалуй, ему хватило бы высоты перетянуть через реку. С той стороны, минут сорок назад они видели яранги чукчей (полярная станция к поселку у мыса Биллингса прибыла позднее).

Определив, что самолет обречен на жертву морю, экипаж направился к берегу. Это была вторая ошибка! В обе стороны, на пределе видимости, между ними и спасательной сушей тянулся заберег: вода и снежная каша. Мокрыми, утопив прихваченные с самолета банки НЗ, выбрались они на галечную косу. За пазухой меховых комбинезонов они смогли сохранить по пять коробков спичек и по шесть плиток шоколада.

До ближайших людей расстояние сто километров — они спасутся, если дойдут до них. Но как переправиться через реку? Затопивший берега бурный поток им не осилить! И они пошли вверх по реке в надежде найти более узкое место. Это была третья, еще более крупная ошибка.

Со свежими силами в тот день они ушли километров за пятнадцать. Переправляясь, на одном из островков застряли, как зайцы в половодье. На следующий день их искали самолеты Масленникова и Сургучева, но они летали вдоль берега моря. Почти месяц они терпели невыразимые муки от голода, а еще больше от холода. Неосмотрительно быстро расправились с шоколадом и потом жевали ремни, унты, пытались голыми руками

ловить рыбу и куропаток. Случай с самолетом Катюхова помог сформулировать закон для полярных летчиков: «Экипаж, ушедший от аварийного самолета, погибает!» И еще: нельзя в Арктике летать в комбинезонах и без снаряжения для добычи пропитания. На грани между жизнью и смертью в конце мая их случайно нашел геолог Дитмар, вышедший на рекогносцировку.

Только пролетели печально известное место, как нашим глазам открылись новые виды. Это были сопки с причудливыми изваяниями на них, так называемыми кекурами. Пролетая здесь первый раз в пасмурную погоду, я увидел на сопке людей. У меня аж сердце екнуло: откуда здесь столько людей и почему они лезут на сопки? Изменив курс, понял, что это был оптический обман. Потом мне рассказали геологи, что миллионы лет назад расплавленная магма прорвала осадочные породы базальтами и гранитами. Заполняя пустоты и уплотняя слабые места, они застыли. Шли века, земля корежилась, в муках рождая горы. Ветер времени снес с вершин осадочные породы, обнаружив стойкие граниты. У чукчей кекуры вызывают мистическое поклонение, а капитанам проходящих кораблей они служат ориентирами для пеленгации.

Мотор гудит ровно, и Митя застрял между мной и Сургучевым. Втроем, объясняясь больше жестами и мимикой, мы оцениваем возможность посадки нашего самолета в губе Нольде. Мелководное образование, носящее это имя, вклинилось в отроги гор километров на тридцать. Глубокие места окрашены в неправдоподобно голубой цвет, как бывает окрашено небо на рассвете в ясный день. Они разбросаны по акватории в хаотическом беспорядке. Отмели же цвета яичного желтка. Интересна особенность, какой нигде мы больше не встречали: резкая, будто проведенная тушью, граница между мелкими и глубокими местами. Сочетание голубого и солнечно-желтого цветов после темных расцветок гор и тундры дает отдых глазу. Картина красивая, но очевидна бесполезность этой красоты. Губа не укроет от льда и шторма пароход, среди ее отмелей заблудится даже рыбак на лодке. Разве только нерпа найдет здесь корм и теплую воду.

Пишу записку Морозову: «Д. Н., не знаете, в чью честь дано название этой морской луже?»

«М. Н.! К сожалению, имя Нольде, так же как и

Шелагского, мне ничего не говорит. Но обратите внимание: сейчас будем проходить мыс «Изба Шалаурова», а чуть дальше — островок того же имени. За ним трагедия, которая мне известна».

Промышленник из города Великий Устюг Никита Шалауров был одним из тех отважных патриотов, которым столь многим обязаны географическая наука и история Севера. В 1762 году на свой счет и по личной инициативе он пытался пройти из Колымы к Берингову проливу. У мыса Шелагского его коч остановили льды. Ожидая их разрежения, Шалауров первым обследовал и положил на карту Чаунскую губу. В том году ему пришлось вернуться обратно, а его команда, уstraшенная тяготами похода, разбежалась.

С новыми людьми в 1764 году Шалауров совершает вторую попытку. Ему удается пройти на этот раз почти до губы Нольде. Однако здесь удача покинула его: льды раздавили судно. Люди уцелели. Выйдя на безымянный мыс, новоявленные робинзоны соорудили из остатков корабля и парусов избушку, у них имелся запас продуктов, но не было топлива. Человечество не имеет свидетельств их мучительной гибели. Лишь лет двадцать спустя чукчи нашли в избушке человеческие кости, изглоданные песцами.

Позднее Врангель писал:

«Все обстоятельства заставляют полагать, что именно здесь встретил свою смерть смелый Шалауров, единственный мореплаватель, посещавший в означенный период времени сию часть Ледовитого моря. Кажется, не подлежит сомнению, что Шалауров, обогнув Шелагский мыс, потерпел кораблекрушение у пустынных берегов, где ужасная кончина прекратила жизнь, полную неутомимой деятельности и редкой предприимчивости».

Как и всякая битва, битва с природой полярных стран имела своих подвижников. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто «прорубал окно» на Дальний Восток нашей Родины. Заслуга Шалаурова не забыта историками.

В. Ю. Визе в своей книге «Моря советской Арктики» пишет: «Результатом плаваний Шалаурова в 1761—1762 годах явилась карта от устья Лены до Шелагского мыса, на которой, по выражению Врангеля, «берег изображен с геодезической верностью, делающей немалую честь сочинителю».

За губой Нольде, километров восемьдесят к западу, простирается мощный отрог станового хребта Чукотки. Он нависает над берегом темно-бурой стеной. Его высота превышает тысячу метров. Угрюмо смотрят пасти ущелий. Распадки завалены каменными глыбами. Узкая полоска побережья атакована мощными торосами, а прилегающий участок моря завален материковым «мусором», который исправно сносит сюда ветер. Что и говорить — зрелище устрашающее.

У губы Нольде Митя прокричал мне в ухо:

— Оказывается, Чукотка может быть и красивой. Ей не хватает лишь солнечного света, потому она кажется мрачной.

Теперь, как бы отвечая на его восторги и показывая на открывшийся нам вид, я спросил:

— Ну как?

Митя передернул плечами, скривил рот:

— Черт те что! Лучше сидеть в тюрьме, чем зимовать на этом берегу!

Мое внимание привлекло обстоятельство, значение которого я не сразу взял в толк. На всем участке от губы Нольде до Шелагского — а это без малого сто километров — мой взгляд не отыскал во льду ни одной трещины: он переторошен и припаян к берегу сплошным монолитом. Лишь километрах в десяти мористее проглядывались черные жилки разводий.

Случайность это или закономерность? Пишу записку Морозову: «Д. Н.! Как вы думаете, почему здесь нет разводий?»

«М. Н.! Полагаю, горы защищают от южного ветра!»

— Правильно! — штурман подтверждает мою догадку.

Кажется, я начинаю постигать тайну перемычек береговой полыньи. Видно, не случайно ледяные пробки прерывают полынью чаще всего в трех местах: у Баранова камня, здесь и у мыса Сердце-Камень. В этих пунктах горы подходят вплотную к прибрежной полосе льда и защищают ее от южных ветров. Вот почему так постоянны жалобы в старинных «сказках» и «отписках» на неодолимые льды за Чаунской губой. Об этом доносили Игнатьев, Стадухин, Шалауров и другие морепроходцы XVII и XVIII веков.

Начиная с похода Ермака в конце XVI столетия, соревнуясь друг с другом, из поколения в поколе-

ние шли смельчаки на восток для «отыскания новых земель» государству Российскому. Один из таких землепроходцев, холмогорский промышленник Федот Алексеев, на собственные средства в 1647 году предпринял плавание из устья Колымы с целью добычи «морского зуба» (моржовых клыков, имевших тогда большую ценность) и отыскания морского пути на Анадырь. Как писал историк Г. Миллер, живший в прошлом веке: «Для исправления того, что в пользу казенного интереса наблюдать должно», то есть для сбора ясака (дани с покоренного населения), Алексеев попросил прикомандировать к своей экспедиции представителя власти. Им был назначен казачий десятник Семен Дежнев, выходец из Великого Устюга.

Поход 1647 года окончился неудачей, и в 1648 году Алексеев повторяет его с еще большим количеством участников. На шести кочах плыли 90 человек. 30 июля покинув Колыму, в сентябре три коча из шести достигли Чукотского носа (ныне мыс Дежнева). В Беринговом проливе погиб еще один коч, но его команда спаслась на оставшихся двух. Вскоре шторм разделил кочи, причем тот, на котором был начальник экспедиции Алексеев, пропал без вести.

Походом Федота Алексеева была разрешена важнейшая географическая загадка XVII века. Получено доказательство, что Азия и Америка разные материки. Это открытие стоило жизни семидесяти участникам похода.

Но славой первооткрывателя увековечен не организатор экспедиции, а тот, кто остался жив, прошел дальше и смог донести до людей эту важную весть. Им оказался Семен Дежнев. Его имя носит восточная оконечность Азии, выходящая в Берингов пролив.

О достоверности рассказанного со ссылкой на Г. Миллера свидетельствует книга крупнейшего исследователя советской Арктики В. Ю. Визе «Моря советской Арктики». Повторить поход Алексеева — Дежнева пытались многие, но удалось это лишь норвежцу Норденшельду через 230 лет.

За мысом Шелагского взору открылась ширь самого большого залива Восточно-Сибирского моря — Чаунской губы. Она отвоевала у материка сто сорок километров в глубину и почти сто в ширину. Со стороны моря устье губы прикрывает большой остров Айон. Сегодня льда в губе нет. Кажется, что она заполнена не во-

дой, а серебристой мерцающей ртутью. Так выпукла и недвижима ее поверхность.

Меняем курс полета, поворачиваем на юг и летим по высланной солнцем дорожке... Горы становятся ниже и отходят в глубь материка. Линия берега прогибается к востоку, замыкая обширную долину реки Апапельхино. Различаю около устья галечную косу. Подворачиваем, снижаемся до трехсот метров. Для тренировки прошу Сургучева определить посадочность.

— Паршивая галька с песком, но оврагов нет, подходы хорошие, при нужде садиться можно.

За рекой берег вновь выгибается к центру губы и образует полуостров, большую часть которого занимает двугорбая сопка. Ростом она не более семисот метров, но подобно тому, как Новая Земля знаменита своей борой, Певекская сопка на всю Арктику славится южаком. Вот как я познакомился с ним. Это было в августе 1936 года.

После двух показательных и пяти самостоятельных полетов, сделанных над лагуной возле базы, инструктор Николай Быков признал меня морским летчиком, и на другой день по заданию Конкина я вылетел в Певек, имея на борту двух пассажиров. Экипаж, кроме меня, состоял из механиков Румянцева, Островенко и бортрадиста Малова.

В район Чаунской губы я летел впервые. Понятен интерес, с каким я всматривался в сопку, у подножия которой предстояло сделать посадку. При ясном небе над сопкой держалось единичное облачко. Оно было похожим на нимб, каким окружают святых на иконах.

Опытный морской летчик, вероятно, усмотрел бы предостерегающие признаки там, где, мне казалось, царило безмятежное успокоение. Все последующее оказалось внезапным, как удар из темноты.

Вначале я ощутил мощный бросок вверх с разворотом влево. Самолет вздыбился и закачался с крыла на крыло. В следующую секунду неведомая сила резко бросила его вниз. Мои ноги потеряли педали, а сам я оторвался от сиденья, и, если бы не удержался за штурвал, быть бы мне за бортом. Машина проваливалась вниз с невероятной скоростью, вдруг левое крыло словно встретило препятствие, и самолет перевернулся на спину.

Практически я висел вниз головой и вместо голубого неба видел хвойного оттенка воду. Какие-то мгновения

самолет продолжал падать в таком неестественном положении, сила ускорения прижимала меня к левому борту.

Все мое существо парализовал ужас. Я еще не успел понять, что произошло, не сделал, да и не смог бы сделать ни одного осознанного движения. Штурвал, как боксер тяжелого веса, преобильно бил меня в грудь, затем отскакивал к приборной доске. Его «баранка» рывками перекатывалась из стороны в сторону. Эти непроизвольные движения штурвала то выдергивали мои руки из плечевых суставов, то беспомощно прижимали к бокам. Позднее я понял, что означают слова «мертвая хватка». Именно так мои руки, повинувшись инстинкту, держали штурвал. И это спасло меня.

К счастью, в состоянии «вниз головой» самолет находился какие-то секунды. Без моего участия машину вновь перевернуло и несколько раз с силой встряхнуло, как половичок, из которого выбивают пыль резкими взмахами. Хотя от бросков потемнело в глазах, а в ушах стоял звон, ко мне возвратилась способность соображать. Первым делом я убрал газ, нажал на правую педаль, отворачивая самолет от горы.

С новым ударом вихря машина вошла в глубокий крен и, дрожа, «посыпалась» боком. Я ощутил материальность воздуха. Он бил меня в правую скулу и прижимал к левому борту. Мимо лица в вихре пыли и мусора, высосанного из кабины током воздуха, пролетели перчатки-краги, планшет с картой и еще какие-то предметы. И... вдруг не сознанием, а инстинктом я ощутил, что все кончилось. Правда, самолет продолжал падать, но делал это только потому, что был в положении, при котором ему не оставалось ничего другого. Мои руки автоматически сделали то, что нужно для нормализации полета. Самолет уходил от горы, а я еще не верил, что крылья не отвалились, что они несут меня к центру залива. Осторожно прибавил газ и бросил взгляд на высотомер — двести метров! За несколько секунд мы потеряли четыреста метров высоты.

Теперь можно осмотреться. Меловое лицо Мити Островенко подтвердило мне, что кошмар был наяву.

С того дня я подходил к Певеку с уважением, издали мобилизуясь для встречи с южаком. Но сегодня он в «отгуле». «Нимба» нет, воздух не шелохнется, вода спокойна, как ртуть в стакане.

Перед посадкой оглядываю окрестности — тундра, озера. Тут привольно гусям, уткам и другим пернатым, прилетающим сюда из теплых стран, а для человека в летнее время тундра непроходима и бесполезна. Земля оттаивает на сантиметры. Она рождает только олений мох, и то не везде. Обитатели здешних мест выживают в изнурительной борьбе за пищу, одежду и кров над головой.

По просьбе геологов-пассажиров, пожелавших осмотреть интересующий их район, мы проходим вдоль восточного берега губы до конца. Открывшееся зрелище оказалось интересным не только для геологов, но и для нас. Радист, окончив сеанс связи, протиснулся в кабину штурмана, и теперь оттуда торчат две головы. Между мной и Володей притихший Митя. Слева по курсу перед нами — панорама неразведанных гор. Мы первые видим с высоты по-летнему обнаженные подступы к ним. Здесь горы менее скученны, менее угрюмы, чем у Шелагского или мыса Северного. На обширной равнине близ губы они стоят одиночками или группами, как часовые на подступах к хребту. Реки, текущие с него, обрамляют просторные долины, в которых есть где развернуться самолету и, очевидно, имеются посадочные площадки. Захотелось побывать там, где еще никто не ступал, повидать то, что еще никто не видел. Ради этого можно рискнуть многим.

Говоря о геологах Чукотки, нельзя вновь не упомянуть самого одержимого из них — Сергея Владимировича Обручева, который в 1932—1933 годах обследовал и нанес на карту значительную часть Чукотки, прилегающую к Анадырю.

Отважное предприятие выполнялось при помощи самолетов. Обручев оказался первым, кто бесстрашно и с успехом применил это новое средство исследования. Осенью 1934 года, не имея возможности получить самолет, Сергей Владимирович высадился на Певекской косе с двумя аэросанями. Как и вездеходы, с какими был Зяблов, аэросани были первенцами отечественного машиностроения и хорошо послужили в других нелегких экспедициях. У них оказалось немало слабых мест, но умелые руки энтузиастов механиков Курицына и Денисова сотворили чудо — аэросани оправдали самые радужные надежды Обручева. Итогом этой экспедиции

явилась первая достоверная карта района, прилегающего к Чаунской губе. Считаю своим долгом подчеркнуть наиболее важное: исследования Обручева позволили установить оловоносность района.

Книга Обручева об этой замечательной экспедиции «По горам и тундрам Чукотки» давно стала библиографической редкостью. Она достойна переиздания и потому, что в ней содержится большое количество исторически важных сведений, которых нигде не найдешь, и потому, что сама работа и люди, описанные в ней, воспитывают уважение к истории края, к пионерам его освоения и являют собой пример патриотической преданности призванию и долгу.

Имя Обручева должно остаться на картах, созданию которых ученый отдал жизнь, в названиях предприятий, возникновению которых помог и его труд, и, наконец, в монографии о его жизни.

Готовясь к этому полету, я рассказал экипажу, что знал об истории Певека, о своих полетах к нему, в том числе об одном из основателей поселка. Сейчас мне представляется уместным предложить этот рассказ вам, дорогой читатель.

Почти на две тысячи километров вытянулось северное побережье Чукотки. На этом пути Чаунская губа — единственное прибежище для кораблей. Однако природа, создавая его, не завершила своей работы. Большая часть водного зеркала, или, как говорят моряки — акватории, оказалась недоступной для морских судов из-за малой глубины. Этот факт сыграл знаменательную роль в «направлении» деятельности человека. С одной стороны, ограничил ее, с другой — как бы с умыслом нацелил к полуострову с сопкой.

В устье реки Чаун Комитет Севера в 1933 году заложил культу базу для оленеводов-кочевников. Образно говоря, этот форпост цивилизации можно уподобить эскалатору, поднимающему коренное население из эпохи дикости сразу в XX век. Здесь были школа-интернат, больница с родильным отделением, торговая фактория. Здесь кочевники впервые увидели такие чудеса, как электрический свет, «говорящие картинки» — кино, «говорящую бумагу» — книги, узнали назначение белья, мыла, бани и многого другого. Люди, бытовым укладом принадлежащие к родовому строю, стали приобщаться к эпохе Великой революции. В их обиход вошли

слова «колхоз», «коммунист», «пятилетка», и все это новое объединяло понятие — Советская власть!

Культбаза с ее учреждениями, казалось, должна была стать естественным центром района. Торговым и культурным центром его она действительно стала, но до значения административного не выросла по единственной причине — из-за бездорожья, оторванности от внешнего мира. По извилистому фарватеру Чаунской губы не только корабли, даже катера могли пройти лишь с опытным лоцманом.

Административный район обосновался на безлюдной галечной косе под сенью Певекской сопки. Это место оказалось единственным, где морские корабли могли подойти вплотную к берегу губы, а позднее выяснилось и другое очень важное его преимущество: геологи нашли в сопке оловянный камень — касситерит. В результате новых поисков в прилегающем районе вскоре были обнаружены другие выходы богатых оловянных руд. Певек обещал стать центром горнодобывающей промышленности Чукотки.

Выбор места для районного центра оказался удачным. В значительной мере «повинен» в этом был человек, заложивший первый камень в фундамент будущего поселка. Разумеется, он вовсе не рассчитывал стать знаменитым. Вот как я познакомился с ним.

В марте 1936 года Конкин поручил мне слетать из Анадыря по служебным делам на северную базу, наказав вернуться в тот же день.

Перед самым вылетом, когда уже работал мотор, а я сидел в кабине, Конкин привел к самолету неизвестного мне человека:

— Подбросишь до базы!

Рассмотреть своего пассажира я смог только после посадки.

Невысокий, тщедушного сложения человек лет сорока был упакован в оленьи меха, как настоящий чукча. Но это был русский.

«Счетный работник какой-нибудь фактории», — подумал я.

Торопясь выполнить поручение командира, я в ответ на слова: «Спасибо, что подвезли!» — пожал ему руку и только, чтобы не прослыть молчуном, спросил:

— Давно в этих краях?

— С тридцать третьего.

— Ого! — старожилы интересовали меня. — Где и кем работаете?

— Секретарь Чаунского районного комитета партии.

— Невероятно! Так вы и есть Пугачев!

— Что же тут невероятного? Пугачев Наум Филиппович.

— Как будете добираться в Певек?

— На собаках.

— Счастливого вам пути, Наум Филиппович. Большого сделать не могу, через час вылетаю обратно.

— Спасибо и на этом — вы сэкономили мне две недели жизни.

Пугачев держался скромно, ничем не подчеркивая своего положения. Может, поэтому первое знакомство не оставило большого впечатления. Лишь позднее я смог должным образом оценить природные способности и личное обаяние Пугачева — партийного руководителя самого трудного в ту пору района.

По призыву партии он в 1933 году добровольно поехал на «край света». Не так много мест на земле, которые могли бы тогда соперничать с Чаунской губой в борьбе за это звание. Пугачев приехал не один — со стариком отцом, женой и тремя малышами.

На косе под горой стояли два домика, выстроенные из плавника моряками зимовавших в предыдущем году судов Колымской экспедиции. В них размещался факторийщик со своим товаром.

— Жить можно! — сказал Пугачев. — Есть товар — будут и люди!

С помощью отца Пугачев соорудил землянку: каркас из плавника, обложенный «тундрой».

Одновременно на косе выгрузилась первая партия работников культбазы. Она привезла с собой четыре домика, сконструированные по типу чукотской яранги — такие же круглые по форме и такие же небольшие. Об этом следует сказать особо.

Наблюдая жизнь северных народов, инженер убедился в практичности их жилищ. Они способны противостоять сильному ветру и сохранять тепло. К тому же требуют минимума строительного материала. Для домиков не нужны были тяжелые бревна, их собирали из «вагонки» — легких тесинок с воздушной и бу-
мажной прокладками, изолирующими от продувания.

Теперь мы имеем возможность привозить на Север

бревенчатые дома и даже строить каменные. Но в те годы, когда через льды пробивались одиночные пароходы, перегруженные до клотика, всякая инициатива, направленная на экономию материалов и места в трюме, была неопределима. Как тут не сказать спасибо инженеру Свиньину, сделавшему деревянную ярангу, и инженеру Романову, создавшему фанерный домик, за их помощь в освоении Заполярья!

Мне неоднократно приходилось слышать устные и письменные проклятья, которые сыпали на головы Свиньина и Романова неблагодарные невежды. За холод нельзя винить дырявую одежду, достоин осуждения ее ленивый хозяин. Там, где домики строились и эксплуатировались грамотно, они великолепно сохраняли тепло и служили людям по двадцать лет вместо расчитанных пяти.

Среди приехавших на Певекскую косу не было специалистов-строителей. Домики собирали по чертежам как могли. И уже на этом начальном пути самым фактом собственного энергичного приспособления к непривычным условиям Пугачев поднимал дух приунывшей части основателей Певека. Он не просил помощи в строительстве землянки для своих детей, а, наоборот, подбадривал здоровых одиноких мужчин, не знавших, с какой стороны взяться за топор.

Землянка Пугачева на протяжении года была временно жильем и помещением райкома партии. Но райкомом она становилась лишь тогда, когда в ней удавалось застать самого секретаря.

Пугачев знал, что кочевники к нему не придут, так как они и понятия не имели о его, Пугачева, существовании. Он сознавал также, что райком — это не здание, а работа с людьми. Там, где они живут и трудятся, и должен быть райком. Поэтому, кое-как устроив семью, Пугачев уехал в горы. Так и жил, разъезжая от одного стойбища к другому. Неделями, а порой месяцами он не появлялся в Певеке. Пугачев не произносил речей, не проводил заседаний, не командовал. Он узнавал то, чего не знал: жизнь чукчей, их быт и обычаи. Доверие завоевывал самой обыкновенной человеческой простотой труженика, понимающего других тружеников.

Меньше чем за год Пугачев научился говорить по-чукотски и умело управлять собачьей упряжкой, которая была единственным инвентарным «имуществом» райко-

ма. Он объехал весь район и теперь, закрыв глаза, мог нарисовать схему гор и рек, сказать, где какое стадо и кто ему хозяин, насколько вреден шаман в том или ином стойбище. Не очень крепкий на вид, Пугачев проявлял в этих поездках железную выносливость, неприхотливость к пище чукчей, терпимость к их обычаям.

Спустя три месяца мне довелось вторично встретиться с Пугачевым. На парусной байдарке он приплыл из Анадыря в залив Креста. По случайному совпадению я находился там же, на базе геологов. Пугачев обрадовался, что застал меня, и передал записку секретаря окружного комитета партии, адресованную начальнику геологической экспедиции товарищу Зяблову:

«Уважаемый Михаил Федорович! Убедительно прошу помочь товарищу Пугачеву вашим транспортом переехать на северный берег. Волковой».

Зяблов находился в горах, и я принял решение сам.

Когда мы прилетели на базу, Конкин спросил:

— Не устал? Может, отвезешь Пугачева в Певек?

— С удовольствием! А там есть, где садиться?

— Прошлой осенью Николай Быков садился на Р-5. Только не задерживайся — сегодня же обратно!

Погода была пасмурной, но я усмотрел и обследовал косу у реки Апапельгино и благополучно произвел посадку. Площадка оказалась перспективной. Река и море долго трудились, год за годом намывая вдоль берега песок и гальку. Образовалась сравнительно ровная коса до километра в ширину и более двух в длину. На ней, правда, имелись заболоченные места, бугры и канавы, но их нетрудно было засыпать и выровнять. Во всяком случае, то была лучшая площадка из тех, на которых мне приходилось сажать самолет на Чукотке. Я сказал Пугачеву:

— Природа позаботилась о поселке. Если найдете здесь золото, то можно будет вывозить его самолетами. Площадка подходящая.

— Товарищ Ленин завещал нам строить из золота отхожие места, — с шутиливой интонацией ответил Пугачев и, махнув рукой, закончил: — Черт бы его забрал, это золото, но, к сожалению, без него не обойдешься — пусть находят, кому положено искать. А что есть такая площадка, замечательно! Верю, пригодится. Да и сейчас не уверен, что вы сядете у поселка.

— Если не сяду — придется вам топтать отсюда...

— Меня это не пугает, не рискуйте, пожалуйста.

Но все же мне удалось приземлиться в Певеке. Не знаю, как уж тут садился Быков на Р-5, если даже моему У-2 было тесно. Приземлился на полосу, которая, по существу, была улицей поселка. Правое крыло самолета проходило не более как в десяти метрах от строевых.

Мы распрощались с Пугачевым без лишних слов. Он вылез, а я, не выключая мотора, вылетел в обратный путь.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ

Миновал год. И вот я опять в Певеке. Поселок заметно увеличился. Прошлогодняя моя «посадочная площадка» застроена. Похоже, на косе скоро не останется и клочка, свободного от человеческих жилищ, складов, мастерских, разнообразного имущества, сложенного по всему берегу.

Шмелиное жужжание самолета вызвало на улицу всех обитателей Певека от мала до велика. Берег, словно амфитеатр цирка, заполнен зрителями. Катера, кунгасы, куча угля, — словом, все, на что можно взобраться, служит ложами для наиболее предприимчивых.

Чувствуя себя в центре внимания, произвожу посадку. Машина изящно прикасается к воде, бежит на реде, теряет скорость и приближается к берегу. Рассчитываю инерцию движения — выключаю мотор. Лодка мягко прислоняется к галечному откосу, и вот уже Дима Морозов передает якорь в чьи-то протянутые руки. Приятно, когда тебя ждут, когда твой труд нужен.

Шумная встреча, радостные улыбки. Ни одного хмурого лица. Появление самолета для всех праздник, позволяющий прервать монотонное течение будничных дел. Почти такой же праздник, как встреча солнца после полярной ночи.

Официально нас встречают начальник геологической экспедиции Николай Ильич Сафронов и его старший геолог Марк Рохлин. Ведь это к ним прибыли мои пассажиры. В сторонке скромно держится жена Сафронова, милейшая Анна Васильевна. А вот и заведующий факторией Николай Николаевич Нестеров. Совсем еще молодой человек, однако все величают его по имени-отчеству, очевидно, из уважения к должности.

Его юная супруга, Фенечка, стесняясь, держит в руках завернутого в одеяльце первенца. С этой парой я познакомился на пароходе, когда она добиралась сюда. Поздравляю с прибавлением семейства. Маленькая Лида Нестерова, первый уроженец Певека. Вижу землеустроителей. Они держатся позади геологов, не считая себя вправе наравне с ними претендовать на наше внимание — у них нет никаких дел с авиацией. Все приветливы, наперебой зазывают на «чайпауркен». Это слово обозначает приглашение на чаепитие, за которым подразумевается более существенное угощение. Для формы спрашиваю экипаж:

— Ну как, хлопцы, может, передохнем?

— Дело на безделье не меняю! — отвечает Митя.

— Такую погоду упустить — великий грех, — замечает Сургучев.

Огорченные хозяева переключают свое внимание на доставленных нами пассажиров. Теперь им не выдержат натиска радушия, придется побывать в каждом домике. Это закон Севера, никто не сможет покинуть зимовку, пока из него не выпотрошат всех новостей, вплоть до биографических подробностей.

Нам пачками вручаются давно написанные письма на материк. Мы доставим их в Анадырь, и они дойдут до адресатов месяца на три скорее. Нам в радость оказать такую услугу, и меня смущают просительные интонации и занскивающие улыбки зимовщиков, как будто они хотят невозможного.

Мотор в 600 лошадиных сил, такой же, как и на двухместном Р-5, но пассажирская кабина МБР-2 позволяла поднять 6—8 человек. Это значило много. К тому времени мировая авиационная техника располагала гидросамолетами более высокого класса. Цельнометаллический «дорнье-валь» построен для работы в море. Он не боялся волны, а на своем плоском днище мог взлетать со льда и снежной каши на воде. Несколько импортных «дорнье-валей» имела и полярная авиация, но они использовались для ледовой разведки в Карском море. Наша страна еще не имела в достатке «крылатого металла» — алюминия, да и самолетостроение только догоняло развитые страны.

Летом на Чукотке кругом вода. А сухопутные площадки наперечет, и те лишь для легких У-2. Самолеты Р-5 оставались на приколе до снежного покрова и за-

мерзания лагун. Потому в наших условиях летающая лодка была, что называется, дороже золота. Независимость от суши и значительный радиус действия позволяли предпринять такой полет, какой мы выполняли в тот день, уходя от базы на тысячу километров.

Построенный из фанеры МБР-2 был довольно нежным созданием конструкторской мысли. Удар приличной волны для него опасен, а встреча с плавающим предметом вроде деревяшки или льдинки могла распороть днище и кончиться катастрофой. Правда, самолет и рассчитывался на взлеты и посадки лишь на реках и небольших тихих озерах. Для необъятных просторов Сибири и Севера, где сухопутных площадок мало, машина, взлетающая с воды, намного снижала остроту проблемы бездорожья и трудностей живой связи.

Но у этой машины имелась одна ахиллесова пята — не всегда надежно запускался мотор. Слишком часто он игнорировал слабенькие усилия бортового компрессора. А на воде это уже опасно. Сейчас, когда мы были на виду восторженных зрителей отлета, больше всего я опасался конфуза с запуском мотора. Но в этот день нам везло. И компрессор и мотор запустились с первой попытки.

Облегченная машина выписывает параболу взлета и разворачивается с набором высоты. Толпа на берегу не расходится, провожая нас, по себе знаю, грустными глазами. Им, прикованным к одному месту, мы представляемся счастливицами.

Прошу Володю набрать две тысячи метров, чтобы мы могли осмотреть юго-западные берега Чаунской губы. Видимость в сторону материка заметно хуже, чем в море. Сопки и горы, обрамляющие горизонт, задернуты дымкой. Там, на юге, простирается страна оленных чукчей. Через эти горы лежит самый короткий путь на Анадырь. Год назад перелеты через хребет на залив Креста представлялись нам великим достижением, а теперь я уверен, что проложу трассу и в этом направлении.

Какая это вдохновляющая сила в сознании человека, когда он знает: «Это я могу!»

Приглядываюсь к местности, ищу опорные ориентиры для будущего полета. Слева и справа горы высотой до двух тысяч метров. Между ними широкая седловина. Если пойти через нее, попадешь в долину притоков Анадыря.

Четыре года назад эту водораздельную седловину увидел с самолета Куканова Обручев. Два года спустя он прошел по ней на аэросанях. Ступил ногой на берег упрятого в ней священного для чукчей озера Эльгытхин. Счастливая судьба у этого человека. Он посетил места, которые не одно столетие были мечтой и целью многих исследователей и отважных путешественников, ответил на многие географические загадки. Все это давалось величайшим напряжением сил и оплачено лишениями.

От Певека до Усть-Белой пятьсот километров. На этой прямой ни одного пункта с оседлым населением. А какова вероятность встретить кочевников, если на огромной площади района их числится тысяча семьсот пятьдесят душ?

Как ни храбрись, приятно, если перед тобой маячит надежда встретить хотя бы через сто километров человеческое жилье. Больше пеший человек в тундре ни зимой, ни летом не осилит.

Увы, мы еще не можем положиться на полную безотказность нашей техники, об этом приходится помнить в каждом полете.

Митя доложил, что материальная часть в порядке, и уселся между пилотами.

Пишу записку Морозову: «Д. Н.! Пойдем между горами и берегом визуально, с целью знакомства с местностью. Пусть ваше штурманское сердце не волнуется, что курс будет меняться. Исправляйте карту, как делали всю дорогу. Береговую черту осмотрим на обратном пути. М. К.».

Дима оглянулся и согласно кивнул головой. От массива Наглойны, что в юго-западном углу губы, иду, как задумал. Каждые полчаса меняемся с Володей за штурвалом.

С высоты двух тысяч метров слева по курсу открывается запутанный узел горных кряжей. От побережья Ледовитого океана они простираются на тысячу километров до Охотского моря. Вряд ли в нашей стране осталась местность, изученная меньше, чем эта. Лишь небольшой кусочек ее видели глаза Куканова и Обручева. Остальная часть и по сю пору — белое пятно на карте. Впрочем, чтобы было совсем точно, замечу, что в нашем распоряжении находилась карта полуторамиллионная. Она составлялась в прошлом столетии «по рас-

сказам охотников». Сноска уверяет, что карта подвергалась исправлениям в 1909 и 1932 годах. Мы давно убедились, что эта карта является «филькиной грамотой» и для воздушной ориентировки непригодна. Потому-то Дима Морозов с усердием первооткрывателя наносит на нее все видимые нам подробности.

На гигантском массиве, который разворачивается под крылом, берут начало реки, текущие на все четыре стороны света: Анадырь — на восток, в Берингово море; Пенжина — на юг, в Охотское море; Омолон, Большой и Малый Анюй скатываются на запад, в Колыму. А сколько мелких речек держат путь на север, в губу и прямо в океан!

Припоминаю, кто же пролетел здесь до нас? Все летчики, прибывшие на Чукотку, добирались южными, более доступными маршрутами. Еще ни один самолет не прилетал сюда с запада по берегу океана. Вот на запад, было дело, уходили.

Первым летчиком, который в 1929 году видел с воздуха все северное побережье, оказался Отто Артурович Кальвица. Он летал на трехместном поплавковом В-3.

В 1932 и 1933 годах на металлической лодке «дорнье-валь» прошел здесь Сигизмунд Леваневский.

В 1936 году на таком же самолете пролетели с экспедицией Бергавинова Василий Молоков и вновь (на этот раз на поплавковом «вульти») возвращавшийся из Америки Леваневский.

В апреле 1937 года впервые в условиях зимы прошел на лыжном Г-1 Фабио Брунович Фарих.

Вот и вся история. Она не оставила нам никаких следов, никакой опоры; этот маршрут мы открываем для себя заново. Зато все, что узнаем мы, станет опытом нашего отряда. Для этого, собственно, мы и живем на суровом побережье Чукотки.

Горы подводят нас ближе к морю. Справа тонкий шнур горизонта отсекает от голубого неба белое покрывало океанской глыбы. Чернота разводий просматривается только вблизи, а дальше все опять сливается в необитаемую белизну. Впрочем, я оговорился; трудно привыкнуть к мысли, что сейчас у полюса дрейфует группа Папанина.

Час полета — и мы пересекаем небольшую реку. Как красивы ее извивы на однообразном фоне тундры и гор! По реке выходим на побережье.

Ага, здесь, оказывается, есть люди! Домик, несколько яранг. Около устья река, сливаясь с лагуной, образует, на мой взгляд, вполне посадочный плес. По всей вероятности, пригодны для посадки и песчаные косы. А поскольку каждая посадочная площадка для нас буквально находка, беру на заметку и эти.

Постепенно снижаясь, горы выставили свои отроги к самому берегу. В распадах пугливыми стайками жмутся друг к другу низкорослые лиственницы. Первые деревца! Как они обрадовали нас! Захотелось подлететь поближе, обласкать хотя бы взглядом.

Летим еще минут двадцать. Наш штурман оборачивается и, тыча пальцем в планшет с картой, а потом вниз, сигнализирует о том, что цель достигнута: под нами бухта Амбарчик. Только какая же это бухта? Самый настоящий открытый рейд в пологой вмятине берега. Здесь кораблю негде укрыться ни от шторма, ни от напора льдов. Однако наяву все признаки морского порта: дома, склады, горы угля, катера, кунгасы.

Миша Малов докладывает о том, что «вылез» на связь радист порта. Нас видят, спрашивают, кто такие, куда летим.

— Сообщи, что сядем у них, как только осмотрим район. Попроси приготовить три бочки бензина.

Не снижаясь, иду дальше, и вдруг, как у солдата при виде знамени, за которое сражался, у меня сильнее забилось сердце.

Я видел Анадырь — красивый и могучий поток. Позднее видел устья всех великих рек Сибири. Но все же Колыма заняла в моей памяти особое место. Быть может, потому, что я был подготовлен воспринять ее по-особому — сквозь дымки старинных сказаний и современных легенд о теле «золотого человека».

В памяти всплыли скупые газетные строчки первых сообщений о возникновении Магадана. Строилась крепость, откуда, собравшись с силой, двинется рать в горную страну, где развернется сражение за золото. Конечно, будут лишения: голод, холод, разные опасности. Но как же без этого показать свою силу, стойкость, отвагу...

Прошли годы. Вырос мой жизненный опыт, все стало выглядеть проще и реальнее. С возмужанием заметно переместились акценты, и героизм стал видаться в другом — в выполнении долга перед Родиной. Уже под

этим углом зрения я узнавал историю Северо-Восточного похода 1932 года.

Дальстрой совершил свой первый подвиг, пробив автодорогу к верховьям Колымы. Но дальше требовались иные средства передвижения. Ко всему прииски нуждались в громоздких машинах, поднять которые автомобили были бессильны.

Да и многие тысячи тонн дефицитных грузов — от гвоздей до палаток — невозможно было забросить без серьезной помощи моряков.

Дальневосточный флот, оснащенный старыми пароходами, оставшимися еще с царского времени, буквально обескровил себя, выделив наиболее надежные суда, дав самых опытных капитанов и лучших моряков.

24 июня 1932 года из владивостокской бухты Золотой Рог вышел караван, в составе которого было восемь кораблей. В их трюмах было: тринадцать тысяч тонн грузов и тысяча рабочих, а на буксирах шли шесть речных судов, одна шхуна и четыре баржи. То были первые крупнотоннажные баржи, так необходимые Колыме. Даже несведущему в морском деле легко представить, как неповоротлив, как связан был в маневре такой караван. Даже в открытом, но неласковом море Беринга, а во льдах?

Здесь природа Арктики обстреляла его из всех калибров. Ветры дули только в сторону берега, прижимая к нему лед: солнце закрывали тяжелые тучи, береговая полынья блокировалась во множестве мест, и вдобавок ко всему туманы лишали капитанов обзора.

Такой ледовой обстановки в Чукотском море старожилы не помнили. Чистая вода кончилась уже на подходе к Берингову проливу. Не раз караван останавливался в таком грозном окружении льдов, что даже у бывалых моряков сжималось сердце: уж они-то знали, что значит зимовать в дрейфующих льдах.

В подобной обстановке наряду с героями появляются трусы и просто нытики. Взроптали иные из капитанов, утратил надежду кое-кто из моряков, совсем приуныли пассажиры, среди которых были женщины и дети.

Риск оставался ежедневным и постоянным, как метеорологические осадки, осыпавшие караван то снежной крупой, то ледяным дождем в тумане. Сорок дней шла неравная борьба со льдом. Корабли получали пробоины

и теряли винты. У капитанов прибавлялись седины и морщины. Но караван шел вперед и достиг заветной бухты Амбарчик.

Здесь нет возможности назвать всех героев этого труднейшего похода. Позволю себе перечислить имена тех, в ком наиболее ярко воплотилась и высшая моряцкая доблесть, и высокая партийность в служении родной стране. Начальником этой беспримерной экспедиции был известный в те времена исследователь Арктики Николай Иванович Евгений.

Фактическим организатором похода явился самый молодой и по-молодому бесстрашный капитан Александр Павлович Бочек. Ему помогал старейший арктический капитан Николай Михайлович Николаев. До тех пор, пока слово «отвага» будет иметь значение, эти имена неотделимы от него.

У мыса Северного для каравана сложилась критическая обстановка. Стояли последние дни августа, навигация кончалась, а кораблям предстояло еще идти и идти. А как идти, если льды день ото дня все тяжелее. Ни одного корабля не осталось без течи. На винтах у некоторых судов были обломаны лопасти. На этот раз капитаны почти единодушно потребовали возвращения. Не терял веры только один человек — Бочек. Он упрямил совет капитанов подождать с окончательным решением до проведения воздушной разведки.

В караване имелся поплавковый двухместный самолет Р-5, но воспользоваться его услугами не представлялось возможным — во льдах еще ни разу не встречались прогалины. И вдруг порядочная полынья. Правда, она была «засеяна» крупными и мелкими обломками, и в случае встречи поплавок с одной-единственной льдиной самолет мог потерпеть аварию, но летчик Александр Федорович Бердник понимал, что от его разведки зависит судьба экспедиции особого назначения. Чуть ли не две тысячи человек с надеждой смотрели на него. И он поднял в воздух свой самолет, подготовленный бортмехаником Н. П. Камирным, с капитаном Бочеком на борту.

Они летали четыре часа и нашли-таки дорогу каравану. Правда, чтоб выйти на нее, потребовалось взрывать лед динамитом, пробивать его своими бортами, авралить тысяче человек, но цель оправдала все усилия — караван пробился.

Не следует забывать, что это было в 1932 году, когда Арктика казалась непобедимой. Наши моряки не обладали большим опытом плавания во льдах, что касается опыта летчиков, то он вообще был ничтожным. На всем побережье в ту пору имелась лишь одна радиостанция — в Уэлене. Полярная авиация еще не освободилась от пеленок, а самолеты ценились на вес золота.

Сделанное этими людьми принадлежит истории. Но вправе ли мы, обращаясь мыслями к давнему героическому периоду освоения Арктики, забывать о том, что имеет значение всегда; как поступать человеку, когда обстановка опасная, а последствия того или иного решения неясны?

Успеха добывается тот, кто не пасует перед препятствиями, не страшится за собственное благополучие, а неутомимо ищет выхода, не останавливаясь перед риском.

...Занятый мыслями о легендарном походе, я вглядывался в дымку горизонта, за которым седая Колыма черпает свою силу из золотоносных притоков.

Одна из великих рек Сибири изливается в море двумя глинистыми руслами, каждое на глаз более десяти километров в ширину. Дельта реки вместе с островами и мелкими протоками занимает километров семьдесят побережья. Зрелище впечатляющее! Мощь потока зримо ощущается по узловатым завихрениям на его поверхности. Будто до самого устья, так и не слившись, доходят воды разных притоков, спеша, свиваясь и мешая друг другу. Море окрашено рекой в грязно-желтый цвет на десятки километров. Теплая вода отнесла кромку льдов далеко-далеко.

Дойдя до самой западной протоки, поворачиваем обратно. Но прежде пытаюсь разглядеть на северном горизонте Медвежий острова. До них всего сто двадцать пять километров. Однако прозрачность атмосферы не та, что против берегов Чукотки. Сказывается вынос теплого и задымленного воздуха с материка.

Слух о землях к северу от Колымы дошел до ее открывателя Стадухина. Он донес о них в Петербург. Там заинтересовались, полагая, что эти земли — начало Америки. Десятки лет не удавалось добраться до неведомых земель. Только в 1720 году промышленник Иван Вилегин отписал:

«Пашел землю, токмо не мог знать — остров или

матерая земля». И еще сообщил: «Приметил старые юрты и признаки, где прежде юрты стояли, а какие там люди жили — о том не ведаю».

В 1926 году академик Владимир Обручев, отец исследователя Колымы и Чукотки Сергея Обручева, опубликовал свой роман «Земля Санникова». Его сюжет опирается на открытие в ряде мест, в том числе и на Медвежьих островах, следов исчезнувшего племени — онкилонов.

«Земля Санникова» увлекла в Арктику многих. Наряду с «Северными рассказами» Джека Лондона и челюскинской эпопеей она оказала известное воздействие и на меня. Кто знает, может, это гениальное предвидение? Может, и мне доведется прикоснуться к этой тайне?

В 1763 году сержант Степан Андреев установил, что увиденная Вилегиным земля не начало Америки, а группа островов, обитателями которых являются лишь белые медведи. В следующем году, продвигаясь по морскому льду на север от них, он якобы и увидел: «Вновь найденный, шестой остров, весьма не мал, в длину, например, верст восемьдесят и более...»

Свое сообщение Андреев оснастил такими деталями: «На расстоянии верст двадцать наехал неизвестных людей свежие следы, на восьми санках оленьими, только перед нами проехали, и в то время пришли в немалый страх...»

«Землю Андреева» никто больше не видел, но так же, как «Земля Санникова», во все последующие времена она увлекала воображение людей. Отдал дань этому увлечению и я. В ясные дни апреля 1937 года на самолете Р-5 я дважды вылетал на запад и северо-запад от острова Врангеля. Не скрою, как и Андреев, я испытывал немалый страх среди ледяных просторов, но азарт поиска был сильнее. Я удалялся на триста километров и видел еще на сто километров, но ни единой точки на белой поверхности льдов не усмотрел. И все же не хотелось верить, что «Земля Андреева» — миф, потому и сейчас невольно взор не отрывается от горизонта.

Ну что же, на сегодня достаточно. Подвожу итоги увиденному: та же тундра, те же горы, только река взволновала своей могучей силой, вызвав во мне и моих товарищах определенное настроение. Совершенный нами

шаг в неизвестное невелик. Его значение, однако, не в объеме узнанного, а в сознании своих возможностей узнавать. Мы увидели то, что до нас видели единицы.

Нас не ждали, мы буквально свалились с неба. Первый гидросамолет после Молокова и Леваневского. Летчики Магадана еще не освоили эту далекую акваторию.

На берегу нас встретил начальник порта Амбарчик. Представился: «Хейдер! Миша!» Ему нет тридцати, крепыш, среднего роста, курнос, улыбчив. С первого взгляда видно, что в его руках немалое хозяйство — одних рабочих более ста.

Представление по имени, улыбчивая приветливость — это что? Маска для посторонних? Нет, похоже, характер. И вероятно, свой метод подхода к людям. Метод, по-видимому, достигающий цели, — на территории чувствуется хозяйский порядок, которого не достигнешь казенной суровостью. Он мне симпатичен.

Приняли нас с тем хлебосольством, какое оказывается на Руси дорогим гостям.

Спрашиваю Хейдера:

— Неужели возле такой реки не нашлось лучшего места для порта?

— Ей-богу, не виноват! Каприз природы!

Оказывается, устье реки, перекрыто наносной отмелью — баром. Из-за мелких глубин пароходы не могут войти в реку. А на побережье лучшего места нет.

— Амбарчик — почему такое странное название?

— Опять не я! Георгий Седов в 1909 году нашел здесь неизвестно кем построенный сарай, вот и окрестил...

Через два часа, заправив машину, расспросив о запасах горючего, радиосвязи и тому подобном, в отличном расположении духа мы вылетели в обратный путь.

Мотор по-прежнему усердно крутил винт, а я держался над морем, оценивая его ледовитость для ожидавшихся пароходов.

А ВОЛОДЯ ПРАВИ

На траверзе Чаунской губы, километрах в пятидцати мористее острова Айон неожиданно мы увидели по льдам одинокий пароход. Сведений о нем не поступило, и я еще подумал: не американец ли? Приказал

Малову установить связь, а сам повел самолет по кругу. Минут через десять Миша вручил мне радиogramму: «Иду Владивостока на запад заходом Амбарчик тчк Второй час кручусь этой полынь тчк Не вижу слабого места тчк Сообщите ледовую обстановку тчк Помогите выйти из этого скопления тчк Борт парохода «Урицкий» тчк Капитан Орловский».

Передаю радиogramму Володе Сургучеву, прибираю газ и начинаю снижаться по спирали. До предела видимости море покрыто ледовыми полями, обломками полей и крупно битым льдом.

Разводье, в котором застрял «Урицкий», образовано несколькими полями. Сомкнувшись углами, они образовали закрытый бассейн величиной не менее километра в любую сторону. Чтобы выйти из западни, капитану надо не пробиваться по курсу, а развернуть корабль назад и сделать несколько зигзагов в юго-восточном стыке полей. Только отсюда он может попасть в разреженные льды и обойти препятствие с юга. Но я не знаю, позволяли ли совершить такой маневр прибрежные глубины. И вообще для правильной оценки ледовой ситуации нужен глаз моряка.

А почему бы мне не поднять этот «глаз» на высоту? Риск, конечно, есть, но сесть, пожалуй, можно!

С этой мыслью без колебаний радирую:

«Урицкий» Орловскому тчк Экипаж Н-103 приветствует вас первого в Чукотском море тчк Обстановка сложная зпт объяснить затрудняюсь тчк Если согласны произвести разведку лично зпт выходите на шлюпке зпт а я произведу посадку тчк Командир самолета Каминский».

Почти тут же получаю ответ:

«Борт Каминскому тчк Ваше предложение принимаю великой благодарностью тчк Сию минуту выхожу шлюпке вашему указанию тчк Орловский».

С потерей высоты стала заметной сизая предвечерняя дымка на южном горизонте. Проявил себя эффект рефракции, остров Айон и горы за ним как бы приподнялись над горизонтом, создавая впечатление, буд-

то плавают в воздухе. Снизившись до двухсот метров произвожу расчет на посадку и вновь кричу Сургучеву:

— Буду садиться, передайте Морозову и Островенко! Смотрите за льдинами по курсу!

У Володи округлились глаза. Посмотрел на меня, как верующий на богохульника реагировал:

— Пропорем лодку, командир, не советую.

Ого, а мне и в голову не приходило, что Володя может выразить несогласие с моим решением. Я чувствовал себя стрелой, пущенной в цель. Лечу от знаю, что попаду. Шлюпка уже на середине полыньи. Две пары весел энергично выгребают. Отступать поздно. Отрицательно машу головой, не отрывая глаз от акватории, выбираю момент для разворота. Вот вышел на прямую и прибрав газ до малого. Самолет наклонился носом к воде.

Дима Морозов приподнялся в своей кабине и обернулся. В его глазах недоумение, а через долю секунды укоризна. Штурман, вместо того чтобы смотреть вперед и подсказать отворот от возможной льдины, юркнул в свою кабину и выставил для обозрения макушку летного шлема. Я несогласный, а вы как хотите — так расценил я его поведение.

Сургучев демонстративно сложил руки на груди и устремил взгляд в противоположную сторону. А тут еще с треском распахнулась дверка отсека механика, а из нее на полкорпуса высунулся расвибрированный Митя. Он что-то орал и угрожающе размахивал кулачищем.

У меня пересохло во рту: я шел на риск и оказался один.

Но размышлять некогда. Уже мелькают подо мной корявые, грязные (откуда бралось сияние?), источенные ветром и солнцем льдины. Приближался край полыньи, и, поддерживая газом скорость, я впился глазами в ее рябкую черноту. Если напоремся даже на крошечную льдинку... Нет, лучше не думать.

Самолет вырывается над водой, несется, теряя скорость. Последние мгновения. Моя рука до посинения сжала рукоятку газа в готовности передвинуть ее на «полный!». Но вот днище лодки с привычным для слуха шипением коснулось гребешков и заскользило на редане. Секунда, другая, третья — и она осаживается, всей грудью принимая сопротивление воды и замедляя бег.

Шлюпка впереди. Прибавив обороты мотору, подруливаю. Соображаю, как подойти к шлюпке, чтобы принять пассажира, не останавливая двигателя. Подрулив ближе, прибавил газ и так направил машину, чтобы она прошла бортом вплотную к лодке. Капитан Орловский оказался быстрым не только в решениях. Едва лодка прошла под крылом, он ухватился за протянутую руку Миши Малова, потом за кнехт и молниеносно очутился на палубе возле заднего люка.

Все! Теперь есть время посмотреть на «бунтовщиков». Митя из своей рубки не показывается, лица Сургучева и Морозова серьезны и отчужденны, оба избегают моего взгляда. Первая благополучная посадка их не убедила. Ведь придется взлететь, снова сесть и еще раз взлететь.

В моей летной практике не было случая, чтобы экипаж осмелился в столь вызывающей форме выразить неодобрение моему командирскому решению. Я взволнован и обозлен этим предательством.

Спротивление среды заставляет человека или отступить, или с еще большей настойчивостью доказывать свое. Я не отступил, когда было можно, когда сам сомневался. Теперь, поощренный успехом («не так страшен черт!...»), я вознегодовал на отступников. Зашевелились низменные мысли: «Ах, вы такие-сякие, ну подождите, я вам покажу!»

Быстренько разворачиваюсь, отруливаю к наветренной стороне и взлетаю. Мелькнула мысль: «Если сейчас пораню лодку, садиться придется только на базе, и капитан ох как не скоро увидит свой корабль!» — но все обошлось и на этот раз.

Набрав высоту шестьсот метров, прошу Сургучева взять управление. Слава богу, не отказался. Приглашаю капитана в пилотскую рубку и сажаю на свое кресло.

С пилотского места вся картина как на ладони. Стоя в проходе, рассматриваю неожиданного спутника: высок, худощав. На вид ему лет сорок. Дубленное морскими ветрами лицо. Около глаз веер морщинок. От крыльев носа резкие складки уходят к углам рта. Взгляд быстрый, пронизательный. Свою отвагу доказал решением подняться в воздух с неизвестным ему летчиком. Такие характеры мне определенно нравятся.

— Нельзя ли пройти немного по курсу? — спросил капитан.

— Почему же нельзя? Для этого и сели за вами. Командуйте направлением и запоминайте, что нужно!

От полыньи курсом на запад мы пролетели минут пятнадцать. Дошли до разреженных льдов, и капитан сказал, что ему все ясно. Вряд ли это было так. Видимо, он опасался быть нескромным, считая, что оказанная ему услуга и так не имеет цены. Мне это пришлось по душе, и я оставил его в своем кресле до возвращения к полынье. Когда он еще раз просмотрел ее, я занял свое место и сделал посадку значительно увереннее. На этот раз шлюпка оказалась далеко позади, и пришлось-таки выключить мотор. Пока машина дрейфовала, поджидая шлюпку, мы успели перемолвиться. Капитан первый раз в жизни поднимался в воздух и очарован практическим результатом. Теперь он остается убежденным сторонником воздушной разведки льдов.

Сдержанно, с достоинством, но очень сердечно он всем нам пожал руки и каждому сказал спасибо. Мои товарищи, кажется, оттаяли, во всяком случае, проводили его с борта со всей предупредительностью.

Смелым взлет! Мотор, на наше счастье, запустился без капризов, и второй взлет прошел благополучно. Я торжествовал, а Володя, казалось, стыдился на меня глядеть.

Последние три часа до базы мы летели молча. На борту не было того радостного оживления, которое сопутствует успешному полету. Сказалась усталость от напряжений длинного дня, и каждый, видимо, хотел остаться наедине со своими мыслями по поводу происшедшего. Задумался и я.

Почему товарищи, в которых был уверен, как в себе самом, не поддержали меня? Усомнились в возможностях фанерной килевой лодки МБР-2?

С незапамятных времен человек рисковал, поднимаясь в своих познаниях мира с одной ступени на другую. Без риска остановилось бы развитие. Как же можно пообещать природу Арктики, ничем не рискуя?

Я рассуждал так. Однако меня грызло какое-то неясное беспокойство.

Вновь и вновь анализирую, что привело меня к решению о посадке? Она была опасна, и более того — для этого самолета запретна. После разговора с Холобаевым, приведенного в самом начале, я ни разу не произ-

носил слов о революции, для которой хочу что-то сделать «своими руками». Даже не помнил о них. Но такой настрой сохранился во мне и усиливался примерами самоотверженности, о которых узнавал уже на Чукотке.

Подвиг Игоря Ардамацкого на наваринской зимовке, решение Волобуева форсировать Анадырский хребет полярной ночью, взлет Николая Бердника с такой же полынью на разведку для колымского каравана и многие, многие другие. Восхищаясь поступками таких людей, сам первый такого рода поступок, которым горжусь, я совершил 19 декабря 1936 года, о чем уже рассказал. В том случае я тоже взял на себя ответственность неизмеримо большую, чем того стоил практический результат. Все это осознавалось позднее, а в тот момент решение было интуитивным, основанным на сплыве опыта и творческого воображения.

Солнышко все так же безмятежно светило с небес. Правда, оно успело переместиться с юга на север, и теперь чешуйчатая дорожка рассекала море на две половины. Горы стояли на своих местах, такие же отчужденные и неприступные. Кажется, ничто не изменилось в видимом море, но все стало как-то строже, холоднее. И куда делись мои утренние восторги? Полет уже не радовал, и я с облегчением закончил его посадкой в своей лагуне. Мы поставили машину на якорь и, почти не разговаривая, вернулись под крышу базы. Сказав, что разбор полета проведу утром, я ушел спать не поужинав. Заснул сразу, как только опустил голову на подушку.

На следующее утро проснулся вовремя. Чуть ли не в дверях кают-компания, где в ожидании разбора находился экипаж, на меня накинута со своими неотложными делами завхоз Павел Стрежнев. Разговаривая с ним, я тем не менее услышал сказанные Володи Сургучевым слова:

— Ты, Митя, своими кувалдами перед носом не маши, мои не меньше твоих. Признайся, что защищаешь командира по старой дружбе.

— Я защищаю правду, в которую верю. И будь тут хоть Шевелев, хоть Шмидт, хоть сам господь бог против меня — буду стоять на своем. — Голос моего механика звучал запальчиво. — Проводить корабли во льдах для нас то же, что для земледельца выращивать хлеб.

Есть такая песня: «Штурмовать далеко море посылает нас страна!» — это про нас. Вчерашнюю посадку я считаю порывом вдохновения и горжусь, что принимал в ней участие. — Похоже, что Митя перевел дух и продолжал, несколько снизив голос: — Был ли риск в нашей посадке? Ого, еще какой! Ты и Дима должны были помочь командиру избежать опасности, но вы умыли руки, не так ли?

— А почему я сложил руки? Командир не считал нужным даже посоветоваться! Сам решил, сам убрал газ, сам пошел на посадку! Ну и ладно! Тогда и отвечай за все сам. А ведь при каждом случае призывает к коллективизму. — В голосе Сургучева прозвучала обида.

Мне было не по себе — подслушиваю! РванулсЯ было к двери кают-компаний, но кто-то удержал меня за рукав. Оглянулся — Медведев. Просит уделить минуту. С досадой махнув рукой, не дослушав ни одного, ни другого, я вышел на крыльцо дома.

Так вот оно в чем дело! Меня осуждают не за поступок, а за нарушение этики. Посмотреть на дело с этой стороны мне не приходило в голову. А ведь прав Володя, дьявол его разорви! Прав, ничего не скажешь! Ломая спички, я закурил, глубокими затяжками успокаивая неожиданное волнение.

Накурившись, твердым шагом пересек коридор и вошел в кают-компанию. Все взоры обратились ко мне, ребята подвинулись, освободили место.

— Оли! — попросил я. — Дайте, пожалуйста, кофе! — И приступил к разбору вчерашнего полета. — Вчера мы расширили границы нашего опыта — дошли до устья Колымы, потом взяли на борт капитана застрявшего во льдах корабля и провели ледовую разведку. Мои действия, связанные с этим, вызвали наше явное неодобрение. Такого между нами не было! В чем же дело? По морским обычаям на совещаниях первое слово дают младшим. В данном случае я хотел бы изменить этой традиции — пусть говорит сначала более опытный. — Я пристально гляжу на Морозова, давая понять, что первое слово принадлежит ему.

Единственный наш штурман был со мной почти во всех ответственных полетах. Летал он охотно и бесстрашно. В деловом отношении завоевал полное мое доверие. Что касается характера... была в нем какая-то, как мне казалось, недостаточность. Говорил он тихим

голосом, свое мнение выражал в предположительной форме, извиняющимся тоном, а когда требовалось осуждение или резкое слово в чей-либо адрес, высказывался последним. Эта робость и неопределенность позиции меня смущала. Я считал, что ему недостает той жесткости характера, которой требует от человека Арктика. Его деликатность, которой могло хватить на троих, и готовность к безоговорочному послушанию, как будто он заранее предрасположен к принятию чужой воли, иногда раздражали. Ведь его морской опыт был несравнимо больше, чем у любого из нас. Так почему же он вчера не проявил ни резкости Островенко, ни решительности Сургучева?

— Я порядочно полетал на лодках. Летал с Сырковашей, с Кукановым. Могу сказать, такие посадки, как вчерашняя, удаются раз в жизни. Ни один летчик еще не садился на МБР во льдах, и не думаю, что кто-либо сядет в будущем. Лично я в претензии к командиру за то, что меня лишили «куска хлеба». Ледовая разведка и составление донесений — моя основная обязанность, но если мы будем работать таким же образом, как вчера, я никогда не научусь хорошо делать свое дело. Извиняюсь, конечно, но я должен был это сказать...

Дима переводил взгляд с одного на другого, как бы ища поддержки, но тон его речи неожиданно для меня оказался решительным...

— Вполне согласен с Морозовым, — непривычно хмуро сказал Сургучев. — Я тоже не хочу всю жизнь оставаться вторым, а вы, принимая решение, даже не советуетесь! Этой посадкой я тоже бы гордился, если бы участвовал в ней... — Он хотел добавить еще что-то, но запнулся.

— И получилось, — продолжил я недосказанную им мысль, — что единственный герой этой посадки — Каминский! Так, Владимир Михайлович?

— Вроде этого.

— Ну хорошо — послушаем Дмитрия Филимоновича.

Невольно подслушав дискуссию Мити с Сургучевым, я был готов к тому, что Митя будет разносить, «не взирая на лица».

Митя начал тихо, отрывисто, опустив глаза, и по обыкновению, прежде чем говорить, поджал губы. Но чем дальше, тем больше он заводился.

— Не помню случая, когда бы вы не посоветовались перед ответственным решением. Вчера вы этого не сделали. Вы рисковали не только жизнью экипажа, но и успехом дела, честью и авторитетом отряда, которые мы добывали все вместе. Не пытаюсь убедить, силой своей власти затащили нас в эту ловушку. А силой человека трудно вести даже к молочным рекам с кисельными берегами. Больше всего меня возмутило, что вы не поверили нам. Все! — как молотком по гвоздю ударил Митя и сел, снова опустив глаза и поджав губы.

Черт возьми! А ведь здорово они меня разделили!

У меня заныло в груди, и от мстительных настроений не осталось и следа.

— Твое слово, Миша, — обращаюсь к радисту.

В товарищеском общении Малов не лез в карман за словом, но я еще не слышал, как он высказывается в официальной обстановке. И на этот раз его речь не страдала многословием:

— А что я могу сказать? Я согласен с Островенко. Наверно, он сказал то, что нужно!

Все четверо смотрели на меня с любопытством и тревогой.

Митя боялся, как бы я не уронил себя чем-то, а остальные, видимо, ждали нападок.

— Ну что же, товарищи! То, что вы так единодушно высказали, и называется критикой. А это не сахар, с ней чай пить не будешь! Не стану врать, утверждая, что я до смерти рад всему вами сказанному, но я благодарен за то, что вы не держали камня за пазухой, и хочу объяснить свой поступок.

Газетчики называют Арктику цехом мужества. Пожалуй, так оно и есть, только с одной оговоркой. Арктика никого не учит мужеству, а лишь дает возможность проявлять его тем, в ком оно есть. Вчера нам представился такой случай. Если посмотреть на него через букву авиационных инструкций — я нарушитель. Ни один вышестоящий командир заглазно не позволил бы мне этот риск. Однако дух наших наставлений требует от летчика в непредвиденных обстоятельствах смелости и инициативы. Я рисковал — согласен. Но разве капитан Орловский не рисковал, оставив корабль во льдах и поднявшись в воздух с неизвестным ему летчиком? Нет, товарищи, здесь не удалство, а ответственность за де-

ло, которому служим! Я был уверен в вас, как в самом себе, уверен, что имею согласие решать за всех, когда некогда советоваться. Сейчас оцениваю это как самонадеянность и прошу не держать на меня сердца. Но рисковали мы не зря, и вот нам награда. Послушайте, что сообщают с «Урицкого».

«Авиабазы тчк Экипажу Каминского тчк Вечером девятнадцатого стал на якорь Амбарчике тчк Приступил разгрузке тчк Еще раз сердечно благодарю экипаж оказанную помощь тчк Счастливых вам полетов тчк Капитан Орловский».

Надо было видеть, как преобразились лица моих товарищей. Их растрогало, что я безоговорочно принял критику, воодушевила полезность сделанного и слова признательности капитана «Урицкого». Однако надо было еще закрепить победу, и я выложил свои «козыри».

— Есть еще две интересные для нас директивы. Первая от начальника проводки Дриго: «Прошу дать обзорную разведку от восточной кромки до Певека. Особо тщательно обследуйте пролив».

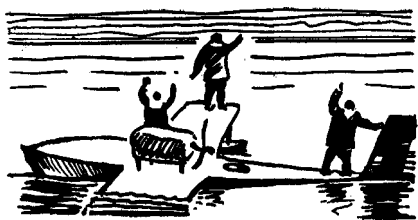
Я оглядел экипаж и продолжал:

— Вас, Митя, прошу заправить машину на восемь часов полета. Завтра ваш день, Дмитрий Николаевич, — обратился я затем к Морозову. — Вы единолично составите донесение, и посадок на полыньи не будет.

А вы, Владимир Михайлович, весь полет проведете за командира. Но это не все. Есть еще одна не совсем обычная задача. Румынский принц крови Михай оказался летчиком. Он собирается совершить кругосветный перелет. Марк Иванович Шевелев предлагает нам найти для него посадочную площадку в районе Анадыря. Нужна двухкилометровая полоса. Если отыщем, то предстоит обеспечить принца: бензином, маслом, встретить и проводить по этикету международного гостеприимства...

Мои ребята так и присвистнули: шутка ли, найти двухкилометровую полосу, когда для своих Р-5 мы еще не отыскиали пятисотметровую!

Решили все же обследовать Землю Гека — выходную косу в устье Анадырского лимана. В этот полет мы отправились, не подозревая, чем он кончится.



ЗАКОНОМЕРНОСТЬ СЛУЧАЙНОСТЕЙ

РОМАНТИКИ

26 июля за завтраком слышу голос Медведева:

— Сегодня не вылетим! Зря Миша авралит.

— А что? Тебе сон приснился? — иронически отозвался Сургучев.

— Нет, реальная примета. Не помню случая, чтобы в банный день совершались полеты.

— Полетишь грязненьким.

— А хочешь пари, что вылет не состоится?

— Идет! На две плитки шоколада!

— По рукам!

Так спорят не для того, чтобы выиграть пари, а из озорства и желания поднять тонус в коллективе. Но услышанное задело: как это не вылетим, если полет назначен?

Однако на нас посыпались неожиданности одна неприятнее другой. Началось с трактора, который доставлял экипаж и груз на гидроаэродром. До гидроаэродрома шесть километров пути по сыпучей гальке. Пока дойдешь, дух вон. А надо не только дойти, но и доставить для мешка почты, собранной по зимовкам, багаж Медведева и еще кое-что.

Трактор «Коммунар» не завелся, сколько с ним ни бились.

Прошу Берендеева подготовить У-2 и начинаю перебрасывать экипаж и груз. За три рейса все оказалось на месте, нет только Медведева. Он ушел на «полярку» подписывать отпускную. Лечу к станции, что в шести километрах от базы. Там около домиков имелась крохотная полоска твердого грунта, где мы садились на У-2 в крайних случаях. Выясняю, что аэролог Кандырин повез Медведева к лагуне на моторной байдарке. Взлетаю и действительно вижу их в море, на полпути. Успокоенный, сажусь у лагуны. Проходит тридцать минут, а байдарки все нет. Вынужденное ожидание раздражает, взлетаю вновь и обнаруживаю лодку у берега почти на

том же месте. По энергичным взмахам руки Кандырина узнаю, что мотор «сдох». Медведев ложится на береговой гальке и, раскинув руки, изображает посадочное «Т». Черт бы тебя забрал, прорицатель несчастный! Но делать нечего, иду на посадку. В конце пробега по рыхлой гальке машина подняла пустой хвост и стала свечой на втулку винта. Ну, думаю, все! Поломан винт, вылет сорван! Подбежали перепуганные Медведев и Кандырин, подставили плечи, опустили хвост. На мое счастье, винт удачно скользнул по гальке и не сломался. Перевожу дух: сажаю Медведева и перелетаю к лагуне.

Наконец-то все на месте! Дима Морозов сбрасывает крепежный конец якорной бочки. Митя запускает движок компрессора, ждет команды заводить мотор. Отдрейфовав от бочки метров тридцать, даю знак «К запуску!».

Но не тут-то было. Мотор чихает, плюется черным дымом, но не запускается. Чего только не делали: продували, засасывали вновь, меняли свечи — результат тот же!

Обескураженные, собрались на палубе, не зная, что еще сделать, чтобы запустить этот проклятый мотор.

Время упущено. Настроение испорчено. Даю отбой. Так Медведев выиграл, казалось бы, безнадежное пари.

Утром за завтраком Сургучев молча, подозрительно разглядывал Медведева, пока тот не спросил:

— Что ты, Володя?

— Да вот не решаюсь осведомиться, какой у тебя прогноз на сегодняшний полет.

— Вылетим через час и тридцать минут. Устраивает?

— Засаекаю время. Если запоздаем на минуту, то возвращаешь мой проигрыш.

— По рукам! Добавляю две плитки своих!

Травмированный вчерашними неудачами, я со страхом встречал сегодняшний день.

Но, как ни странно, и трактор заработал, и мотор самолета запустился с первой попытки. Мы вылетели даже раньше назначенного Медведевым времени. После взлета Сургучев сказал мне с мстительным сожалением:

— В доброе старое время колдунов сжигали на костре. В наше время им устраивают «темную». Как вы на это посмотрите?

— Так это надо было сделать вчера, а не сегодня, — ответил я так же шутливо.

Рассказанный эпизод вспомнился мне лишь в связи с личностью Радимира Медведева, который заслуживает, чтобы о нем написать подробнее. Я называл его человеком с мощными моторами и слабыми тормозами. Ему не вышло восемнадцати лет, а он уже стал своим в мире конденсаторов, катодов, анодов и прочих премудростей радиотехники. По этой причине в 1932 году Медведев оказался в палаточном городке, из которого потом возникла столица Колымы — Магадан.

В 1935 году в одно время со мной он попадает на берег Анадырского лимана, где принимает участие в создании радиоцентра Главсевморпути. Его роль мне кажется выдающейся.

Дело в том, что передатчики, отправленные из Ленинграда, не подоспели к выходу «Охотска» и остались во Владивостоке до следующей навигации. По собственным схемам вместе с такими же восемнадцатилетними энтузиастами Сергеем Васильевым и Игорем Добровольским Медведев сконструировал и построил передатчики, на которых радиосвязь и работала первый год.

У Радимира Медведева оказался неистощимый запас любознательности. Он не давал мне прохода, засыпая вопросами. Что такое долг и право, честность и предательство? Чем определяются достоинства человека и почему в жизни так много несправедливости? Я не всегда мог исчерпывающе ответить на подобные вопросы, но от отыстов не уклонялся, чем заслужил расположение Медведева и его друга Васильева.

Вероятно, общим признаком большинства одаренных людей является неуживчивость. Категоричность суждения, постоянные несогласия с чужим мнением, острый язык и рано или поздно возникающие конфликты. По этой причине осенью 1936 года пришлось мне выручать Медведева, организовав ему перевод в распоряжение начальника полярной станции Шульца. Так Медведев стал радистом синоптической группы, которая обслуживала наш отряд.

В те времена мы не располагали приемниками общего пользования. Сведения о жизни нашей страны поступали микродозами и с большим опозданием. Помню фурор, который произвел Медведев, прибежав однажды в кают-компанию с криком:

— Ребята, Москва! Слушайте Москву!

С того дня для нас как бы распахнулось окно в больший мир.

Организатор юмористической стенгазеты, непременный участник розыгрышей и создатель фантастических проектов отыскания Земли Андреева, Медведев немало содействовал ритму нашей жизни. Однако я заметил, что многие зимовщики его недолюбливают. Как-то один на один я его спросил:

— Радимир! Ты ничего не замечаешь в себе?

— А в чем, собственно, дело?

— Давай разберемся, почему тебя не любят.

— Я не женщина, в любви не нуждаюсь!

— Не притворяйся! Ты человек и живешь среди людей.

— Не желаю ни под кого подлаживаться. Я знаю свои недостатки, пытаюсь бороться и со злым языком, и неуместным любопытством к чужим делам. Но у меня есть и достоинства. Почему-то замечают только недостатки.

— Очевидно, потому, что ты не слишком деликатен к чужим.

— Недостатки есть и у тебя, однако тебя уважают. В отряде все настроены на полеты, в них здесь главное дело. Мою работу не считают настоящей. Похоже, я сижу не на своем коне. И кстати, раз уж зашел разговор, помоги мне уехать первым пароходом.

— Обещаю! Посвяти в свои планы.

— Хочу учиться! Ведь я выскочил в жизнь недоучкой, вот она и бьет меня ниже пояса.

— Что помешало тебе доучиться?

— Излишек оптимизма в оценке собственной личности!

Радимир с запоздалой горечью поведал мне историю «трудного» подростка. Единственный сын у матери, заласканный, не знавший отказа ни в чем, он рано уверовал в свою исключительность. Способный мальчишка на лету схватывал школьную науку и извлекал из нее то, что поддается эксперименту и удовлетворяет потребность в озорстве.

В школе он неизменно был в центре злых проказ. Например, в приготовленные из оконной замазки сосуды наливалась соляная кислота, а в нее опускались кусочки какого-то вещества. Образовавшийся сероводород из-

гонял обитателей целого этажа, и урок, конечно, срывался.

Медведева шесть раз исключали из школы и столько же восстанавливали, снисходя к слезам матери и признавая одаренность мальчика. По-настоящему исключили его перед окончанием седьмого класса. В данном случае роковую роль сыграла табуретка, на спор выброшенная из окна четвертого этажа. По случайному совпадению она упала в двух шагах от инспектора роно.

С семиклассным багажом знаний Медведев, нисколько не горюя, вышел в самостоятельную жизнь. К шестнадцати годам он окончил курсы радистов при обществе друзей радио, которое тогда существовало. В семнадцать лет уже сам стал инструктором. Увлеченный дальними связями, изобретал коротковолновые передатчики. К восемнадцати годам его признали специалистом и дали направление на строительство радиосвязи Дальстроя.

С Медведевым пришлось мне повстречаться в 1948 году, на очередном зигзаге его судьбы. И опять я выручил его, устроив оператором в свой аэросъемочный экипаж. К тому времени он только успел получить свидетельство об окончании десятого класса. И конечно же, еще не вывел всех «родимых пятен» ранней молодости. Как-то в злую минуту я спросил его:

— Тебе не кажется, что романтики — это пижоны, которые ищут длинного рубля и не хотят работать?

— Нет, не кажется! Романтики открыли Америку и осваивают Арктику. Они двигают вперед науку и искусство. А это каждодневный занудливый труд в поте лица. Одно мне ясно: кто живет по пословице «Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою», никогда не был романтиком...

— Вижу, ты идешь вперед! Десять лет назад ты не прибежал к таким обобщениям.

— Иду, это факт! И приду, вот увидишь!

Теперь я могу подтвердить, что Радимир Семенович Медведев, в зрелые годы окончив институт, стал крупным специалистом в одной из областей электроники.

Я не раз задумывался: а что же такое романтика как свойство человеческой натуры?

Не претендуя на открытие даже части истины, а лишь выражая взгляд на одну из ее граней, выскажусь и я.

Человек рожден для счастья — в этом конечный смысл всего, что он делает. Истинное счастье не в потреблении, а в созидании. Только творческий труд дает удовлетворение уму, характеру, способностям. Проявлять эти качества своей натуры, утверждать себя как личность, добиваться признания — коренная потребность человека. Но он является на свет вынужденным принимать то, что создали до него. В том числе всяческие ограничения свободы его личности. Привязанность к месту обитания — одно из таких ограничений. Мечта о преодолении пространства, о дальних странах в юности кажется едва ли не главной возможностью обрести свободу. И вот мечта сбывается. Привожу выдержку из старых записей:

«Земля здесь голая, она рождает только олений мох. Порой снятся грибные места и цветущие луга, и от этого болит сердце. Мы мерзнем каждый день, не замечая этого, как привычное. Преодолевая отвращение, из месяца в месяц питаемся консервами, забывая, что есть свежие продукты со своим неповторимым вкусом. Мы всегда в готовности встать и идти. И отдавать свою силу делу, которому служим, и нередко опасность идет рядом с нами.

Неужели это то, к чему стремился? Что удерживает от бегства к теплу, к траве, к деревьям?

Иногда я думаю о тех, кто был здесь раньше, о тех, кому выпало более трудное. Они не имели своего угла, жили в прокисших ярангах, питались тухлым моржовым мясом — копальхеном, страдали не только от холода, но и от непонимания. Вряд ли они думали о романтике, которая манила меня сюда. Она красива только в книгах о приключениях в дальних странах. Читаешь те книги в тепле и комфорте и думаешь, что опоздал родиться. А здесь такая же работа, как и везде, только более трудная...»

Через двадцать лет после этой записи пришлось мне прочитать — не помню уж где — в журнале или в книге мысль, созвучную моей. Изложу ее своими словами, как запомнил:

«Прошли годы, забылись тяготы и лишения. В сознании определилось то благородное, во имя чего работало мое поколение. Новое поколение несет знамя, печальась, что оно опоздало родиться, не застав того времени, когда работа была подвигом. И так из поколе-

ния в поколение. Дети не замечают того, что сами живут под сенью романтики. Пройдет их жизнь, и их дети будут сожалеть, что опоздали родиться. Так было, и так будет. Романтика всегда впереди или в прошлом».

Хочу напомнить, что сегодня 27 июля и мы наконец летим в Анадырь искать площадку для наследника румынского престола принца Михая.

Через три часа после взлета перед нами засверкало огромное зеркало Анадырского лимана, где мощный поток материковых вод сталкивается с водами моря. Приливы и отливы при содействии реки «отъели», проточили огромную площадь земной тверди и по частицам унесли ее в морскую пучину. Процесс этот длился миллионы лет, в ясную погоду особенно различимы результаты титанической работы. Более чем на сто километров в глубину континента внедрились заливы лимана, свыше пятидесяти в ширину он в устье, которое перегорожено двумя низменными песчано-галечными косами. Северная называется Русской кошкой, а южная — в честь китобоя прошлого века — Землей Гека. При взгляде сверху это две стрелы, устремленные навстречу друг другу. Разрыв между ними в двадцать километров образует ворота лимана. В окрестностях Анадыря только эти две косы оставляли надежду на изыскание полосы для посадки самолета принца Михая.

Осмотрев с воздуха Русскую кошку, мы забраковали сразу же и сделали посадку у Земли Гека со стороны лимана. На этой косе базировалась рыболовецкая бригада чукотского треста Главсевморпути. У берега стояли два катера, и выяснилось, что на одном из них приехали из комбината начальник треста В. Д. Бовтун, плановик А. М. Фишкин и, очень для нас кстати, начальник аэропорта И. Г. Шамин.

Вместе с ними мы осмотрели косу и пришли к выводу, что километра два выровнять можно. Для этого придется изрядно поработать лопатами. Это будет самая плохая из всех возможных взлетных дорожек, но она единственная на тысячу километров в радиусе, и пусть принц Михай сам решает, следует ли ему искушать судьбу на берегу Анадырского лимана.

Итак, главное, ради чего мы оторвались от вахты на северном побережье, сделано. Теперь надо нанести визит

окружному центру. Анадырцы давно ждут моего прилета. Хорошо бы застать Тевлянто и Берестецкого. Наверняка есть жаждущие оказии на Север.

Бовтун, Фишкин и Шамин, чтобы не ехать четыре часа катером, попросили меня взять их с собой. Я охотно согласился сделать доброе дело, не предполагая, что оно станет тем кирпичом, который только и ждет случая упасть на голову несчастливого.

Густо настоящий духотой день переломился на вторую половину. Термометр показывал плюс двадцать восемь при штиле. Такая температура — испытание для северян не меньше, чем 40-градусный мороз. Нагретый воздух поднимался над зеркалом лимана, подобно мареву, искажая перспективу. Несметные полчища комаров атаковали нас, как только мы ступили на Землю Гека, и за два часа довели до остервенения. Скорее на самолет! Скорее запустить мотор, чтобы струя воздуха отогнала этих кровопийц!

Взлетать надлежало от косы в сторону материка. Мотор работал отлично, но из-за высокой температуры заметно сбавил мощность. Окажись мы на земле на колесном самолете, это повлекло бы за собой лишь удлинение разбега. Но зависимость между весом гидросамолета и мощностью его двигателя более жесткая. Дело в том, что для взлета лодку надо вывести на редан — в такое положение, когда корпус приподнимается над водой и перестает тормозить разбег. Скольжение на редане не отличается от бега на колесах. Но чтобы лодка поднялась на редан, необходима строго определенная и неведомая нам в ту пору мощность мотора. Если вес лодки превысит эту необходимую мощность хотя бы на десять килограммов, она на редан не поднимется и не взлетит. Выходу на редан помогают волна и встречный ветер, препятствует штиль.

Практика морских летчиков изобилует примерами, когда для приведения веса гидросамолета в соответствие с мощностью двигателя приходилось сливать бензин или высаживать пассажиров.

Так обстояло дело и в нашем случае. Взяв трех пассажиров, я, видимо, превысил допустимый вес. Хотя это казалось абсурдом: горючее наполовину выработано, а четыре пассажира (вместе с Медведевым) не являлись предельной нагрузкой МБР-2. Однако машина долго утюжила гладь лимана, не обнаруживая намерения вый-

ти на редан. Раза два я пытался «вытащить» ее резким движением рулей высоты, но не достигал цели. Лодка приподнимала нос и вновь падала, теряя часть уже набранной скорости.

На полном газу мы удалились от берега километра на два, когда я как бы внутренне ощутил удар по корпусу. В ту же секунду Митя просунул голову в нашу кабину и, заорав: «К берегу!» — скрылся. Переспрашивать и раздумывать было нельзя, я уменьшил газ и выполнил разворот. Прибавляя газ до полного, увидел, что стрелка термометра воды за красной чертой. Перегрев мотора! Еще не представляя последствий, инстинктом летчика оберегая мотор, убрал газ до малого.

— Володя, посмотри, что там происходит?

Но не успел Сургучев встать с кресла, как в нашу кабину ворвался ошалевший Митя:

— Мы же тонем, не видите, что ли? К берегу немедленно! — И опять нырнул к себе.

Пробоина. Теперь надо спасать не мотор, а самолет! Даю полный газ, но лодка заметно просела и скорости не прибавляет. Тогда, выключив зажигание, я сам бросился в кабину механика. Митя и Миша Малов затыкали моторным чехлом дыру, из которой фонтанировала вода. Несмотря на все усилия, она, журча и пенясь, прибывала и уже подбиралась к коленям.

Поняв с первого взгляда, что дело табак, подаю команду Малову:

— Немедленно клипербот на заднюю палубу! Пассажирам выйти на хвост! Радмир! — приказал я Медведеву. — Помогайте!

Митя один по-прежнему старательно утаптывал чехлы в дыру, но вода прибывала и уже переливалась в кабину летчиков и штурмана.

— Дима, ракетницу! Володя, на клипербот!

Морозов нырнул головой в свою кабину, достал ракетницу, но извлечь все ракеты из тесных гнезд патронташа, оказавшегося в воде, не смог — достал только три.

Не предусмотренные человеком аварийные события вынуждают его тратить драгоценные секунды на осмысление происходящего, на принятие первого попавшегося решения, которое редко оказывается наилучшим. Вот почему всякого рода учебные тревоги на морском и воздушном флоте, равно как и в армии, имеют столь важ-

ное значение. Когда наступает действительная опасность, люди действуют автоматически.

Мой экипаж из-за своей неопытности (не составлял исключения и командир) не был подготовлен к такой беде. Крыло лодки уже легло на воду, все помещения заполнились водой, растерянные пассажиры топтались на крыле, держась за моторную гондолу, а на задней палубе еще продолжалась возня с клиперботом.

Почему не надувается? Оказывается, вытаскивая его, забыли про насос. Так из-за нашей непредусмотрительности вышло из строя единственное средство спасения.

Теперь все надежды на помощь с берега! Выпущенные второпях ракеты ничьего внимания не привлекли. Наших криков на берегу не слышат. Не видно подобающей обстоятельствам суеты, да катера стоят на месте.

Мы топтались на крыле, не зная, что делать дальше. Отдав все команды, какие мог, я был подавлен ответственностью перед людьми. Они смотрели на меня, будто я господин бог и знаю, что еще можно предпринять. После шока, поразившего нас, первым пришел в себя Володя Сургучев.

— Ну, братцы... как говорят, спасение утопающих — дело самих утопающих! — и стал освобождаться от болотных сапог.

Искра спасительного юмора, блеснувшая в интонации, с какой прозвучал знакомый афоризм, разрядила нервное напряжение. Стыдливо пряча пережитую растерянность за шутками, все последовали примеру Сургучева. Со стороны зрелище могло показаться комичным. Девять полураздетых мужиков, цвет туземной интеллигенции и командирской солидности, на крыле тонущего самолета усердно размахивают портянками.

Но нам было не до смеха. Уже двадцать минут лодка держалась на поверхности за счет плавучести крыла и бензобаков. Сколько еще продержится — неизвестно. Образно говоря, мы чувствовали себя на пороховой бочке, к которой неотвратимо подбирался огонь бикфордова шнура.

Наступил момент отлива. Машину поволокло в море. Вот не думал, что морской отлив имеет столь большую скорость — нас тащило в ворота лимана мимо Земли Гека. Не зря говорится, что беда не приходит одна. Нас поразила ужас, когда заметили густую волну тумана, надвигающуюся с моря, а мы со скоростью экспресса двига-

лись ей навстречу. В такой ситуации авария грозила обернуться катастрофой. Вынесет в море наш плот, прикроет туманом, и мы навсегда исчезнем в морской пучине.

«Пошли на взлет, а больше мы ничего не видели!» — скажут рыбаки. Возникнет еще одна загадка Святогорова. Морской летчик дальневосточной авиации Святогоров в 1935 году вылетел с Сахалина на материк и будто растворился в воздухе. Поиски велись долго и безуспешно, а здесь и искать-то некому. От этой обреченности пересохло во рту и стало тоскливо.

— Катер! — неожиданно раздался радостный голос Вани Шамина.

Действительно, в самый последний момент от берега отошли оба катера. Но, может, они по своим рыбацким делам? Нет, кажется, к нам! Да, точно к нам. Ну слава аллаху! Утонуть в соленой воде, как видно, не суждено!

Катера подошли к нам с первой волной тумана. Опоздай они хотя бы на три минуты, обнаружить нас было бы уже невозможно. Испуг я пережил позднее, осознав, по какой острой грани провела нас судьба. На одном катере я отправил часть пассажиров и экипажа на берег. Другой задержал возле самолета. С Митей и Шаминым мы закрепили манильский трос за переднюю «утку» машины, старшина катера пытался ее буксировать. Но из этого ничего не вышло — крыло зарывалось в воду, и самолет в любую минуту мог опрокинуться. Пока мы возились, отливное течение вынесло катер и самолет в море. Это мы поняли, почувствовав морскую зыбь.

Старшина катера Владимир Акинфиев и моторист всячески ухаживали за нами: кормили ухой, пойли кофе. Да разве пойдет в горло кусок!

Первые часы мы по-всякому истолковывали это роковое происшествие, а потом смолкли, подавленные и опустошенные.

Примерно через час наш самолет эффектно перевернулся через нос и левое крыло, едва не задев хвостом катер. Это была ужасная минута! Опрокидываясь, машина стала подтягивать под себя катер, и неизвестно, что получилось бы, выдержи «утка», за которую был привязан трос. На наше счастье, сила натяжения вырвала ее «с мясом» из корпуса самолета.

Мотор погрузился в воду, лодка показала дно, и мы увидели в нем, прямо под кабиной механика, огромную

рваную дыру, через которую свободно мог пролезть не слишком толстый человек.

Удар плавником! Плавающие бревна в Анадырском лимане! Об этом не приходилось даже слышать! Видимо, «утопленник», мокший в воде давно, стоял торчком, и мы из-за марева и солнечных бликов не заметили его макушки. А Митя уверял нас, что пробоину нанесла нерпа, что он якобы видел ее голову в момент удара. Вот тебе и нерпа! Ну что ж, как говорится, важно не то, чем болела, а то, что умерла!

Прошли невероятно долгие часы, когда начался прилив и нас втащило в лиман. Наступил вечер. Свежий ветерок подул вдоль берега, туман стал редеть и рассеиваться. Вскоре самолет уткнулся мотором в мель и замер. Дежурить около него не было смысла, и я попросил старшину катера доставить нас в Анадырь. Там на рейде стоял пароход «Волховстрой», и, несмотря на позднее время, нам удалось уговорить капитана поднять якорь и привести нашу машину к базе.

Сделать это оказалось непросто. Из-за малой глубины пароход не мог подойти к самолету бортом, пришлось заводить тросы шлюпкой и сдергивать машину с мели. При подъеме размокшая фанера лодки ползла как бумага. То, что всего десять часов назад являло собой гордое создание человеческого разума и рук, стало бесформенной грудой «вещественных доказательств» для аварийной комиссии.

Не знаю, кто как переживает такие события, я перенес эту аварию как большое горе. Когда трещала обшивка, рвались умно сочлененные узлы, сминались благородные обтекаемые формы и грязная вода хлестала из безобразных ран самолета, хотелось кричать от боли. Разрушалась не просто полезная вещь — умирал сильный и верный друг.

Много мы пережили с ним вместе, когда «южак» у Певека перевернул нас на спину и мы стремительно проваливались в неизвестность, и когда двенадцать часов подряд штормовая волна со страшной силой била под крыло за островом Раутан, и когда нас выбрасывало на камни в лагуне возле мыса Шелагского...

Нет, в те минуты я не думал об ответственности — я горевал. Горевал, что не сберег друга, которому многим был обязан и который послужил бы еще немало.

Но вот «Волховстрой», подобно катафалку с покой-

ником, направился к Анадырю, и тут необратимость случившегося подкосила меня. Я был обессилен физически и нравственно. Слипались глаза, в пересохшем рту с трудом ворочался язык, в голове была полная бессмыслица — я провалился в сон. Очнувшись от тишины. Пароход стоял на рейде Анадыря. Машина корабля не работала. Еще час нервного ожидания, пока мы вместе с обломками самолета не очутились на берегу. Тут я ощутил, что силы окончательно покинули меня. Их не осталось даже для того, чтобы преодолеть один-единственный километр до постели, приготовленной мне в квартире Бовтуна.

Ушли на плавбазу катеристы и рабочие. Я отправил отдыхать измученных Митю и Шамина, а сам привалился к бухте манильского каната у берега. Как ни странно, мозг, чуть отдохнув, работал с поразительной ясностью.

Было тихо, светло и прохладно. Над водой фантастическими призраками колыхались испарения. Они закрыли от моих глаз пароход на рейде, разорвали и сместили силуэт противоположного берега. Только ажурная мачта радицентра проецировалась в оранжевом небе особенно рельефно.

С нее начинается невидимый мост, соединяющий эту страну с большим миром. Сейчас по нему бежит моя депеша. В Москве еще ранний вечер, и, может, Шевелев уже получил ее. Мне стало неприятно и зябко.

Впервые я увидел Шевелева два года назад издалика. Потом был представлен ему Волобуевым. Свидание продолжалось пять минут. Тридцатилетний начальник полярной авиации показался мне красивым, ладно сложенным человеком, излучавшим заразительную энергию. Он воплощал собою для меня авторитет высоких нравственных инстанций: государства, народа, партии. Отделенный от нас тысячами километров, Шевелев, казалось, понимал мои трудности и делал все, чтобы я работал уверенно. И доверие этого человека я не оправдал.

Но не чиновник же Шевелев, рассуждал я. Он сам испытал, что за «зверь» Арктика, когда летом тридцать второго года порывом новоземельской боты самолет летчика Л. М. Порцеля бросило с высоты в бушующие волны студеного моря. Самолет был разбит вдребезги, а экипаж погиб. Спаслись двое: Шевелев и второй механик Виктор Чечин. Не может Шевелев забыть такого! Он поймет, что не из-за халатности, а в результате несчастного случая погибла моя машина.

Так я размышлял, пока не замерз. Поднявшись, побрел вдоль косы к месту ночлега. На крыльце дома оглянулся. Начинался новый день страны. Над равниной Берингова моря появилось солнце. Его лучи не пробивали низового тумана, но окрасили небо в желтый и розовый цвета. Здесь утро, а в Москве еще не наступила ночь. Восемь часов будет бежать к ней солнышко-скоороход.

Потихонечку открыв незапертую дверь, я прошел в комнату. На стуле возле кровати меня ждал накрытый салфеткой ужин. Это позаботилась Вера, жена Бовтуна. Но есть не хотелось. Я лег. Сон долго не приходил ко мне. В голове ворочались тяжелые мысли...

ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ ВАМ ЦЕНУ!

Кажется, не успел заснуть, как почувствовал, что меня тормозят. Спросонья взглянул на часы: уже одиннадцать! Около меня председатель окрисполкома чукча Тевлянто и Волковой.

— Миша! — теребил меня Тевлянто. — Вставай, пора, чайпуркен!

Волковой сдержанно улыбался.

Я быстро поднялся и оделся. В столовой Вера собирала завтрак. На столе закуски, бутылка красного вина. Умываясь, я старался угадать, что означает этот визит. Вспомнилась первая встреча с Волковым и обстоятельства, при которых она проходила. Было это полтора года назад. В парном полете над Чукоткой я и мой командир Пухов из-за тумана попали на вынужденную. Самолет Пухова повредила пурга. На моей машине он улетел на розыски, мне пришлось пребывать в томительном ожидании, пока будет отремонтирован его самолет, оставшийся в школе поселка Усть-Белая. Помнится, понадобилось перебросить в Усть-Белую кое-какие материалы, и я обратился за помощью к секретарю окружкома партии Волковому, в чьем распоряжении находилась единственная свободная упряжка. Он не подал руки, не пригласил сесть. Молча выслушал мои сбивчивые слова и, выдержав паузу, с осуждающей суровостью сказал:

— Не умея летать, нечего было соваться в Арктику. А уж коли приехали, надо было на каждом километре разложить запчасти, чтобы не выпрашивать у нас нарты... Кроме мороки, никакой пользы округ от ваших са-

молотов не видит. Так что не взыщите, свою упряжку не дам. Ищите где хотите!

Я ушел из кабинета Волкового как побитый, сознавая, что он в общем-то прав. Но такова психология человека, что не может он объективно отнестись даже к справедливой обиде. В окружном я больше не заходил. Спустя год после памятного разговора мы заметно поправили свою репутацию, успев оказать округу значительную помощь. Волковой это знал, но, встречая, каждый раз делал вид, будто не замечает. И вот он здесь. Зачем?

— Я помню, как вы пришли ко мне в декабре тридцать пятого, — начал разговор Волковой. — Я не ожидал, что вы останетесь на вторую зимовку и будете хорошо работать. Мне не однажды хотелось похвалить вас, но я воздерживался, полагая, что вы примете это как мою капитуляцию, что было бы неверно. Сейчас у вас снова трудное положение, но мы знаем теперь вам цену. Я не летчик и не могу определить долю вашей личной вины в случившемся. Но сколько бы ни стоила погибшая летающая лодка, вы для нас дороже. Не падайте духом, мы поддержим вас перед Москвой.

Во время этой неожиданной для меня речи я сидел, не смея поднять глаз. У меня задрожали губы, и отвечать я не мог. Выручил меня в ту минуту Тевлянто:

— Ну вот, а теперь давай выпьем, Миша, за твои успехи!

— Какие уж тут успехи, — промямлил я, не зная, что еще сказать и больше всего боясь разреветься.

— Тевлянто правильно сказал — за успехи! — пришел мне на помощь Волковой. — Был бы человек стоящий, а успехи у него будут обязательно! Из-за язвы я спиртного в рот не беру, но по такому случаю нарушу свой режим. — И он стал разливать вино по стаканам.

Отдав символическую дань русскому обычаю, гости вскоре ушли, наказав обязательно зайти в окружном. А я остался осмысливать их визит.

Вспомнился апрель 1936 года и поиски 16 эскимосов из Наукана. После этого Леваневский сказал мне с уважением: «Этими полетами вы показали эскимосам, что такое Советская власть. Это нагляднее любой словесной кампании!»

А полеты прошедшей зимой! Наши самолеты заменили, по крайней мере, сотню собачьих упряжек. В это вре-

меня года их всегда не хватает. А скольких работников окружных организаций мы перебросили в Усть-Белую, Марково и Уэлен! Пожалуй, более 30. В те времена эта цифра была внушительной. Каждому из них мы сохранили время и силы для дела. Такой роскоши здесь еще не было. А главное, пожалуй, в том, что для руководителей впервые появилась возможность влиять на течение событий в отдаленных уголках Чукотки. Теперь они знают, что случись непредвиденное с геологами в горах или морями во льдах, и уже не потребуется напряжения всех сил, как это было при спасении челюскинцев.

Вот когда все сделанное нами получило признание, как говорится, на высшем уровне. А предложенная мне самыми ответственными на Чукотке людьми — секретарем окружкома и председателем окрисполкома — защита была равносильна награде, и я гордился этим. Ведь добрые слова в горький час дороже всего.

Я почувствовал себя больным, к которому начинает возвращаться здоровье, и уже подумывал о том, что буду делать, когда окончательно встану на ноги.

В 1937 году на Чукотке существовало своего рода «двоевластие». Территориальные органы партии и Советской власти, руководившие всеми сферами жизни коренного населения, подчинялись Хабаровскому краю. В их ведение входили учреждения здравоохранения, образования, торговли, связи и денежного обращения.

Но на Чукотке действовали восемь полярных станций, две культбазы, несколько геологических экспедиций, морской порт, наша авиационная группа и, как самостоятельная единица, колония на острове Врангеля. Кроме того, в Анадыре был чукотский трест, объединяющий рыбоконсервный комбинат, оленесовхоз, угольные копи и торговую контору. Перечисленные предприятия подчинялись различным управлениям Главсевморпути, которые находились в Москве. А руководящим органом на месте был политотдел при чукотском тресте.

По сути дела, влияние политотдела так же, как и окружкома, распространялось на всю территорию Чукотки. Вот почему я обратился в политотдел за помощью в оформлении аварийного акта на погибшую машину.

Начальник политотдела Абрам Григорьевич Берестецкий приехал сюда в 1936 году. Ему минуло тридцать

два года, из которых половина прошла на активной комсомольской и партийной работе. Со второго курса института его вернули на партийную работу. Вначале он был инструктором Московского городского комитета партии, затем оказался в политуправлении Главсевморпути, и вот он в Арктике.

Образованный, широкомыслящий, он представлял собой новое поколение руководителей. Берестецкому не хватало житейской мудрости, человеческой теплоты и терпимости своего предшественника Н. Д. Щетинина. Зато он в избытке обладал динамичной энергией, я бы сказал, «столичной выделки».

Некрупный, быстрый, сноровистый, он говорил и действовал уверенно. Казалось, этот человек всегда знает, чего хочет, и задуманное выполняет, не боясь риска.

В первую же зиму Берестецкий совершил незаурядное путешествие. Едва овладев элементарными навыками погонщика собак, он отважился проехать на них все побережье от Анадыря до Певека и обратно. Пробыл в командировке четыре месяца и проехал четыре тысячи километров. У него было предостаточно шансов погибнуть в этой поездке, однако, всем на удивление, он уцелел. А я подумал: «Смелый как умелый!»

Такой характер мне импонировал, а равенство в возрасте и взаимная независимость положения позволили быстро перейти на «ты».

В помещении политотдела, кроме Берестецкого, я застал его помощника по комсомолу Воропаева. Увидев меня, Абрам Григорьевич поднялся и, протягивая руку, с язвительно шутливой интонацией произнес:

— А-а! Аварийщик пришел отчитываться!

— Абрам Григорьевич! Наши предки сперва здоровались.

— Извини, пожалуйста. Здравствуй! Здравствуй и не хворай!

— Вашими молитвами, как говорится, пока жив. А чтобы не хворать, я должен отчитаться за аварию. Акт нужно составить.

— Ну рассказывай, раб божий!

В конце разговора Берестецкий заключил:

— Основной принцип партийной работы — доверие к людям. Ты его заслужил, потому составь эту аварийную бумагу сам, а мы ее подпишем. Приходи к вечеру, а теперь скажи: есть у тебя еще самолеты?

— По два на каждого летчика, только на базе.
— Как думаешь выбраться отсюда?
— При помощи Катюхова. Он на Амгуэме.
— Где ты его посадишь?
— На Земле Гека. Больше нигде.
— Это нас не устраивает. Надо найти площадку ближе. Без оперативной связи с районами мы здесь как рыбы на берегу. Еще до твоего прилета эта проблема обсуждалась в окружке. Придется тебе заняться ею. То же скажет и Волковой.

В тот же день невольный свидетель нашей аварии Фишкин рассказал мне, что Воропаев серьезно расспрашивал его и Бовтуна об обстоятельствах, при которых произошла авария. По характеру вопросов я понял, что Воропаев выполнял поручение начальника политотдела.

Вечером при подписании аварийного акта я не утерпел и сказал Берестецкому:

— Давеча ты обласкал меня фразой о доверии и за моей спиной учинил проверку. Разве это дело — говорить одно, а поступать по-другому?

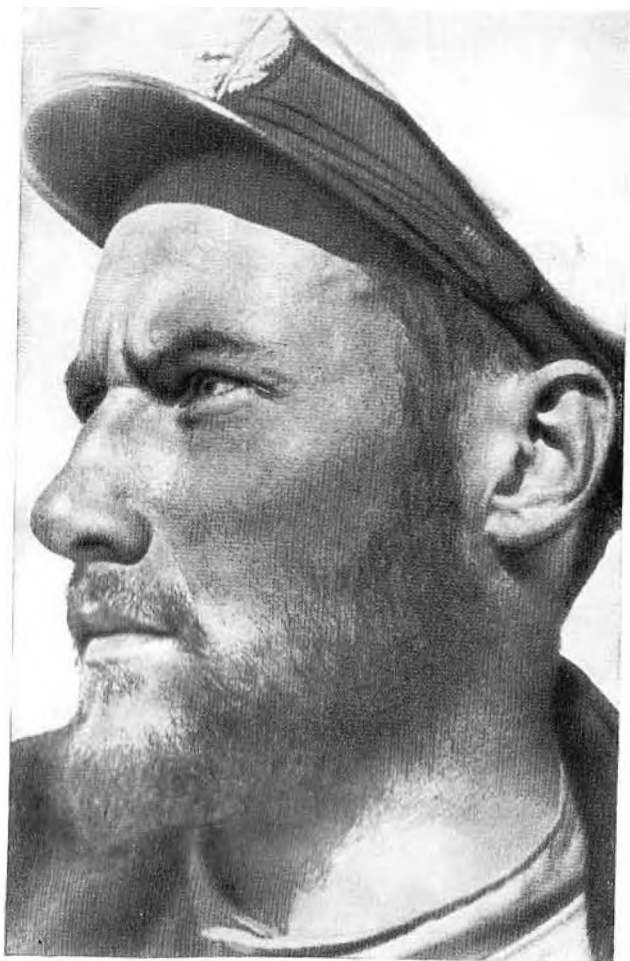
— Милый мой! Ты плохо слушал. Я действительно сказал, что главным принципом партийной работы является доверие к человеку, и это верно! Но в партийной практике имеются и другие принципы. Например, такой: доверяй, но проверяй. А теперь я со спокойной совестью подписываю документ, в истинности которого убежден.

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ БЕСПЕЧНОСТЬ

Я покидал политотдел, унося с собой, кроме неудовлетворенности, озабоченность: как же мне выбраться из ловушки, в которой оказался? Ведь летчик без самолета — что всадник без коня.

Мне было известно, что еще ни один самолет не садился на берегу Анадырского лимана. Вызвать гидросамолет? Я знал, что гидросамолеты есть на Камчатке и в Магадане. Но кто осмелится лететь две тысячи километров над белым безмолвием без радиосвязи?

Вероятно, единственный выход — принять самолет Катюхова. Но где? На Земле Гека, до которой можно добраться на катере за четыре часа? Но там нет радиостанции и, как мы убедились, в любую минуту площадку может закрыть туман. Он накачивается совершенно



Ардамацкий Игорь Леонидович. 1912 г.

«Есть трудная задача. Не всякий с ней справится», — сказал мне Отто Юльевич Шмидт. Я за нее взялся. В Уэлене я вступил в партию, а партия дала директиву освоить Арктику. Как же я мог отступить перед трудностями?» — так сказал двадцатитрехлетний начальник Наваринской зимовки. Рядовым добровольцем ленинградского ополчения он начал войну, а окончил ее капитаном, командиром батальона. После войны Ардамацкий снова работает в Арктике.



Волобуев
Георгий Николаевич.
1895—1936.

«Освоить эту богом забытую землю, проложить воздушные пути в стране, не знающей колеса, помочь геологам открыть Чукотку — все это геройские подвиги. И это сделаете вы!» — так сказал нам организатор и командир Чукотской авиагруппы Г. Н. Волобуев. Он первым летел через Анадырский хребет полярной ночью и погиб в борьбе со стихией. Его отвага вдохновляла нас, и мы выполнили его заветы.



Конкин
Евгений Михайлович.
1898—1965.

Участник революции, балтийский матрос, командир, он личным примером учил нас не бояться Арктики и всегда наставлял: «Всякое дело начинается с человека. Командир не имеет права руководствоваться личными симпатиями. Неспособные работать изо всех сил стремятся услужить, польстить — это приятно, но на этот крючок попадаться нельзя. Такие и дело завалят, и тебя утопят при первой возможности».



Белоусов Михаил Прокофьевич. 1904—1946.

Капитан комсомольского ледокола «Красин» во времена освоения Арктики. Звезда Героя и имя на линейном ледоколе — итог его короткой, но славной жизни.



Маслов Сергей Алексеевич. 1905—1969.

«Коммунист служит людям там, где потребует партия. Пошлет торговать — буду изучать дебет-кредит. Пошлет за границу — научусь улыбаться капиталистам. Но меня направили к чукчам. Значит, я должен понимать их язык».

Берестецкий Абрам Григорьевич. 1905—1961.

«Берегись судьбы, когда она расточает ласки!» — сказал мне тридцатилетний начальник Анадырского политотдела. Это было своевременным предупреждением.

Всю Великую Отечественную войну Берестецкий провел в разведке от командира взвода до командира батальона.





Сургучев Владимир Михайлович. 1910—1959. Летчик.

Островенко Дмитрий Филимонович. 1913 г. Бортмеханик.

Их любили все. За товарищество, за самоотверженность в работе, за оптимизм в самых трудных обстоятельствах.

Володя Сургучев умер рано, а Митя Островенко после Чукотки участвовал во многих полюсных экспедициях и дважды побывал в Антарктиде. До сих пор он работает инженером на Шереметьевском аэродроме. Вы сразу узнаете его по богатырскому росту и голосу, который не заглушит даже рев ракетных турбин.

Остроущенко Виктор Прокофьевич. 1910—1959.

Арктику покоряли люди, сильные духом, не сдающиеся в борьбе. Виктор Остроущенко тому наглядный пример. Его ночной бомбардировщик Ил-4 в дни войны посылали на цель последним, чтобы сфотографировать результаты удара дивизии. Каждый раз требовалось пройти сквозь строй прожекторных лучей и шквал зенитного огня, нацеленного на его одинокий самолет. Смелым везет. Боевое счастье сберегло отважного воина.





Катюхов
Георгий Иванович.
1906 г.

Крестьянский сын в России мог стать летчиком только при Советской власти. В таких, как он, нашел свое воплощение новый тип авиатора — землепроходца и открывателя воздушных путей там, где природа еще не слышала грома авиационного мотора. Три года на Чукотке проработал он и двадцать в Якутии.



Мохов Александр Иванович. 1907 г.

Каждый летчик был бы счастлив иметь за спиной такого механика, находчивого в преодолении трудностей, спокойного в минуты опасности. На фанерном Р-5 мы с Моховым доставили из Анадыря в Москву первого депутата Чукотки Тевляню на сессию Верховного Совета. После Чукотки Мохов — участник множества экспедиций и первой зимовки в Антарктиде в экипаже И. И. Черевичного. Александр Иванович Мохов — Герой Социалистического Труда.



Каминский М. Н.

«Мало сохранилось фотоснимков, запечатлевших меня в работе. Не то чтобы питал к фотографии отвращение — просто не придавал значения. И этот снимок 1936 года на фоне чукотской яранги, сделанный перед полетом на разведку, недавно мне подарил старый товарищ. Фото старое, тусклое, ретушированное, но оно правильно отображает состояние в тот момент. Я назвал бы его «Решимость».



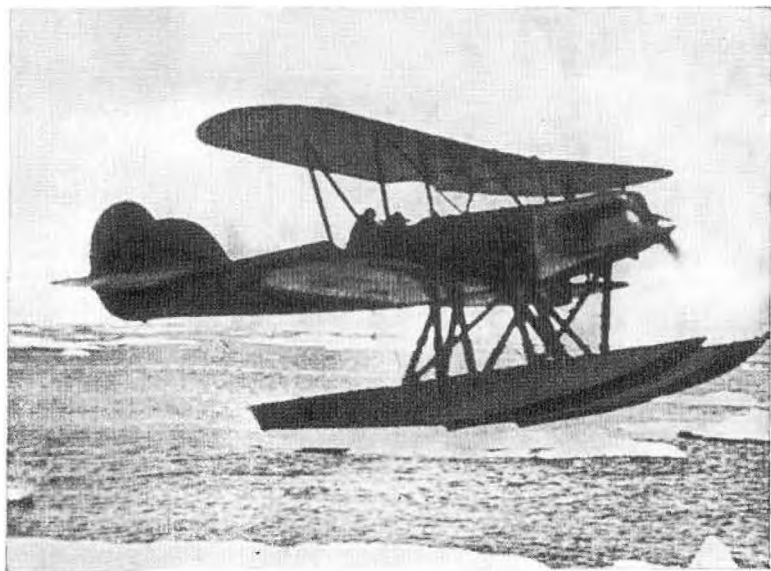
Они первыми «шагнули из яранги в небо» своей Родины. Вот их имена (слева направо): Толя Кеутуви, Гаврик Верещагин, Савва Шитиков, Дима Тымнетагин. Снимок сделал пятый летчик Гимоша Елков после выпуска из Тамбовского училища ГВФ в 1940 году. Он погиб на Ленинградском фронте. Этим юношей выучил летному делу русский летчик Михаил Томилин. Путевку в небо им подписал начальник полярной авиации, герой Северного полюса Илья Мазурок.

Тевлянто, 1905—1952.

Его судьбу тоже изменила Октябрьская революция. Первый грамотный чукча, Тевлянто окончил Институт народов Севера, стал видным общественным деятелем и первым депутатом своего народа в Верховном Совете СССР. В декабре 1937 года мы с ним испытали немало приключений, пока добрались из Анадыря в Москву на первую сессию Верховного Совета.



Этот исторический снимок сделан в конце августа 1932 года. За кадром восемь пароходов, застрявших в полынье у мыса Северного. Положение казалось отчаянным, во весь рост стояла проблема зимовки во льдах, а на кораблях плыли на Колыму полторы тысячи рабочих Дальстроя с женами и детьми. Все они с замиранием сердца смотрели на рискованный взлет Р-5 на поплавках, гадая, удастся ли летчику А. Ф. Берднику и капитану А. П. Бочеку найти проход каравану. Проход был найден, люди и грузы Дальстроя достигли Колымы, тяжелая зимовка была предотвращена.



Грацианский Алексей Николаевич. 1905 г.

Арктика посеребрила его волосы, наложила глубокие складки на лицо. Такими становятся полярные летчики, если судьба сбережет их до пенсии. Грацианский был одним из участников поисков Леваневского. Из Севастополя через всю страну он долетел до Аляски и летал на Север до глубокой осени. Он убедился, что вся техника того времени бессильна перед Полюсом недоступности, скрывшим тайну гибели экипажа Леваневского.

Славу и Звезду Героя А. Н. Грацианский получил за испытания первых тяжелых реактивных самолетов.





Кульпин Евгений Иванович.
1905 г.

Во многих обстоятельствах человек волен поступать так или иначе. И часто его решение предопределяет, будет ли счастливой его судьба. Но бывает и так, что выбора нет, как на войне. Или ты победишь несчастливые обстоятельства, или они раздавят в тебе человека. На моих глазах почетный полярник Кульпин прошел через это дважды.



Шамин Иван Григорьевич.
1908 г.

Этого рабочего парня на далекую зимовку привела комсомольская мобилизация. Арктика не испугала его, и он остался в ней до конца освоения.

Свою почетную карьеру полярника Иван Шамин начал рядовым, а окончил начальником труднейших экспедиций, искавших за Полярным кругом полезные ископаемые.



Мансуров Факир Абдулович.

1914 г.

Я встретил его мотористом авиазвена Дальстроя на берегу Омолона. Бывший детдомовец, студент факультета иностранных языков, профессию полярника предпочел карьере переводчика с английского. Бортмехаником полярной авиации он совершил героический поступок, спасая свой самолет в момент стихийного бедствия. В судьбе Мансурова проявилась та беззаветность, с какой советские люди смогли покорить суровую твердыню Заполярья.



А это моя семья. Первый снимок сделан перед выездом на Чукотку, а второй на мысе Северном. Там уже была дочь Женя, названная в честь моего командира Евгения Михайловича Конкина.



неожиданно даже в ясный день. Если это случится, то Катюхову не хватит бензина на возвращение в исходный пункт. Нет, рисковать машиной Катюхова нельзя. Что же делать?

К сожалению, ни единой полоски для У-2, хотя бы в 150 метров длиной, в районе окружного центра природа не сотворила. Воды сколько угодно — гидросамолетам раздолье. Когда замерзнет лиман, садись, пожалуйста, на лыжах, а вот приземлиться на колесах негде.

Мое внимание привлекла сопка, обнимающая поселок рыбокомбината с западной стороны. Ее длинный гребень как ножом срезан по горизонтали. Когда мы с Володией Сургучевым на нее забрались, то увидели полосу шириной от пятидесяти до ста метров и почти в километр длиной. Но она была сплошь покрыта крупными камнями с острыми гранями.

— Только нашим потомкам удастся сделать эту полосу пригодной для посадки самолета! — сказал я Сургучеву. Не особенно унывая, мы пошли на сопки, прилегающие к поселку с севера и востока. Но увы! Они тоже оказались непосадочны.

В болотных сапогах, в кожаном обмундировании, преследуемые тучей комаров, мы отшагали километров пять по каменистым увалам. Вконец измучившись, мы остановились перед распадком. За ним был последний и, казалось, вовсе безнадежный кусок необследованной территории. Надо было спуститься в лощину, потом подняться. Каких-нибудь восемьсот метров, но ноги отказывались повиноваться. Присаживаясь на валун, я сказал:

— Видно, не судьба нам отсюда вырваться, Владимир Михайлович!

— Да, похоже, мы пытаемся поймать рыбу на дереве! — отозвался Сургучев, опускаясь рядом.

С ненавистью я смотрел на распадок, который надо одолеть по гнусно чавкающим кочкам. В душу заползает тоскливое чувство безысходности. Вспомнилось ощущение беспечности, с какой я дал газ мотору, с будничным чувством ожидая того, что теперь представилось огромным счастьем. Счастьем подниматься в воздух. «Да как же ты смел привыкнуть к этому счастью! Как мог так легкомысленно потерять его? Теперь ходи, добывай снова. Ишь ты, устал! Не стоишь ты жалости».

Злость рывком подняла меня, и я побежал вниз,

прыгая с кочки на кочку. За спиной слышались чавканье и шлепки под ногами Сургучева.

— Какая это вас муха укусила? — тяжело дыша спросил Володя, когда мы поднялись вверх. Но тут же с радостно изменившейся интонацией, воскликнул: — Эврика! Здесь что-то есть!

Мы остановились, не веря своим глазам. Утверждать, что фортуна нам улыбнулась, было бы преувеличением. Но все же замерцала крохотная надежда. Тем более неожиданная, что склоны этой горюшки с ручейками, сочившимися из таявшей вечной мерзлоты, такого подарка не обещали.

Представьте себе, читатель, сопку высотой метро двести пятьдесят. Один ее бок скалой навис над водами лимана, образовав мыс, обозначенный на карте как мыс Обсервации. Вершина этой сопки, к нашему удивлению оказалась сложенной из плотной щебенки, поросшей травой. Образовалась очень симпатичная лысина диаметром в семьдесят метров. Правда, она имела пока во все стороны, и вообще о ней не стоило бы говорить, если бы к ней не примыкал со стороны поселка из такого же грунта спуск длиной около ста метров. Спуск довольно крутой и узкий, в конце его ширина была метр с двенадцать. Таким образом, в лысине и этом спуске при наличии фантазии можно было усмотреть площадку достаточную для посадки У-2, будь она горизонтально.

Сверху эта площадка напоминала своей формой грешу. Ее линия вначале довольно круто поднималась вверх, потом плавно загибалась книзу.

Посадка возможна только с одной стороны — с южной части площадки. Пробегая под углом вверх, самолет погасит скорость и остановится. Зато взлет будет затруднен, и нужную для отрыва скорость придется набирать на обратном склоне, который кончается обрывом. Нетрудно предвидеть, сколько нервного напряжения потребует этот взлет от любого летчика. Да только взлет? А если при посадке самолет не остановится на мучке и покатится под уклон? Лежать ему потом вместе с колесами на кочках.

«Нормальный» летчик не мог бы и подумать о посадке на вершине сопки. Но благодаря Виктору Богданову прошел высшую школу самообладания при посадке в горах, где, как правило, узенькая полоска заканчивалась либо речным обрывом, либо каменной стеной.

Опыт посадок в горах освоили и Сургучев с Катюховым. Поэтому Володя без всяких возражений долго кружил вместе со мной по лысине, прикидывая и так и этак.

— М-да! Теперь я представляю себе посадку на авианосец! — сказал он, когда мы, устав от лазания по скалам, а еще больше от необходимости принять трудное решение, присели на обрыв площадки. Поверхность лимана была неровной от внутреннего напряжения. Казалось, что плывут гигантские рыбы, обнажая то там, то здесь свои спины. Солнечный луч играл на их боках, разбрызгивая осколки света.

— Не дотянешь — плохо, промажешь — еще хуже! — раздумчиво продолжал Сургучев. — Тот, кто бережет свою шкуру от повреждений, здесь не сядет!

Я промолчал, не в силах оторвать взора от солнечных зайчиков. В глазах пестрило, начиналось легкое бездумное головокружение.

— Увидев такой «аэродром», Катюхов не захлебнется от восторга! — как сквозь сон, доносились до меня Володины слова.

С усилением потряхнув оцепенение, я включился в разговор:

— Слава богу, что нас не погубила привычка к хорошим аэродромам!

Незримые нити человеческих отношений, общность судеб и сегодняшних забот вели наши мысли по одной узенькой тропинке. Они шли, переплетаясь друг с другом, выжидая для решения, без которого нам не обойтись. Вспомнилась посадка возле «Урицкого». Тогда я мог принять решение единолично, как выразился Митя, «силой власти». Здесь у меня такой возможности не было, даже если бы я пожелал это сделать. Да я еще и не пришел к решению, которое могло явиться только в результате всестороннего анализа нашего опыта. К тому же на нашу с Володей психику давила авария. Оба понимали, что вторую допустить нельзя. Мы долго молчали, погруженные в раздумье. Когда Сургучев замолчал, в его голосе появились новые интонации:

— Ну что ж, командир! У нас нет выбора, я — за!

— Давайте освежим впечатления! — ответил я, поднимаясь и преодолевая ломоту в затекших ногах.

Еще раз просчитали шагами длину лысины, постояли на макушке, прикидывая величину обратного склона.

Я живо представил себя на месте Катюхова. Вот веду самолет на посадку, вот самолет на пробеге, почти останавливается, но, перевалив верхнюю точку, снова набирает скорость и устремляется к обрыву...

— В сущности, это не более опасно, чем посадкаazole «Урицкого». Все же суша, а не морская пучина. Здесь все зависит от нас. Я думаю, Жора справится с этой посадкой.

Володя давал понять, что готов разделить ответственность. А я, уже решившись, все тянул:

— К сожалению, Владимир Михайлович, инструкции не учат нас дерзости. Скорее наоборот.

— А жизнь заставляет не только уметь, но и не робеть! — как бы продолжил мою мысль Сургучев. Я посмотрел на его широкоскулое, освещенное милой улыбкой лицо и почувствовал в своей душе, истерзанной сомнениями, облегчение.

— Спасибо, Володя! Я ваш должник!

Не предполагал я, что через полчаса произнесу эти слова вторично с еще большим чувством. А произошло вот что. Мы сбежали с горушки и направились в поселок рыбокомбината. Наш путь лежал через пункт приема и переработки улова кеты. Он располагался на свободном участке берега бухты между плавбазой комбината и поселком. У самого уреза воды стояли грубо сколоченные столы с навесами от дождя и солнца. Около них работало до сотни девушек-сезонниц. На время пугины их вербуют в городах и селах Сибири и привозят первым пароходом. Когда начинается ход кеты на нерест, наступает для них время жаркой работы, которая за месяц дает сезонницам годовой заработок.

От Земли Гека, возле которой мы потерпели аварию, все время подходят кунгасы, загруженные только что пойманной рыбой. Двое рабочих корзинами выносят кету из кунгасов в ящики у разделочных столов. Работница берет рыбину, одним ударом отсекает ей голову, распарывает брюхо, икру сливает в особую посудину, внутренности в другую, а тушку, набив солью, укладывает в бочку.

Девчата работают шустро, на их работу приятно смотреть. Со всех столов собранная икра поступает в одно место, к мастеру по ее приготовлению. Всяк, кто в это время проходит мимо, может угоститься малосольной икрой. Мне лично такая только что вынутая из рыбы

икра не нравилась, но ценители почитали ее как первейший деликатес.

Подходя к рабочей площадке засолочного пункта, мы заметили что-то необычное. У столов пусто, а на берегу взволнованная толпа. Поспешив, мы протиснулись в середину и стали очевидцами жесточайшей драки. Схватились два парня на вид лет по двадцать пять. Очевидно, те рабочие, которые носили с кунгасов рыбу.

На наших глазах одному удалось повалить другого. Нашупав булыжник, верхний стал наносить удары противнику куда придется. Лежащий внизу, ища опоры, сучил ногами, свободной рукой отводил руку с булыжником, а зубами повис на плече обидчика. Озверевшие люди утратили человеческий облик, а омерзительное зрелище унижало и оглупляло присутствующих.

Горячей волной бросилась в голову кровь. Показалось на момент, что я ослеп от гнева, когда рванулся вперед. Видимо, в такие минуты прибавляются силы, и легкость, с какой я сорвал верхнего с извивающегося под ним парня, даже отрезвила меня. Я поколебался мгновение: просто оттащить или поставить на ноги это существо, к которому чувствовал только брезгливость. Но... «доброе дело не остается безнаказанным». Освободившийся вскочил, как подброшенный пружиной, выхватил из рук ближайшей работницы разделочный нож и метнулся ко мне. Удачно отведя руку с ножом, боксерским ударом в подбородок я отбросил нападавшего. Он упал, закатив глаза, и выпустил нож из ослабевшей руки. Я не заметил, когда поднялся и бросился на меня второй парень. Увидел уже, как Володя, перехватив его за воротник брезентовой робы, как котенка, швырнул и лишил. Сквернословя, разбрызгивая ногами воду, совсем рассвирепевший парень выбрался на твердую почву, схватил булыжину и так, пригнувшись, с занесенной для удара рукой, прыгнул на Сургучева. Мой глаз снова не уловил мгновения, в которое Володя перехватил метнувшуюся фигуру. Я увидел ее на весу в его руке. На этот раз, держа свободной рукой за борт кунгаса, он зашел в воду по колено и раз три-четыре окунул сквернослова, каждый раз придерживая его голову под водой. Потом вынес на берег, как соломинку, перегнул в поясе около левой руки, а правой с силой хлопал по спине, чтобы вылилась вода из легких. Все это Володя проделал молча, сосредоточенно, не раздражаясь, как необхо-

димую работу. Поставив на ноги, иронически-сочувственно проговорил:

— Ну как, не легче?

Плачущий от бессилия «пациент» издавал бессвязные звуки. Володя выпустил его из рук, и он упал, как мокрый мешок, из которого вытряхнули содержимое. Володя распрямился и подошел ко второму, с которого я уже не спускал глаз. Нежным голосом, как врач у постели больного, склонившись, он спросил с ехидцей:

— А тебе не надо помочь?

Еле пришедший в себя от моего «угощения» парень после вопроса Сургучева стал поспешно подниматься, подтягивая ноги и выискивая опору рукам. К нему подскочили две девушки (между прочим, довольно симпатичные!) и, поддерживая под руки, повели вдоль берега через расступившуюся толпу товаров.

Обернувшись к другому, мы увидели, что и тот не остался без заботливой опеки... Около него хлопотали трое.

Я нашел Берестецкого, коротко доложил о результатах поиска площадки и с возбуждением о происшествии на засолочном пункте.

— Я знаю этих ребят, — к моему удивлению, совершенно спокойно ответил Берестецкий. — Они завербовались, отбыв срок за злостное хулиганство с поножовщиной. Хорошо, что с тобой оказался Сургучев, а то не поздоровилось бы. Таких, к счастью, здесь немного. Меры примем, но отправлять на материк не станем. Какие ни на есть, но это наши люди, и где-то их надо перевоспитывать. Здесь они виднее, не потеряются. А девчата? Что ж, это тоже наследие, от которого никуда не денешься. Сибирь-матушка, она пока привычна к таким зверским отношениям. Не только революционеров, но и весь человеческий мусор: бандитов, убийц, воров — царизм сметал в ее просторы... Что ты хочешь, потребуются годы для выпрямления человеческого достоинства, и не только в Сибири...

Так уж заведено в авиации: что бы ни случилось с самолетом, летчик виноват всегда. Исключения бывают редко. Разве когда отвалится крыло или вдребезги разлетится мотор. И то всячески исследуется, не мог ли летчик предупредить и это. Такое положение естественно. Страна напрягала все силы, чтобы выйти из бедности и отсталости. Потеря столь дорогого орудия произ-

водства, как самолет, не могла списываться в убытки без оглядки на причины. А они всегда имели имя, отчество и фамилию. Чаще всего в составе летного экипажа. Чувство ответственности внедрялось в авиаторов со школьной скамьи.

На материке была бы образована комиссия из специалистов, и по ее заключению виновник был бы строго наказан. На Чукотке я был предоставлен суду собственной совести. И какими бы объективными ни представлялись мне обстоятельства аварии, чувство вины не покидало меня.

Разбор происшествия в экипаже представлялся мне необходимым и по другой причине. Если я, командир, промолчу, то положу начало круговой поруке. «Не судите меня — я не трону вас!» — вот как расценили бы товарищи.

Воспользуюсь случаем высказать некоторые суждения о моей профессии. Летчиком может стать каждый, кому позволяет здоровье. Однако в процессе работы в воздухе в человеке вырабатываются качества и внешние приметы, соответствующие особенностям ремесла. Резкие черты лица, внимательный взгляд, быстрая и точная реакция говорят о постоянной готовности к ответу на внешние раздражители. Короче говоря, человек уже отличается от того, каким он был до авиации. Его может раньше времени забраковать медкомиссия или против желания выпроводят на пенсию по возрасту, однако по приобретенным свойствам характера можно сказать, что летчик — это навсегда!

Авария — это огромная психическая травма. Особенно если после нее летчик не имеет моральной поддержки. Такую травму выносят не все. Немало примеров, когда летчик уже не может заставить себя подняться в воздух. А если и продолжает летать, то сразу видно, что боится упасть и на ровном месте. Это уже бывший летчик, и тут ничего не поделаешь. Задуманный разбор должен носить такой характер, чтобы пережитая угроза гибели не сломала бы моих товарищей. Митю я считал менее других причастным к аварии, знал, что он кривить душой не станет, потому разбор поручил провести ему.

— Летчики и штурман, — начал Митя со свирепым выражением лица, — на взлете ловили ворон и не увидели бревна. Уверовали, что им все нипочем, вплоть до посадок в полынье среди льдов. Мы погубили прекрасный

самолет из-за глупой беспечности. А я простить себе не могу, что клипербот и насос оказались в разных местах. Это могло нам стоить жизни.

— Митя верно сказал. Только дурацкое счастье оставило нас в живых. Вылетая, мы даже не предупредили катеристов, чтобы последили за нами до взлета. — Тон этих слов Сургучева показался жестким.

— На борту не было огнетушителя, — добавил Миша Малов. — Случись пожар — и на воде сгорели бы!

— В авиации самое опасное подразделение то, у которого нет происшествий. У нас их не было давно, и мы стали забывать, как гибнут люди. — Это высказал Морозов.

Я был уверен, что все выступавшие сказанное ими относили прежде всего на себя. Коллективное покаяние! Вот чем стал этот разбор. Однако каждое из названных упущений прежде всего мое командирское упущение. «Ничего не упустили, черти, и ничего не смягчили!» Я понимал, что самолюбие подобно нижнему белью, его надо иметь, но не обязательно показывать. Чтобы не заметили моего огорчения, я даже усилил критику в свой адрес, когда сказал:

— В гидроавиации встреча лодки с плавающими предметами явление нередкое, аварии практически неподсудны. Перед начальством я не бил бы себя в грудь и не кричал: «Я виноват, вяжите меня!» Но перед вами я чувствую себя виноватым больше всех. Однако вы не придали значения еще одному обстоятельству, быть может, решающему. Вот вы, Володя, вспомните, какой ветер был во время взлета?

Сургучев оглядел остальных, как бы ища поддержки, и пожал плечами.

— Нас так зажрали комары, что и мотор мы запустили бегом. А когда запустили, надо было сразу взлетать, а то перегреется... Никакого ветра я и не заметил.

— Ну если уж летчик не заметил, то с других спрашивать нечего.

Честно говоря, и я ответил бы так же, как Володя. А вот Иван Григорьевич Шамин оказался более наблюдательным. Он заметил, что штиля не было. Метра два, может быть, три в секунду, но поддувало в корму.

Ребята переглянулись, а Малов даже возмутился:

— Ерунда какая!

— Нет, Миша, не ерунда. Для лодки имеет значение

даже такая малость. Заметил, сколько бежали, а она так и не вышла на редан?!

— А жара-то какая, Михаил Николаевич! — встал Сургучев.

— Верно. Мощностъ мотора упала, вот и сложилось одно к одному.

— Но на топяк мы могли налететь и при правильном взлете?!

— Тоже верно, Миша. Могли. Но это не оправдывает меня, да и вас. Для себя я выводы сделаю, но и вы не стесняйтесь вовремя подсказать что нужно.

Потом, размышляя об аварии наедине с собой, я с удовлетворением отметил, что беда не вызвала паники и мои товарищи не утратили смелости. И правильно! Бдительность и расчетливость не должны делать из нас тех пуганных ворон, которые всякого куста боятся...

Очистив совесть на разборе, я посчитал необходимым побывать в окружке, тем более что Волковой сим знал. Вначале я зашел в окрисполком к Тевлянто. Увидев меня в дверях, он решительно сдвинул в сторону бумаги на столе и, поднимаясь, сказал:

— Сейчас пойдем ко мне, угощу омулем. Мария Федоровна у меня, сам знаешь, какая мастерица. Такой обед будет — закичаешься!

С председателем окрисполкома Тевлянто я познакомился год назад. Наши отношения были приятельскими. Я не раз был гостем Тевлянто, и это приглашение не было неожиданностью.

— Спасибо, Тевлянто! Только давай вперед дело сделаем, а потом пойдем к Марии Федоровне угощаться. Завтра-послезавтра я могу улететь, а Волковой просил обязательно познакомиться!

— Ну дело так дело. У меня тоже есть к тебе дело. Вот и поговорим у секретаря окружкома.

— Хорошо, что вы пришли. Садитесь, пожалуйста! — проинтервью Волковой, едва мы переступили порог его кабинета.

Секретарь окружкома был олицетворением радушия, и невольно подумалось о том, как меняются отношения людей в «процессе производства».

— В последние два года на Чукотку прибывают партиями целые отряды людей самых разных специальностей. Они меняют облик здешней жизни. Это хорошо! Но руководить этим процессом стало сложнее. Мы осо-

бенно остро чувствуем свою оторванность от работников на местах. Чтобы встретиться с секретарем Чаунского райкома, мне надо два месяца добираться до него случайными оказиями. Побывать в Островном и не мечтаю. На такую командировку потребуется полгода, не меньше. Догадываетесь, к чему я это говорю?

— Соображаю! Подбираетесь к самолетам.

— Вот именно. Еще два года назад мы не смели думать об этом. А теперь только радуемся, видя, как укореняется в нашей жизни авиация. На бюро окружкома мы решили просить вашей помощи...

— Филипп Клементьевич! В отряде всего три летчика, а спрос на самолеты велик: надо дежурить на побережье и проводить через льды пароходы; надо обслуживать геологов. Ежедневно я получаю просьбы, и все они неотложные.

— Дорогой наш командир! Год назад в отряде было пять летчиков, но, кроме мороки, округ от вас ничего не имел. А теперь вы трое делаете больше, чем можно было ожидать. Да и мы на первых порах удовольствуемся малым. Только бы знать, что при экстренной нужде можем без промедления послать отсюда человека.

— Самолеты у нас колесные, а в Анадыре нет подходящей площадки. Единственная на Земле Гека, да и она не очень-то пригодна.

— Об этом мы тоже говорили на бюро. Надо изыскать площадку поблизости. Это очень важно!

— Вчера нашли мы с Сургучевым на сопке мыса Обсервации площадку. Садиться на нее, прямо скажу, дело уголовное. Если завтра Катюхов не поломает самолет, будем считать пригодным этот «аэродром», но только на аварийный случай.

— Ну вот и хорошо. А теперь о главном. В декабре этого года состоятся первые выборы в Верховный Совет. Без вашей помощи нам никак не обойтись. Надо развезти уполномоченных, агитаторов, избирательные документы. Районы Усть-Белой, Маркова, залива Креста и, быть может, бухты Провидения мы сумеем обслужить сами, а вот северное побережье от Уэлена до Певека — тут уж придется поработать вам.

— Декабрь — это полярная ночь, Филипп Клементьевич. Это время самой плохой погоды. Мы будем стараться, но и вы учтите ограниченность возможностей. А сейчас, если не секрет, кого выдвигаете в депутаты?

Немного помедлив с ответом, Волковой кивнул на Тевлянто.

— Окружком выдвигает его.

На этом деловая часть разговора у Волкового закончилась. Я уже представил себе, что за испытания ждут нас в декабре. Рисковать придется, и не раз. А рискуя, очень важно знать, что ошибку не истолкуют как преступление...

Катюхов прилетел через два дня. Надо ли говорить, как мы все волновались в ожидании момента посадки! Сургучев и Митя, став на расстоянии друг от друга на макушке, обозначили ворота, в какие должен попасть самолет Катюхова. А я остался внизу, у места приземления. Сделав несколько кругов, Катюхов прошел брейюшим полетом над площадкой и снова стал набирать высоту. «Не иначе как осудил нашу «авантюру» и решил возвращаться в Оловянную», — подумал я. И даже почувствовал облегчение, что эта безумная посадка не будет сделана. Но нет, самолет стал планировать к земле, на этот раз он не снижался с высоты, а из долины подбирался к горушке снизу вверх, копируя «диаграмму», выписанную природой из камня. Точка приземления была ниже «ворот» метров на двенадцать, и было странно смотреть на самолет, направленный носом на склон горы. Видно, такой же страх испытывал и летчик. Не решившись сбросить газ, он снова ушел в высоту. Со второй попытки он все же преодолел себя и сел, чуть-чуть промазав. Самолет, миновав макушку, стал скатываться под уклон, в тундру. Хорошо, что Володя и Митя не растерялись и удержали его за крыло. Выключив мотор, Георгий Иванович вылез и, тяжело дыша, сказал:

— Ну и задали вы мне задачку!

— Величина подвига редко сознается в момент свершения! — восторженно отозвался Сургучев и на радостях так прихлипнул друга своей пятерней, что тот пригнулся.

— Извини, Георгий Иванович, у нас не было выбора! — повторил я мысль Сургучева. — Если не против, и попробую повторить посадку?

— Уж нет, Михаил Николаевич! — живо возразил Катюхов. — Рыбу плавать не учат. Сам хочу пристреляться, а то дураком себя чувствую.

Он тут же сделал два взлета и две посадки, убедив себя и нас в том, что «работать» можно. А хватит ли длины площадки для взлета загруженного самолета? Ответить на этот вопрос взялся я. Первый раз взлетел, имея на борту в качестве пассажира Катюхова как самого легкого из нас. Второй взлет сделал с Сургучевым. Оба раза самолет отрывался за пятнадцать метров от края лысины.

Какой же золотой самолет этот У-2, думал я. Неприхотливый, безотказный — одним словом, работяга! Спасибо тебе, дружище!

Еще через два дня Катюхов вывез нас из Анадыря, и в начале августа все летчики оказались в строю.

Не знаю, что оказало большее влияние — то ли донесение Берестецкого по своей линии, то ли заступничество Волкового и Тевлянто, но через две недели все стало ясно. Шевелев без слова упрека сообщил, что самолет Н-103 списан с баланса отряда, а мне предложил остаться на третью зимовку.

Эту депешу я получил, председательствуя на собрании партгруппы при полярной станции. Переслал ее присутствующему здесь Мите, и он, улыбнувшись, оттопырил от своего кулака большой палец.

На собрании отчитывался за годовую работу начальник полярной станции Шульц. Мы с Митей, не имея оснований ни ругать, ни хвалить докладчика, были в роли слушателей.

Собрание было недолгим, и мне больше запомнилось возвращение на базу. Мы с Митей шли не по короткой тропинке, а вдоль берега моря. Шли по гальке, мокрой от набегов небольшой и редкой волны. Нам нравилось убегать от пенного гребня и вновь спускаться к урезу воды до следующей прибойной волны. Мальчишество, конечно, но в некоторые моменты жизни в нем выражается избыток сил и готовность к их безрасчетной трате.

Стоял вечер полярного дня. Солнышко ушло под северный горизонт, просветлив небо над ним пепельной голубизной. Море было открыто, лишь вдалеке маячили отдельные, не растаявшие за лето льдины. У горизонта они сливались в сплошную белую линию. Над головой истаивали кучевые облака хорошей погоды. Шорох валь-

ки, всплески волны, попискивание куличков, добывающих себе неведомо какую пищу в прибрежной воде, создавали умиротворяющий звуковой фон. Он гармонировал с нашим душевным состоянием. Радиограмма Шелелева без слов говорила о признании сделанного нами за прошедшие две зимовки. Разговор начал Митя:

— Как бы мне хотелось остаться с тобой, но больше не могу. Впрочем, остался бы, если бы дело того требовало. Но сейчас ты вполне обойдешься без меня.

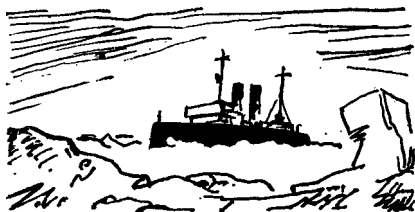
— Ты, Митя, говоришь так, будто знаешь, что я уже решил остаться?

— Если бы я тебя не знал, то не говорил бы. Здесь Таня, Сережка, любимая работа. Разве счастье в Москве? Для тебя оно здесь!

— Ты прав, я останусь. Я должен отработать гибель МБР-2.

— Неправильно ты говоришь, Миша! Конечно, долги платить надо, но главное для нас с тобой не в этом. Здесь мы получили то, что не у всех есть. Радость от того, что выкладываемся на работе, не жалеючи себя и ни на кого не оглядываясь. Понимаешь? Радость! От работы! Все имеют работу, но не все радуются ей. Откровенно говоря, я завидую тому, что ты остаешься. Во всяком случае, эти два года останутся в моей памяти как самые трудные и самые счастливые...

Так решился вопрос о моей третьей зимовке. И в том, в третьем году я не раз вспоминал своего философа Митю...



Глава четвертая

К ПОЛЮСУ НЕДОСТУПНОСТИ

ЗАГАДКА ГИБЕЛИ ЛЕВАНЕВСКОГО

В ночь с 13 на 14 августа меня разбудил начальник полярной станции Роберт Карлович Шульц.

— Пропал Леваневский!

— Как пропал? — Сон как рукой сняло, я вскочил с постели и стал поспешно одеваться.

Накануне стало известно, что вечером 12 августа Леваневский вылетел в Америку через Северный полюс. После ошеломившей мир посадки отряда Водопьянова на Северном полюсе и успешных перелетов Чкалова и Громова в Америку это сообщение уже не поразило своей необычностью, а мысль о возможной неудаче не приходила в голову.

— В тринадцать сорок по московскому времени Леваневский прошел полюс, — волнуясь, рассказывал Шульц, — в четырнадцать тридцать две сообщил, что крайний мотор вышел из строя. В семнадцать пятьдесят два наших радиста услышали его позывные «РЛ», вопрос «Как слышите?» и только одно слово: «Ждите». Прошло три часа — ни звука. Перехватили только это. — И Шульц протянул мне радиogramму Москвы:

«Ледокол «Красин» Дриго тчк Случае необходимости помощи самолету Леваневского немедленно следуйте авиабазу зпт принимайте борт самолеты тчк Дальнейшем получите указания тчк Шевелев».

Шульц смотрел на меня с тревогой и нетерпением, словно от моего ответа зависело, прозвучат ли в эфире позывные «РЛ».

— Как думаешь, — спросил он, — что это означает?

— Во всяком случае, ничего хорошего, — ответил я. — Для нас из Москвы что-нибудь есть?

— Пока нет. Радист не снимает наушников. Все время вызывает «РЛ».

Когда мы с Шульцем пришли на станцию, радист вручил мне радиogramму:

«Распоряжению Москвы «Красин» переходит в район вашей базы тчк Возможна погрузка ваших самолетов для помощи Леваневскому тчк Сообщите ваше мнение зпт что могло случиться тчк Дриго».

Смотрю на карту. За три часа, которые прошли с момента, когда Леваневский пролетел над полюсом, до последнего его сообщения, на трех моторах можно одолеть что-нибудь около шестисот километров. Об изменении маршрута Леваневский не сообщал, следовательно, вынужденная посадка могла произойти примерно на семьдесят третьем градусе, за полюсом, с нашей сторо-

ны. Отвечаю Дриго: «Полагаю Леваневский на вынужденной районе Полюса недоступности тчк Приступаю подготовке отряда к погрузке».

Так, волею судеб в Арктике вновь возникла драматическая ситуация. И вновь внимание всего мира было приковано к действиям авиаторов.

В радиорубке нас пятеро: дежурный радист, Шульц, я и два парторга станции. Старого, Евгения Ивановича Кульпина, я знал, а прибывшего ему на смену Сергея Алексеевича Маслова увидел впервые. Судя по его вопросам, Маслов в арктических делах был не искушен.

— А где это Полюс недоступности? Почему так называется?

— Потому, что никто к этому месту еще не добирался. Расстояние до него порядочное — не меньше полутора тысяч километров. Словом, так принято называть эту точку, равноудаленную от всех мест, где ступала нога человека.

— А пароход туда дойдет?

На правах старожила за меня ответил Кульпин:

— Пароходы, Сергей Алексеевич, даже у берегов не всегда проходят без ледокола. «Челюскин», как ты помнишь, утонул менее чем в ста километрах от Ванкарема. С Чукотским морем шутки плохи.

— Вот беда-то! — воскликнул Маслов. — Как же помочь Леваневскому?

— Я понимаю так, — стал рассуждать вслух Кульпин. — Ледокол заберет самолеты, завезет их как можно дальше во льды, а уже оттуда они полетят к Леваневскому.

— Евгений Иванович, очевидно, прав, — заметил я. — Иначе зачем же нам грузиться на ледокол? Но нынешние обстоятельства существенно отличаются от челюскинской эпопеи. У них в лагере был первокласснейший радист Кренкель, который даже из «ничего» способен собрать передатчик и приемник. У них была отличная связь с берегом. А у Леваневского со связью неблагополучно. Это раз. Во-вторых, челюскинцы находились близко, и даже в дурную погоду можно было отыскать их лагерь по сигнальным обозначениям. А где лагерь Леваневского — неизвестно. Кроме того, челюскинцев спасали весной, а сейчас на носу осень. Так что задача перед нами непростая...

Пока мы рассуждали, радист встрепнулся: «Нас зовут» — и перешел на прием. Все, кто был в радиорубке, столпились над ним, читая появлявшийся из-под его руки текст:

«Авиабазы Каминскому тчк Молния тчк Прибытием «Красина» немедленно грузите два Р-5 два У-2 зпт горючее зпт личный состав вашему усмотрению зпт указания последуют тчк Шевелев».

— Ну вот, братья славяне, гадания кончились, теперь ясно, что делать. Ухожу в отряд, — обратился я к Роберту Карловичу. — Если что будет новое, присылай!

Я шел в расположение отряда (от полярной станции это шесть километров), солнечные лучи били мне в глаза. Начинался один из последних дней арктического лета — тихий и почти ясный. Пахло морем, до слуха доносился шорох гальки, которую катал взад-вперед прибой. По заболоченным низинкам, попискивая, стайками бегали на своих длинных ножках кулички. Молодые выводки уже самостоятельно добывали пищу. Скоро зима выдворит их на юг. Задуют хмурые норд-весты и нагонят с севера льды. Прекратится этот живой плеск и шорох моря. Я смотрел на поблекшую рыжеватую тундру и думал: на что скучный пейзаж, а кажется чуть ли не родным! И тут же спохватился: о чем я? Ведь столько сейчас забот! Катюхов еще где-то в районе Амгуэмы, а его надо «вытащить» сюда. Надо разобрать и перевезти самолеты. А будет ли работать новый трактор?.. И вдруг понял, почему так остро воспринимаю это ласковое утро. Потому, что в подсознании все время мысль о Леваневском. Кому, как не мне, знать, что переживает его экипаж во льдах, даже если вынужденная посадка обошлась благополучно. Да обошлась ли? Я вздрогнул и, отогнав эту мысль, прибавил шаг. Пока намечал план действий, передо мною все время стояло худощавое лицо Сигизмунда Леваневского, каким оно запомнилось мне по прошлой годней встрече.

Дальнейшие события разворачивались с молниеносной быстротой. Двое суток без сна и отдыха мы разбирали и перевозили разобранные самолеты от ангара к месту погрузки, а затем на самодельном плоту из кунгасов доставили их под борт ледокола. Нам повезло. Трактор работал как часы.

Короче говоря, 17 августа четыре самолета и четырнадцать человек летного состава уже находились на корабле. К нам присоединился Евгений Иванович Кульпин. Два года он был парторгом полярной станции при Волобуеве, а после его гибели — при Шульце. Вместо положенного ему отпуска Москва назначила замполитом к капитану Белоусову на ледокол «Красин». Восемнадцатого «Красин» дал прощальный гудок и тронулся в неизвестность. К этому времени Москва уточнила задачу:

«Красин» Дриго Каминскому тчк Ваша задача пройти возможно севернее семьдесят четвертого градуса и возможно ближе меридиану Барроу тчк Там выбрать площадку на льду для старта самолетов тчк Авиаторам исследовать сектор между меридианами сто тридцатым и сто шестидесятым параллелью восемьдесят пятой и берегом тчк Прибытием «Красина» крайнюю точку зпт какой можно достигнуть зпт решите зпт надо ли создавать промежуточную базу на льду доставкой горючего самолетами тчк Вся операция требует быстроты зпт ежедневно докладывается правительству зпт рассчитываю на вас тчк Шмидт».

Мы понимали, что в эти дни и недели внимание всего цивилизованного мира приковано к поискам самолета Леваневского, как когда-то к спасению челюскинцев. От нашего стремления как можно лучше выполнить порученное, казалось, у ледокола прибавилось сил.

Но, увы, ни мощь ледокола, ни искусство и настойчивость его капитана не могли одолеть фронта сплоченных льдов перед семьдесят третьей параллелью. Ни единого солнечного дня! Мачты ледокола постоянно упирались в войлочное небо, из которого частенько сыпалась снежная крупа или ледяная изморозь. Временами туман и вовсе закрывал белый свет. И чаще всего в тумане тело корабля заклинивали льды, и машина, устав безрезультатно крутить ходовой винт, смолкала.

Вот оно где, настоящее-то «Белое Безмолвие»! — размышлял я, безуспешно пытаюсь рассмотреть линию горизонта. Как точно обозначил Джек Лондон эту гибельную пустыню. Сколько мужественных людей из века в

век пытались нести в нее отвагу человеческого разума! В этом районе мы впервые так далеко отошли от земной тверди. И это «далеко» всего лишь булавоочный укол слону, каким остается Центральный полярный бассейн. Где-то за тысячу километров от нас терпит бедствие экипаж Леваневского. Они во власти этой стихии. Сегодня помочь им не может вся техническая мощь человечества...

А моряки? Впервые я прочувствовал полной мерой героизм их будней. Они думают, что нам страшно летать. Нет, я не сменял бы свой «страх» на их корабельный «комфорт». Долгие месяцы быть не просто заключенным в этой железной коробке, а вместе с ней испытывать и штормы, и ледовые сжатия, сознавать, что под тобою пучина и любая внезапность тебя похоронит в ней, — нет, это не для меня! А ведь, кроме психологических, есть и физические напряжения. Каждый божий день в свою вахту надо мерзнуть и мокнуть, надо отдавать силу мышц и истощать нервные клетки. Это не считая авралов, особенно изнурительных в морях за Полярным кругом.

По многу часов проводил я с Белоусовым на капитанском мостике. Сумрачный и озабоченный, он упрямо прижимал ледокол к границе проходимости. Вырвавшись из очередной ловушки, отвечая своим мыслям, ворчал с досадой:

— Ни черта не дается!

— Кто?

— Семьдесят третья! За три навигации ни разу не прорвал ее. Словно заколдованная. Но раньше особой необходимости не было, а сейчас нужда берет за горло. Раньше я надеялся, а теперь вижу: не пробиться к хорошим полям. Безнадежно. Вот уже две недели плывем, а ни единого ровного местечка, будто черти плясали на этих льдах. Впрочем, стой! — Белоусов замер, пристально вглядываясь в даль. — Лево на борт тридцать! — последовала команда рулевому.

— Есть лево на борт тридцать!

— Так держать! Еще пять влево... Теперь держи вон на тот пятачок!

Минут через пятнадцать мы приблизились к этому «пятачку». Капитанский глаз не обманулся. В окружении торосов чудом сохранилась маленькая ледовая площадка, не изрытая проталинами. Хотя с мостика никаких сообщений команде не поступило, на палубе молниенос-

но собрались все свободные от вахты. Ликование от долгожданной находки было таким бурным, словно моряки увидели неведомую землю. Еще бы, совсем отчаялись — и вдруг что-то пригодное для самолетов!

— Где находимся, Прокофьич?

— Как раз там, где нужно, тезка! Миль на пятьсот к норду от Уэлена, на его меридиане.

Мой капитан возбужден, как охотник, увидевший цель для выстрела, ответил скороговоркой, не отнимая бинокля от глаз.

Льдинка оказалась крошечной. Круглая, действительно как пяточок, со всех сторон окаймленная торосами двухметровой высоты. Издалека, контрастируя своей белой с серым фоном, она представлялась большей, чем была на самом деле. 120 метров от одного гребня торосов до противоположного. Для взлета достаточно, для посадки маловато. На лыжах У-2 пробегает больше, чем на колесах. Но, вылетая, я не рассчитывал садиться на этот пяточок. Был уверен, что с воздуха найдем более крупное поле, пригодное и для Р-5, подведем к нему ледокол. 31 августа вдвоем с Белоусовым мы поднялись в серое небо над морем Бофора.

На высоте 250 метров мы летали сорок минут, опоясывая «Красин» кругами все большего радиуса. Видимость менялась от шести до десяти километров, линия горизонта еле угадывалась там, где серые облака смыкались с серой поверхностью льдов. Потом подсчитали, что осмотрели район площадью не менее 400 квадратных километров. Но увы! Нашим надеждам не было суждено осуществиться. Все без исключения ледяные поля за лето протаяли, превратились в буераки, создавшие безрадостно-серый фон.

Радио на самолете не было, зрительная связь оставалась единственной ниточкой между моим У-2 и оазисом жизни, оставшимся на «Красине». Не веря своим глазам, страстно желая найти площадку, я уходил на предел видимости, и ледокол превращался в черную точку. Сердце обрывалось, когда я терял ее среди других, какими издалека представлялись бесчисленные разводья. Стрелка компаса беспорядочно крутилась на своей оси, и я даже затруднялся определить по ней, где север, а где юг. Стоило снежному заряду при волне тумана оборвать «ниточку», и это стало бы катастрофой. Ведь в воздухе не остановишься, не переждешь... Однако не мог я допу-

стить у капитана мысли, что боюсь. Две недели он самоотверженно бился во льдах, а я был наблюдателем. Теперь моя очередь показать, что тоже умею работать на грани невозможного. И я удалялся все дальше и дальше, пока Белоусов не показал, что поиск безнадежен. Посадку делал на минимальной скорости, выключив мотор. Винт уперся в торосы.

Расстроенный Белоусов передал вахту старпому и, позвав меня, ушел в каюту. За обедом он выставил бутылку коньяка.

— Помянем нашу безвременно скончавшуюся надежду, — с горечью произнес капитан. — Если кто и поможет Сигизмунду, то не мы с тобой. И дай бог ему удачи... Увы, у людей бывают не только успехи и праздники. Так я надеялся на мощь ледокола, но, видно, выше себя не прыгнешь. Тяжко, браток, от бессилия перед ледовой крепостью. Единственно полезное, вынесенное нами из этих безотрадных дней — уверенность в том, что на востоке ходу в высокие широты нет. Полюс прикрыт надежно. Только вы, авиаторы, достигнете его, и то не сегодня. Твои Р-5 против полюса что стрелы пещерного человека против мамонта...

Судя по всему, наша неудача обескуражила и Шмидта. Отто Юльевич предложил пройти вдоль кромки сплоченных льдов до меридиана Барроу в расчете на то, что нам, быть может, удастся проникнуть севернее семьдесят третьей параллели. Мы последовали его совету. Шли почти все время в тумане, сбавляя ход «Красина» до малого. Временами мне казалось, что мы чуть ли не в потустороннем мире, так как не было видно ни земли, ни неба. Только капитан и его помощники знали, где мы находимся, куда продвигаемся. Но каждый из ста человек команды спокойно делал свое дело.

Машины корабля работали бесперебойно. То замедляя, то ускоряя ход, ледокол продирался сквозь мглу. Мой слух уже привык к непрерывному скрежету льда и ударам, сотрясавшим корпус.

Впервые я видел Арктику не с высоты полета.

Вблизи ее лик был особенно устрашающим. Каково же сейчас леваневцам в этом ледяном чистилище...

Пока мы продирались сквозь льды, к Аляске подходили самолеты Задкова и Грацианского. 2 сентября на полынью возле «Красина» села летающая лодка «дорнье», пилотируемая Задковым.

Утром следующего дня вместе с капитаном Белоусовым он провел первую разведку. Низкие облака, сомкнувшись с туманом, не позволили самолету вернуться к ледоколу, и двое суток экипаж «жил» на отдаленной полынье. Лед непрерывно двигался, смыкался, полынья меняла свою конфигурацию и размеры. Экипаж ежечасно запускал моторы, переруливая с места на место, уклоняясь от сжатия. Только 5 сентября удалось Задкову доставить капитана на его корабль.

Внезапно ударил мороз. Лодка обмерзла и не могла взлететь, чтобы вернуться к месту базирования на мыс Барроу. Три дня и три бессонные ночи продолжалась борьба со льдом, но самолет спасти не удалось. Льды раздавили его, как спичечную коробку, и он опустился на дно Ледовитого океана.

Разведка Задкова подтвердила наши наблюдения: ледяных полей, которые можно превратить в плавучие аэродромы, нет как нет. Нашему отряду было приказано вернуться на свою базу.

На мыс Барроу прилетел и Грацианский. Хотя его самолет был наиболее совершенным из летающих лодок американского производства, из-за плохой погоды пройти дальше семьдесят пятой параллели не удалось.

История полета экипажа Леваневского неоднократно описана многими авторами. Тем не менее судьба этого летчика долгие годы продолжала волновать советских людей. Неразгаданность обстоятельств и места гибели экипажа Леваневского порождала всякого рода домыслы и слухи. В годы войны мне самому пришлось слышать утверждение о том, что Леваневский не погиб, что его якобы спасли немцы и в сорок первом году заставили участвовать в налетах на Москву. Вздорность подобных утверждений очевидна.

Как один из участников операции по розыску и спасению экипажа Леваневского, могу свидетельствовать, что Советское правительство сделало все возможное.

До наступления полярной ночи со стороны архипелага Земли Франца-Иосифа поиски пропавшего самолета вели четыре мощных ТБ-3. С Аляски, кроме Задкова и Грацианского, на поиски летали американские летчики Маттерн, Кросмен, Робинс и Стюарт. Их полеты неподалеку от берегов Аляски пользы не принесли, и я об этом

упоминаю лишь потому, что они стоили немалых денег. Единственным из американцев, чье мужество заслуживает восхищения, оказался Губерт Вилкинс — известный исследователь американского сектора Арктики. На новейшей модели летающей лодки фирмы «Консолидейтед», покупка которой обошлась нашему правительству в 230 тысяч долларов (машина стоила этого, так как была способна держаться в воздухе 24 часа), Вилкинс достиг Полюса недоступности, но... за облаками. Погоды не было.

От тех дней нас отделяет более сорока лет. За это время неизмеримо выросли возможности авиации. Сегодня наши самолеты летают на большой высоте со скоростью, большей скорости звука, и преодолевают огромные расстояния. Постоянные авиалинии связали нашу страну с Американским континентом, но полеты через полюс были забыты надолго. Гибель Леваневского подтвердила, что кратчайший путь в Америку не является лучшим. А сама эта горестная утрата — закономерная дань предприятию, которое основывалось на героизме, не подкрепленном техническими возможностями. Многоместный самолет Болховитинова, на котором Леваневский вылетел в пробный рейс за океан с грузом почты, едва вылутился из чертежей и не был готов к тому, чего от него потребовали.

«Летать выше всех, дальше всех, быстрее всех!» — вот девиз той эпохи развития отечественной авиации, нравственная атмосфера нашей жизни в тридцатые годы.

Высокоширотный десант отряда Водопьянова был триумфальной победой над гордой своей недоступностью Арктикой. Блистательная на первый взгляд легкость, с какой совершили свой бросок через океан В. П. Чкалов и М. М. Громов, как будто укрепила мнение, что мятежный дух Севера окончательно сломлен. На волне успехов хотелось идти дальше — от рекордных перелетов к регулярному воздушному сообщению. И вот гибель Леваневского. Оказывается, быстрая победа иногда таит в себе зачатки поражения.

ЛЕДОКОЛ И ЕГО КАПИТАН

О походе «Красина» можно написать целую книгу. Мужество и самоотверженность советских моряков-полярников этого заслуживают. Думаю, что со временем

найдется человек, который напишет такую книгу. А пока это произойдет, читательское любопытство будет удовлетворяться разрозненными заметками, среди коих и мои размышления о красинцах.

Я считал и считаю, что на формирование характера того или иного коллектива огромное влияние оказывает нравственный облик его руководителя. От того, какими принципами руководствуется этот человек, на чем он основывает свои взаимоотношения с подчиненными, зависит в конечном счете гражданская зрелость коллектива. Начальник красинской экспедиции, коммунист с 1905 года, Федор Иванович Дриго для всех нас являл пример служения долгу. Этот высокий, несколько угловатый человек с крупными чертами не улыбочивого лица и широкой старообрядческой бородой на первый взгляд мог показаться суровым. Но я не помню, чтобы Федор Иванович когда-либо повысил голос.

Прежде чем принять какое-либо решение, он имел обыкновение советоваться с исполнителем его приказа. Что же касается самой формы отдачи приказа — неизменно вежливые обращения «прошу вас», — то для того времени она была необычной и вызывала желание исполнить приказ усердно, со старанием.

Сам Дриго не чурался никакой работы, скрупулезно вел всю переписку экспедиции, обходясь без секретаря, вышкал во все дела. Ему не приносили в каюту завтраков и обедов, как это заведено у некоторых начальников. Проснувшись, я всегда заставлял его на ногах, а спать он ложился позже всех.

Такая самодисциплина пожилого, заслуженного человека, к тому же начальника, незримым образом влияла на трудовой режим всех членов экспедиции.

Его уравновешенность, уважительность и приветливость располагали к доверию.

Не менее яркой личностью был капитан «Красина» Михаил Прокофьевич Белоусов.

Целый месяц я жил в его каюте и имел возможность наблюдать его со всех сторон. Равные по своему положению (он — на флоте, я — в авиации), ровесники по возрасту, мы обращались друг к другу по имени и были на «ты». В наших биографиях было много общего. И он и я были воспитанниками комсомола. Комсомолу мы обязаны инициативностью, умением отвечать за свои поступки, не бояться риска. И еще — жадностью к зна-

ниям и постоянной потребностью к активным действиям. Федора Ивановича Дриго, представлявшего поколение наших отцов, мы уважали, безропотно ему подчинялись, не скрывая своей зависти к его славному прошлому.

Наши биографии казались нам много прозаичнее, и своим преимуществом мы считали лишь молодость.

В 1935 году ЦК ВЛКСМ создал на ледоколе «Красин» комсомольский экипаж. Его капитаном стал тридцатилетний Михаил Белоусов, а комиссаром 24-летний инструктор ЦК ВЛКСМ Виталий Мещерин. В те годы «Красин» считался лидером немногочисленного ледокольного флота страны. Передача его в руки комсомольцев являлась актом высокого доверия и больших надежд руководства Главсевморпути.

Мое знакомство с Белоусовым состоялось заглазно осенью тридцать шестого, когда я проводил первую свою ледовую разведку в Чукотском море. «Красин» стоял, зажатый льдами, в районе мыса Шелагского, из его труб вился еле заметный дымок, а у берега, на ледяном поле, шло яростное сражение футболистов — комсомольского задора не остудили и полярные льды. Даже появление редкого в небе Чукотки самолета не прервало игры.

По моей просьбе бортрадист и механик Саша Мохов пригласил для переговоров капитана.

— Полетайте еще немного, — ответил судовой радист, — капитан стоит в воротах палубной команды. Тайм закончится через десять минут.

Но капитан, едя, что я кружусь над кораблем, пришел раньше.

— Привет, коллега! Капитан Белоусов у аппарата, чем обрадуете?

Не буду пересказывать нашего разговора, но уже в тот раз я почувствовал, что на «Красине» не боязливые кролики, а хозяева Арктики: на рожон не лезут, но и своего не упускают.

Спустя месяц мне пришлось вновь повстречаться с «Красиным», который выводил из льдов Чукотского моря караван, прошедший под руководством О. Ю. Шмидта Северным морским путем. Наша воздушная разведка оказалась ценной, и Отто Юльевич после выхода каравана из льдов поблагодарил нас. А от Белоусова я получил такую «записку» по радио: «Коллега! Коньячишко за мной. Буду рад встретиться».

И вот спустя год судьба уготовила нам эту встречу.

Правда, обстановка не располагала к радости, и нам обоим было не до «коньячишка». Устраивая меня в своей каюте, Белоусов сказал:

— Вот, тезка, твой диван, располагайся как дома. Если станет очень уж тошно, загляни в этот шкаф: там есть все, что надо. А мне сейчас нельзя...

Первую неделю мы встречались только на мостике. Не знаю, когда и где он спал, в каюту заходил только переодеться.

Плавание в незнакомом районе при наличии тяжелых льдов и вправду не оставляло места благодущию. Белоусов знал силу ледокола, но относился к ней бережно. Это я понял, совсем мало соображая в моряцких делах. В тумане он сбавлял ход до малого (на случай встречи с айсбергами), умело обходил ледовые поля, порой забираясь для лучшего обзора в «бочку» на мачте.

Поначалу я удивлялся, когда он с разгона бросал ледокол на поля, казавшиеся мне несокрушимыми, но, видя, как лед всякий раз после этого поддается, открывая нам путь в разводье, я понял, что, как и все другие, Белоусов владел секретами своей профессии. Наверное, думал я, он также удивился бы моей решимости произвести посадку на склоне горы, который заканчивается речным обрывом.

По-человечески же Белоусов поразил меня на мысе Барроу, куда нам пришлось зайти, чтобы выгрузить бензин для самолетов Задкова и Грацианского. На этом мысе расположились небольшой эскимосский поселок и колония американцев: радио- и метеостанция, школа, больница, молитвенный дом и фактория.

К моему удивлению, Белоусов вступил в переговоры с американцами на их родном языке.

Для авторитета нашей экспедиции было важно уже одно то, что советский полярный капитан мог разговаривать на языке той страны, куда пришел «Красин». Но надо было видеть, как держался при этом Белоусов! И откуда в нем эти подобающие послу солидность, деловитость и достоинство? Однако ему показалось, что одного этого недостаточно, и он решил показать широту русского национального характера. В тот же вечер Белоусов устроил для обитателей американской колонии на борту корабля прием, не забыв пригласить на него и эскимосов, чем подчеркнул особенность национальной политики своей страны.

На протяжении всего вечера к ледоколу подъезжали моторные лодки, и буквально все жители поселка, не исключая матерей с грудными младенцами, побывали в гостях на корабле, прибывшем из таинственного мира коммунистов.

Кают-компания комсостава и матросская столовая были набиты людьми, как коробки шпротами. На столах стояло все лучшее, что имелось на корабле. Возле капитана, сидевшего во главе стола, расположились самые влиятельные на мысе Барроу люди: мэр и он же заведующий радиостанцией мистер Морган, хозяин фактории мистер Чарльз Брауэр, с которым нам впоследствии пришлось иметь дело, а дальше — учителя, врач, священник и механик американской авиалинии. Произносились дружественные тосты с пожеланием успеха нашей экспедиции, и очень скоро установилась атмосфера, лишенная натянутости официальных приемов. Гости без стеснения пользовались русским хлебосольством и одаривали нас улыбками.

Наблюдая за Белоусовым, я гордился им и завидовал искусству, с каким он осуществлял этот прием, умело налаживая столь необходимые нам контакты с обитателями мыса Барроу. Радужный, внимательный и остроумный хозяин предстал перед нами, казалось бы, достаточно хорошо знавшими его людьми, в новом своем качестве — дипломатом, ни на минуту не забывающим, что он представляет свою великую страну.

Из гостей невольно обращали на себя внимание контрастностью внешности и поведения двое американцев. Один, пожилой, был угрюм и пил очень много. Его необщительность оттенялась заразительным весельем соотечественника — молодого человека с открытым, симпатичным лицом. Вот кто чувствовал себя как рыба в воде! Он произносил остроумные тосты, сам охотно отзывался на шутки, в общем, был, что называется, рубахой-парнем. Я попытался определить: кто же эти двое? Мэра и факторщика я уже знал в лицо, врачей и учителей разгадал сразу: они держались скромно, еле размочив свою чопорность. Стало быть, один из этих двоих — священник, другой — авиамеханик. Служителем культа, решил я, мог быть только угрюмый. И я решительно подсел к симпатичному парню, пытаюсь выразить на языке жестов и улыбок, как приятна встреча на мысе Барроу с собратом по профессии.

Сперва Белоусов улыбками поощрял мою инициативу, а когда дошло чуть ли не до объятий, вдруг вылил на меня ушат холодной воды:

— Ты что к попу привязался?

Я поперхнулся и изумленно уставился на капитана:

— А разве?..

— Вот тебе и «разве»! Попу здесь живется весело, а механику-то не очень. Он много лет летал, а состарившись, за кусок хлеба сидит в этой дыре, поджидая залетные самолеты. Ты и сам бы мог разобраться, поглядев на их руки, а не предупредил я тебя нарочно: впредь не поймаетесь на улыбки...

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! От огорчения я тотчас протрезвел и, стараясь «не потерять лица», стал отбавывать мало-помалу назад.

В жизни я часто встречал хороших людей, каждый из которых чем-то обогащал меня. Дриго с Белоусовым тоже каждый по-своему произвели на меня сильное впечатление.

Фанатичное самоотречение Дриго во имя долга от мелочей жизни вызывало глубокое к нему уважение. Однако жертвенность не может стать генеральной линией жизни каждого. Она удел немногих. Человек рожден для счастья, и отказ от земных радостей для него противоестествен. Конечно, люди признают те или иные заповеди подвижников, порой возводят их самих в ранг святых, но живут они по-своему, кто как может, повинуюсь зову естественных потребностей.

Белоусов не был ни подвижником, ни аскетом.

При своем среднем росте Белоусов выглядел крупным и сильным человеком. Русые волосы обрамляли открытое, симпатичное, мужественное лицо, с которого смотрели внимательные, дружелюбные глаза. Он был скуп в жестах, солиден и в то же время находчив и остроумен, как одессит. Говорил кратко и ясно. Тому, что говорил, верили. Авторитет его для команды был непререкаем, а сам он знал о каждом матросе все, что можно знать лишь в том случае, когда люди не прячут от тебя душу.

Однажды я задал Белоусову вопрос:

— Прокофийч, что такое, по твоему определению, авторитет?

Белоусов, хитро прищурившись, посмотрел на меня и по своему обыкновению подковырнул:

— Желаете теоретически подковаться? Если рабо-

тать не умеешь, а характер собачий, никакая теория не поможет. Ну а если по-серьезному, мне кажется, авторитетен тот, кому хотят подражать.

— Не согласен, — возразил я. — Мало ли бандитов и вообще всякой сволочи, которой подражают.

Белоусов помолчал, как бы собираясь с мыслями, а заговорил горячо, с большой убежденностью:

— Ну вот, скажем, ты — командир корабля. Твое приказание имеет силу закона. Но для личного авторитета этого недостаточно. Каждый моряк знает и меру опасности своей службы, и то, что от командира зависит самое главное — непосредственное его благополучие, сама жизнь, наконец. Кочегар или, скажем, палубный матрос не видит, как ты решаешь каждый отдельный вопрос, но очень быстро узнает, как ты справился со своим делом в той или иной ситуации. В зависимости от этого он или вполне доверяет тебе, зная, что ты не сделаешь промашки и найдешь выход из опасного положения, или тревожится, если в тебе не уверен.

А вообще, каждая черта характера капитана может или повышать, или понижать его акции. Справедливость, решительность, твердость в слове и даже скромность засчитываются в плюс. Суетливость, высокомерие, необъективность — в минус. Если злоупотребляешь спиртным или за тобой водятся грешки, так сказать, по женской линии — в глазах команды ты кое-что потерял. Если вне службы остаешься застегнутым на все пуговицы, изолируешься от товарищеского общения — тоже минус. А если ты не желаешь или не способен понять беду или переживания подчиненного, не поможешь или не хочешь поддержать его, когда требуется, — сразу три минуса. И так далее. Причем сказанное далеко не исчерпывает всего того, чем определяется авторитет командира. Я уже не говорю о преданности Родине и тому подобном, что само собой разумеется. И еще одно. Уж коли завоевал авторитет, старайся его удержать. Для этого необходимо все время чувствовать пульс команды. А это возможно лишь в том случае, если ты чувствуешь пульс каждого члена команды.

— Вот ты спрашивал одного матроса о математике. А это к чему?

— А разве ты не заметил, что у нас почти все учатся? — вопросом на вопрос ответил мне Белоусов. — С первого похода так повелось по инициативе Виталия

Дмитриевича Мещерина. Техникум мы у себя организовали. Преподаем сами — я и мои помощники, кто что может. Не отрываясь от службы, ребята получают общее и специальное образование. Перспектива — это, знаешь ли, великое дело! Третий год нашему техникуму. Я испытываю большую радость при мысли, что некоторые товарищи по возвращении из похода смогут сдать экзамены и получить дипломы. Вот увидишь, выйдут из нашей команды и капитаны, и инженеры Советского флота...

Я заметил, что Белоусов частенько обедает не в кают-компании, где у него, как принято на флоте, было неприкосновенное капитанское место, а с матросами. Оказалось, и в матросской столовой для него держали место, которое никогда никто не занимал.

— Кстати, Прокофьич, — поинтересовался я, — почему ты нет-нет да обедаешь с матросами?

— Мои обеды с матросами — это нечто вроде приема по личным вопросам, которые проводят умные руководители. Обстановка неслужебная, каждый спрашивает или говорит что бог на душу положит. Вот я и ориентируюсь, в чем нуждаются люди и каково их настроение...

Обаяние личности М. П. Белоусова столь велико, а фактов и наблюдений, которыми я располагаю, так много, что они могут увести меня далеко за рамки поставленной задачи. Поэтому свой рассказ о нем я вынужден ограничить изложением лишь самого необходимого для понимания, на мой взгляд, того, что принято называть партийностью применительно к каждодневной работе капитана арктического флота.

Как-то не очень давно мы с бывшим инструктором ЦК ВЛКСМ на ледоколе «Красин» Виталием Дмитриевичем Мещериным, в свое время немало потрудившимся над сплочением комсомольского экипажа, попытались проследить жизненный путь членов команды прославленного ледокола и с радостью убедились, что сбылись самые смелые мечты Белоусова. Его когда-то «безусый» экипаж дал флоту 14 капитанов, 20 старших механиков и руководителей технических служб, 6 первых помощников и партийных работников.

Двое из помощников Белоусова — А. Г. Ефремов и К. С. Бадигин — удостоены звания Героя Советского Союза. Бадигин плавает до сих пор, пишет книги, он член Союза советских писателей. Старший помощник М. В. Готский до последнего своего часа не покидал ка-

питанского мостика, и его имя присвоено одному из линейных ледоколов.

Вероятно, и на других кораблях матросы выходили в капитанов и инженеров. Но история флота не знает другого такого случая, когда бы почти все члены команды, получив среднее и высшее техническое образование, занимали командные посты. За одно это капитан Белоусов и его комиссар Мешерин, по моему мнению, достойны самой высокой награды.

После ряда выдающихся походов на «Красине» Белоусова назначили командиром флагманского ледокола «И. Сталин», позднее переименованного в «Сибирь». На этом ледоколе Белоусов в 1939 году совершил первый двойной рейс за одну навигацию из Мурманска в Берингово море и обратно. А год спустя в полярную ночь вывел из трехгодичного дрейфа, осуществленного бывшими его помощниками Бадигиным и Ефремовым, ледокольный пароход «Георгий Седов». После этого грудь Белоусова украсила Звезда Героя Советского Союза.

Меня восхищало в Белоусове многое. Но в ту пору я еще не был способен разглядеть в нем то главное, что выдвинуло его потом в первую шеренгу советских полярников. Чтобы верно оценить человека, нужно, на мой взгляд, отойти на какую-то временную дистанцию. Теперь я могу с уверенностью сказать, что в историю освоения Арктики Белоусов вошел не только благодаря своим доблестным походам, а и потому, что вырастил многих отличных людей.

Говорят, коллектив создает из человека личность. Из общения с Белоусовым я вынес убеждение, что личность тоже формирует коллектив по своему подобию. И жизнь подтверждает это. Хорош руководитель в том или ином колхозе, совхозе, на предприятии — дела идут отменно. А в колхозе, что рядом, дела намного хуже. Почему? Часто мы ищем причину этого в объективных условиях. А она прежде всего в личности руководителя, в его желании и умении понимать и поднимать людей. Это, как никто другой, умел делать капитан Белоусов. Он прожил чуть более сорока лет, промелькнув на арктическом небосклоне яркой звездой. Его имя по праву носит один из линейных ледоколов. Думается, что найдется писатель, который напишет книгу об этом замечательном человеке, каждый день жизни которого являл собой пример того, каким должен быть коммунист.

В 1971 году в одночасье умер комсомольский комиссар «Красина» В. Д. Мещерин. Это освобождает меня от данного ему слова. Дело в том, что при рассмотрении списка красинцев и их последующих судеб Виталий Дмитриевич поведал мне одну историю, которую до своей смерти он не хотел бы разглашать. «Я в числе тех, кто дал клятву, пока живы, об этом никому ни звука». Так он мне сказал. Тогда я с ним не согласился и получил разрешение сына и жены на публикацию, однако из уважения к клятве Мещерина воздержался.

Публикация нижеизложенного, буквального рассказа Мещерина мне представляется важной. Но пусть читатель судит сам.

Рассказ В. Д. Мещерина:

«В тридцать седьмом, находясь в плавании, я получил шифровку из Москвы, предлагавшую мне подготовить Белоусова к известию о большом несчастье дома. Я думал-думал, как это сделать, и решил, что Михаил Прокофьевич человек сильный — справится. Пришел к нему в каюту, выложил шифровку и говорю:

— Не знаю, как выполнить такое задание. Давайте вместе подумаем.

К моему удивлению, Михаил Прокофьевич принял это известие спокойно и только сказал: «Я так и знал». Сказал, как будто чувствовал за собой вину. Дело было в два часа ночи, запили мы с ним эту неприятность парой рюмок, и я ушел спать. В пять утра меня будит вахтенный и говорит, что капитан бушует в кочегарке. Я в штаны и бегом. К моему появлению боцман Москаленко овладел положением и уже ведет присмирившего Белоусова наверх, в свою каюту. Вижу его в халате, как оставил перед отходом ко сну, и в невменяемом состоянии. Уложили его спать, а я выясняю, что произошло.

Оказалось, что внешнее спокойствие Белоусова обмануло меня. Горе он принял тяжело и, когда я ушел, пытался утопить его в вине. Чтобы ему дойти до такого состояния, надо было выпить много. Он уже начал терять сознание, когда к нему пришел один из наших кочегаров.

Надо заметить, что каюты у нас не запирались, и даже ключи от них находились у старпома. На ночь двери всех кают оставались приоткрытыми, а чтобы не хлопали при качке, то держались на длинном крючке. Заведя

эту традицию «открытых дверей», Михаил Прокофьевич сам свято ее соблюдал. И в этом случае дверь оказалась приоткрытой на длину крючка, что позволило кочегару «оценить обстановку» и разрешить свой вопрос, пока капитан «веселый».

Кочегар просил походатайствовать об улучшении своего жилищного положения во Владивостоке. Белоусов ответил, что обязательно это сделает по прибытии в порт. Кочегар таким обещанием не удовлетворился и в игривом тоне попрекнул: «Сам получил квартиру в Москве, а о нас не беспокоишься».

На фоне несчастья, которое в нетрезвой голове приобрело фантастические размеры, все остальное казалось Белоусову такой мелочью, которая не стоила попрека. Рано или поздно по тому или иному поводу взрывается каждый. При всей железной выдержке Белоусова такой миг настал и для его возбужденной психики:

— К черту! Да могу же я побыть один наконец!

Белоусов вскочил разъяренный и невиданно страшный. Кочегар испугался и бежать. А бегство пробуждает инстинкт преследования. Короче говоря, матрос в кочегарку, Белоусов — за ним, пока боцман Москаленко и старший механик Бондик прекратили погоню.

Пьяный капитан гоняется по кораблю за матросом! Скандал! Я не мог глаз сомкнуть, не представляя, как поступить в таких чрезвычайных обстоятельствах. А команда гудит как потревоженный улей. Проснулся Белоусов часов в одиннадцать и вызывает меня:

— Расскажи, что я натворил?

После моего рассказа попросил оставить одного:

— Буду думать!

Через полчаса зовет и заявляет: «После этого оставаться капитаном не имею права. Собирай коммунистов, буду отвечать перед ними!»

В экипаже двадцать восемь коммунистов. Собрались в моей каюте, голова к голове. Выступили все до единого. Ни один не смягчал и не оправдывал. Белоусов сидел, опустив голову, бледный, не возражал и только вздрагивал от наиболее сильных слов. В заключительном слове признал все упреки справедливыми и сказал, что не считает себя вправе оставаться командиром. Решили предоставить каждому определить это наедине со своей совестью, а итоги подвести тайным голосованием. Заготовили двадцать семь записок, на которых написали

«да» и «нет». Кто за то, чтобы Белоусов оставался капитаном, должен оставить «да», вычеркнув «нет».

Посчитали бюллетени и сами удивились — все двадцать семь оставили «да». Тогда стали думать, как же все-таки наказать за такой проступок. Постановили, что Белоусов должен извиниться перед каждым членом экипажа персонально. Протокол уничтожить, нигде ничего не записывать, начальству не докладывать, тайну эту не разглашать.

И вот три часа я ходил с Белоусовым по всем рабочим местам. Подходим к каждому, и он говорит: «Ты слышал, что я натворил?» — «Ну как же, Михаил Прокофьевич, нехорошо получилось!» — «Ну так вот, извини, пожалуйста, больше этого не будет!» Обменивались рукопожатием и шли к следующему.

Прошло тридцать лет, и тебе первому я рассказываю об этом факте. Много раз имел возможность убедиться, что экипаж свято хранил эту тайну Белоусова».

ВИЗИТ НА АЛЯСКУ

Во время похода на «Красные» мне впервые довелось ступить на землю Американского континента. Через Берингов пролив из Уэлена я не раз видел его издалека. Эта чужая земля невольно притягивала взор, заставляла работать воображение, вызывала в памяти уже известное о ней.

Аляска... Легендарная земля, открытая нашими славными предками. Полтора миллиона квадратных километров. Вдвое больше Чукотки, втрое больше Франции. Многие десятилетия русские управляли ею, мирно уживаясь с аборигенами — эскимосами, алеутами, индейцами. В 1867 году царское правительство продало эту территорию Соединенным Штатам Америки за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Американцы ругали своего президента Тафта за то, что тот отвалил такую колоссальную сумму «за кучу обледенелых скал», но минуло менее тридцати лет, и золото Клондайк многократно оправдало покупку. Клондайк дал не только золото. Он вызвал к жизни «Северные рассказы» Джека Лондона — этот гимн мужеству и упорству человека за Полярным кругом...

Романтика Джека Лондона оказала большое влияние на формирование моего характера. Лишь в зрелые

годы я понял, что смелость, мужество, воля — качества, очень нужные человеку, — хороши не сами по себе, а в зависимости от того, какой цели служат. Полагаю, что Джек Лондон помимо желания придал благородный облик алчности и стяжательству. Сильные выживают, слабые гибнут! Таков главный мотив его «Северных рассказов», правдиво отображающих мир, в котором жил писатель.

На мыс Барроу «Красин» заходил дважды. Мы были там день 27 августа и трое суток с 7 по 10 сентября. У меня остались записи о пребывании на Аляске. Вот они:

27 августа. Утро. Десять дней пути и более тысячи километров по прямой отделяют нас от базы. Ледовых площадок для полетов к лагерю Леваневского не обнаружили. Возникла идея высадить отряд на одном из островов Канадского архипелага. С семьдесят шестой широты наши Р-5 смогут дотянуться до Полюса недоступности. Будем запрашивать Москву.

Сегодня зашли ненадолго на мыс Барроу, чтобы оставить бензин Задкову.

Вечер. Ну вот походил по земле Джека Лондона. Золотом здесь и не пахнет, но американцы обосновались прочно и с комфортом.

Прибытие советского корабля на американскую зимовку здешние власти рассматривают как выдающееся событие. На пристани толпа. Капитана встретил мэр, здоровый и сильный мужчина с приятным лицом, лет сорока. Фамилия Морган. Похоже, у американцев эта фамилия распространена столь же широко, как Иванов у русских.

Мистер Морган на пристани разговаривать не стал, пригласил нас в свой, как он выразился, оффис и показал на отдельно стоящий на пригорке двухэтажный дом.

А небо к нам немилостиво, закрыто низко висящими облаками, из которых сыплется нудная морось. Хорошо, что не пришлось шлепать по грязи. От самой гальки, где берет начало набухшая водой торфянистая тундра, к домику мэра ведет деревянный тротуар. Это не просто горбыли, брошенные в грязь, а действительно по всем правилам проложенный тротуар. Бруски уложены по шнуру, поперек их прибиты аккуратно нарезанные тесинки. Встречные свободно разойдутся. Так, не испачкав ног,

подошли к офису, возле которого высятся радиомачты. Выяснилось, что должность мэра — это почетная общественная нагрузка руководителя правительственной радиостанции.

Я немало помучился, благоустраивая свою базу, потому осмотрел дом американцев с особой заинтересованностью. Размер дома примерно девять на девять. Обит он вагонной доской и выкрашен в голубой цвет. Черт те что! Явное нарушение полярной традиции. Этот дом меньше всего похож на северное жилище — дачный коттедж! Даже окна без переплетов и остеклены цельным куском. Тротуар около дома шире, с обеих сторон охватывает его кольцом.

Хозяин — сама любезность. Открыл дверь, пропустил нас вперед.

Мы оказались в просторной (не менее восемнадцати метров) комнате, во всю длину разделенной барьером с широкой полкой, на которой посетители пишут свои радиогаммы. По ту сторону барьера — обыкновенный канцелярский стол со стопками разноцветных бланков и стул. Панель управления приемопередающей станции почти во всю стену, под ней на откидной доске пристроена пишущая машинка. Радист принимает текст радиогаммы прямо на машинку. Удобно и быстро!

Неподалеку от входа переносная печка с трубой, выведенной во внутреннюю стену. Облицована каким-то металлом. Пока капитан «Красина» разговаривал с Морганом, я взглянул в топку: внутри выложена огнеупорным кирпичом. Над печкой — решетка с бортиками для сушки вещей. Можно поставить на решетку валенки, и они не сгорят. Можно повесить носки и рукавицы. Труба печки тоже из блестящего вороненого металла с мягкими гофрированными изгибами. Явно заводского изготовления. Хм! Даже печные трубы везут с материка!

Переговоры Белоусова оказались недолгими. Пограничные формальности здесь, видимо, не строгие. Знакомство с мэром завершилось тем, что он любезно показал нам свой дом сверху донизу. Вначале провел в примыкающую к офису заднюю комнату. Здесь размещается механическая мастерская. Я бросил взгляд на стенку, к которой крепились панели приборов. Все приемники, передатчики и прочее оборудование с этой стороны были открыты. Их легко снять, если необходим ремонт или замена.

Мастерская поменьше офиса. Вдоль ее стен стеллажи с инструментами. Скорее даже не стеллажи, а продуманно сконструированные секции, в которых размещены подобранные по роду работ инструменты: молотки, напильники, съёмники, ключи — каждый в своей секции, в своем гнезде, от большого размера до малого. Ко всему здесь находится верстак с тисками, сверлилкой и настольным токарным станком.

Мистер Морган показывал свое хозяйство с явной гордостью, видимо желая «утереть нос русским мужикам». Мы делали вид, что нас его хозяйство нисколько не удивляет. Но многое нам полезно было бы перенять. Когда закончили осмотр мастерской, я спросил хозяина, где у него аккумуляторы и зарядный агрегат. Он молча открыл замаскированную дверцу в задней стене, которая вела в пристройку площадью примерно два метра на три. Там и размещалось это хозяйство.

Вернувшись в первую комнату, Морган нажал кнопку около пишущей машинки, и движок в пристройке заработал. Это новшество особенно заинтересовало меня.

Сколько раз приходилось мне наблюдать, как механики полярных станций подолгу крутят рукоятку, чтобы запустить свои Л-3. Да что там полярные станции! Даже мы, авиаторы, и то еще не имеем механических стартеров. До прошлого года запускали моторы с помощью амортизаторов, надетых на винт.

Я спросил:

— Кто выполняет обязанности механика?

Мистер Морган ткнул себя в грудь. А метеоролога? Вторичный тычок в грудь.

Это побудило меня к дальнейшим расспросам. И вот что я услышал в ответ.

Радист обязан эксплуатировать движок, не нарушая пломб, повешенных на его агрегатах. Фирма гарантирует безаварийную работу движка на протяжении пяти тысяч часов. После этого в работу вступает резервный движок, а основной отправляется на ремонт, который производится на заводе. Таким образом, обязанности механика сведены к минимуму: своевременно доливать бензин и масло, доливать и заряжать по мере надобности аккумуляторы. Далее выяснилось, что метеодокументация у американцев проще нашей и затруднений не представляет. Вести это хозяйство мистеру Моргану помогает жена.

Я не удержался от вопроса о зарплате. Собеседник

ответил, что получает ежемесячно четыреста долларов и ежегодно награжденные.

По просьбе Белоусова нам были показаны жилые комнаты. Две из них, столовая и кухня, помещались на первом этаже. Обстановку столовой составляли полированный стол и восемь гнутых венских стульев с плетеным сиденьем. Я не ожидал увидеть такой гарнитур на семьдесят первой параллели. Еще здесь находилось пианино, удивившее меня не само по себе, а тем, что на его блестящей лаковой поверхности не было ни единой царапины. А ведь привезли его сюда издалека! Весь «святой угол» был занят ступенчатым стеллажом, на котором стояли горшки с цветущими растениями. Такого количества зелени в жилище человека за Полярным кругом мне встречать не приходилось.

На кухне мы увидели точную копию мастерской, только, естественно, другого назначения. Те же полки-секции, где посуда расставлена строго по размеру. На отдельной полочке выстроились в ряд рифленые стеклянные емкости для отмеривания крупы, муки, сахарного песка и не знаю уж чего еще. А весь набор завершали малюсенькие черпачки для соли и перца.

Украшением кухни являлась белая эмалированная плита.

Под лестницей, ведущей на второй этаж, была ванная комната.

На втором этаже — четыре спальные комнаты. Одна для хозяев, по одной для каждого из детей и резервная — для гостей.

На этом первое знакомство с зимовкой американцев закончилось, и мы пошли к ожидавшему нас катеру, обмениваясь впечатлениями. Белоусов сказал:

— Обогнали нас американские буржуи в смысле комфорта.

— У них одна зимовка на всю Аляску, а нас только на Чукотке одиннадцать, а во всей Арктике — больше сорока, — как бы в утешение отозвался Федор Иванович Дриго.

— Именно поэтому нам и следует беспокоиться о том, чтобы не в ущерб удобствам содержание их обходилось дешевле, — возразил Белоусов. — На самой маленькой зимовке у нас три человека, а кое-где и четвертый — повар. А тут один. Он тебе и жнец, и швец, и на дуде игрец. Наши отбывают «повинность», ведя холос-

тяцкий образ жизни год-другой, а этот живет со всей семьей десять лет и уезжать отсюда не собирается. Получает четыреста долларов. Вот ты, — обратился ко мне Белоусов, — живешь на зимовке не первый год, как ты думаешь?

— Мой командирский оклад тысяча двести рублей. Я уже выслужил сто процентов надбавок плюс за налет, бесплатное питание и обмундирование. Всего получается около четырех тысяч рублей. Специалист, обязанности которого выполняет Браун, у нас получает примерно столько же, но оборудование наших зимовок пока не позволяет одному человеку успешно работать за троих. Я согласен с твоими суждениями, но лично меня больше всего поразило техническое оснащение зимовки. И организация дела. Ведь это надо же — зарядный движок запускается кнопкой и обязан служить пять тысяч часов! А печка! Мы возем из Владивостока на Чукотку кирпичи, глину, цемент, железо. И печника. За два-три дня он кое-как слепит печку, сделает из железа трубу коленом. Печка свое назначение выполняет, тепло дает, но обходится раз в пять дороже американской. Казалось бы, глина и кирпич — что может быть дешевле? А морские путешествия печника? Он работает на зимовках две, максимум три недели, а месяца два-три плавает пассажиром. И за это ему надо платить, да еще и кормить бесплатно. Опять же взять материал. Кирпич-то ведь не везут по расчету — штука в штуку, а с учетом боя, про запас. Каждый кирпичик, уложенный в печку в Ванкареме, становится золотым. Везем за четыре тысячи километров глину, и опять — навалом, с запасом. Американцы везут готовое изделие, которое сделано на материке в заводских условиях и начинает безотказно служить сразу после доставки.

— У нас еще мало опыта, — заметил Дриго. — При нашем широком размахе нам недостает американской деловитости...

7 сентября. Севернее семьдесят третьей параллели «Красин» не пробился. На этой широте за лето ледяные поля протаяли и под аэродромы не годятся. Попытались стать передовой базой для Задкова, но только погубили его самолет. Москва еще не дала согласия на высадку моего отряда на одном из канадских островов. Если даст — в перспективе зимовка в палатках на необитае-

мом острове. Ребята не боятся. Останутся восемь человек: три летчика, штурман, два бортмеханика и два наземных специалиста. Чтобы можно было улететь на двух самолетах. Если не разобьемся на поисках, то в марте перелетим на мыс Барроу, а с него — на Чукотку. На случай такой зимовки мне надо в местной фактории застаться меховой одеждой и оружием.

Сейчас «Красин» стоит у мыса Барроу. Подход к якорной стоянке блокирован льдами, но ветер с берега сильный — скоро отожмет. Надо скорее выгрузить горючее для самолета Грацианского, который уже на Чукотке.

10 сентября. Лед отжало, и вчера вечером «Красин» стал на якорь. Сегодня начали разгрузку бензина, а Белоусов, Дриго и я съехали на берег для переговоров по вопросу базирования здесь Грацианского.

Пришлось опять посетить офис мистера Моргана. Пока Белоусов и Дриго находились в доме, я осмотрел его снаружи. Дом опоясан широким дощатым настилом. Его назначение стало понятным, когда я увидел за домом штабель мешков, наполненных угольными брикетами. Любопытная деталь! Американцы не везут уголь навалом, не теряют его на перевалках за счет пыли и отходов. Брикеты транспортабельны и легко разгораются.

В десяти метрах за домом постройка — аккуратный павильон из вагонной доски, окрашенный в ярко-красный цвет. Здесь хранятся запасы продуктов, резервное имущество и т. п. Вообще я заметил, что американцы обожают яркие цвета. И для данных условий это правильно. Такое искусственное разноцветье оживляет унылый северный пейзаж, поднимает настроение.

Дворик между павильоном и жилым домом имеет деревянный пол. Пол с небольшим уклоном на одну сторону, доска к доске пригнана, как на танцевальной площадке. У стены павильона тележка на резиновом ходу. Видно, на ней подвозят к дверям дома мешки с угольными брикетами и другие тяжелые предметы. На Севере в основном питаются консервами, потому возле каждого дома обычная картина — гора консервных банок. Здесь для отходов построен емкий мусорный ящик с крышкой.

Я осмотрелся кругом: серое дождливое небо, туманная мгла, разбухшая торфянистая тундра, недалеко ро-

кочет хмурое море — все как у нас на Чукотке. Но нарядный дом и аккуратность, царившая вокруг него, не создавали впечатления, что все это на краю света, что до ближайшего человеческого жилья сотни непроходимых километров.

От офиса мэра мы пошли по своим делам в факторию.

По дороге нам встретился молодой служитель культа. Обрадовался, словно увидел приятелей, и предложил заглянуть в его офис — молитвенный дом.

Если бы на фронтоне этого дома рядом с американским флагом не возвышался деревянный крест и если бы мы не знали, что это церковь, то это сооружение можно было принять за что угодно.

Помещение представляло собой вместительный зал площадью примерно шестьдесят метров. В его задней половине возвышался помост с трибуной для проповедника. Перед помостом — около двадцати дубовых скамеек. На лицевой стороне трибуны рельефное изображение распятия. Никаких других признаков церкви мы не заметили. Тут не было ни икон, ни хоругвей, ни лампадок, ни закрытых приделов. Как выяснилось, в этом же помещении давались спектакли силами самодеятельности.

Служба богу организована тоже с американской деловитостью — ничего лишнего!

Фактория Чарльза Брауэра — это комплекс сооружений, главным из которых был большой одноэтажный дом. Он, видимо, сооружен давно и даже не покрашен. В нем шесть комнат и большой зал — бильярдная. Позднее мы узнали от мэра, что бильярдный зал — коммерческое предприятие Брауэра. Игра оплачивалась по таксе.

Хозяин фактории похож на старого пирата: борода, бачки, острые зоркие глаза. Живет здесь много лет со своей семьей. У него два женатых сына, которые участвуют в деле и помогают отцу. Постоянных работников нет. При нужде на разовые работы вроде разгрузки пароходов нанимаются эскимосы. С нами Брауэр разговаривал, расточая медовые улыбки, но каждая черточка его лица уверяла в том, что этот человек мимо рта ложку не пропесет.

Перед домом два огромных склада, набитых всевозможным товаром — от мешков и ящиков с продоволь-

ствием до боеприпасов и других предметов охотничьего ассортимента. В отдельном сарайчике мы увидели висевшие гирляндами шкурки песцов и лисиц. Их упаковывали в мешки для отправки на материк.

Около дома стоял портативный ветрячок.

На обыкновенном телеграфном столбе высотой в пять метров был укреплен деревянный пропеллер авиационного типа, соединенный напрямую с динамо-машиной на полтора киловатта мощностью. На высоте человеческого роста находился рубильник, включением и выключением которого динамо-машина соединялась или разъединялась с пропеллером.

Конечно, полтора киловатт для большой полярной станции явно недостаточно. Но у нас имеются и небольшие станции. Да будь только поставлено производство таких ветрячков, они нашли бы применение во множестве мест, и не только на Крайнем Севере.

Подле ветряка стояли два трактора: один, нормальных размеров, оранжевого цвета, другой, ярко-желтый, казался чуть ли не игрушечным. Был он меньше метра высотой, след его гусениц едва ли превышал полметра, однако трактор бойко таскал тележку на резиновом ходу, поднимавшую полтонны груза.

Мистер Брауэр согласился принять бензин для Грацианского и доставить его к самолету, когда это потребуется. За хранение, перевозку и другие хлопоты попросил сто восемь долларов. Цена, на мой взгляд, умеренная. Как-никак восемьдесят бочек бензина. Но за купленную у него меховую одежду и винчестеры он, по выражению Дриго, с нас «слупил». Особенно высокой показалась мне стоимость патронов к винчестеру.

Каждый выстрел на берегу Аляски обходился эскимосу в двадцать центов. Карабинные патроны на Чукотке в десять раз дешевле. При такой цене на патроны, подумал я, здешний охотник зря пулю не выпустит.

Последние наблюдения касаются разгрузки шхуны «Полярная звезда». Судно это раза в три-четыре меньше тех пароходов, которые приходят в нашу Арктику. Экипаж ее состоял из двенадцати человек, а грузоподъемность шхуны была девятьсот тонн. Моторный баркас подвозил к пристани груз, и матрос выдавал его первому эскимосу. Тот поворачивался и из рук в руки передавал следующему. В цепочке было пятнадцать эскимосов. Не сходя с места, они переправляли таким способом весь

груз за прибойную полосу, прямо на тележку, которую малюсенький работяга трактор тут же отвозил к складу фактории. Чтобы грузчики не простаивали, тележек было три. Пока трактор отвозил одну, загружались другие.

Всякая ладно организованная работа приятна для человеческого глаза. Но мне в те минуты стало грустно. С тоской вспомнились наши авралы, и спина будто бы опять ощутила тяжесть стокилограммовых кулей и мешков с солью, сахаром и мукою. Сколько их перетаскали мы с кунгаса на берег, балансируя на шатких мостках! А ящики? Они легче кулей, но громоздки и неудобны.

Здесь я не увидел ни одного ящика — только картонки. Мука, крупа, сахар в двойных мешках, из которых ничего не сыплется. Ни одной поклажи тяжелее тридцати килограммов. Этот вес определен соглашением с фирмой, поставляющей все необходимое зимовщикам мыса Барроу. Почему же здесь предусматривают каждую мелочь, имеющую значение, а наши снабженцы об этом не думают? — терялся я в догадках. Мало у нас тревожатся о создании благоприятных условий жизни и работы северян. Надо рассказать нашим товарищам о всем полезном, что мы здесь видели, решил я. Непременно! И о том, как разгружаются корабли. И о технологии сборки дома неподалеку от пристани. Сборкой его были заняты всего два эскимоса. Они собирали дом по чертежам из готовых и тщательно отделанных деталей. Среди них не было ни одной балки, которую не могли бы поднять два человека.

На строительной площадке я не увидел бревен, щепы и стружки. Здешние строители обходились даже без топора. Стены дома имели воздушную прослойку, в которую закладывалась плотная черная бумага. Внутри поверхность стен отделывалась бумажными плитами, лицевая сторона которых своим видом напоминала линкруст.

Все делалось быстро и дешево! По существу, весь дом изготовлен в заводских условиях, здесь его только ставят на место. Как выяснилось, дом этот удерживает тепло не хуже рубленого, а о красоте и комфорте и говорить не приходится. А ведь и у нас есть такие расчетливые строители. Ведь дом, сконструированный инженером Романовым, собирал всего один человек, плотник Дылев. И тоже по чертежам. У Романова не было вагонной доски, бумажных плит, и он обходился стандартной продукцией — фанерным листом. А если бы он имел все нуж-

ные материалы? Но почему-то не поддержали Романова, хотя польза от его предложения так очевидна.

Поселок эскимосов на мысе Барроу состоял из двадцати домиков и располагался в стороне от солидных домов американской колонии. Небольшие стандартные домики издалека были похожи на скворечники, поставленные на землю. Побывать в жилищах эскимосов нам не пришлось, но и без того было видно, что аборигены живут без всякого комфорта. Возле каждого дома находилась помойка, в горах ржавеющих консервных банок рылись собаки, и, конечно, никаких тротуаров здесь не было.

По рассказу мэра, эскимосы летом промышляют морского зверя и ловят рыбу, а зимой охотятся на песцов, лисиц и белых медведей. Каждая семья имеет свою упряжку собак, моторную лодку или вельбот.

Конечно, многое из увиденного на американском берегу произвело впечатление, и мы не могли удержаться от сравнения с тем, что было у нас, на Чукотке.

Объяснять нам причины этой разницы не было нужды, каждый из нас и без того их знал. Вот завершится в стране индустриализация, и у нас, на Севере, люди станут жить иначе, более благоустроено. А вот что касается организованности, то это всецело зависит от нас самих. Тут нам есть чему поучиться у американцев, есть что позаимствовать...

А ледокол наш стоял на якоре как вкопанный, без привычной качки. Не работала на пределе судовая машина, не скрежетал о борта лед, и эта тишина угнетала. Мы переживали депрессию после борьбы, закончившейся поражением. На это состояние наложились нерадостные впечатления сегодняшнего дня. Перед благоустроенностью американцев мы чувствовали себя вроде погорельцев, которые начинают строить свой дом на голом месте.

Поздно вечером, укладываясь спать, я с горечью сказал Белоусову:

— Вот ты, Прокофьич, принимая американцев на корабле, угощал их едва ли не как родных братьев. И они чуть ли не обнимались с нами. А сегодня никто не предложил нам ответной чашки кофе. Что это — скардность или национальная черта? На нашем берегу такое немыслимо.

Белоусов молчал долго, и я уже подумал, что он заснул, как вдруг капитан отозвался:

— Видишь ли, какое дело. Для наших людей работа — это главная радость жизни. Работая, мы живем. А американцы, как мне кажется, воспринимают работу как необходимость, в особенности на Севере. Работают здесь, а жить мечтают на материке. Копят центы и доллары для будущего. Так мне кажется, хотя, возможно, я и ошибаюсь.

— Наверняка ошибаешься. Ведь Морган и Брауэр живут здесь по десять лет и, как ты выяснил, уезжать не собираются. Значит, здесь и проходит их жизнь. К чему же скаречничать при таких заработках?

— Может, ты и прав. Очевидно, скаречность — обратная сторона деловитости. Она приучает людей рассчитывать выгоду от каждого поступка. Завтра мы уйдем, больше они нас не увидят, зачем же им поить нас кофе? Для них это не имеет практического смысла. Расчетливость для сегодняшнего американца характерна так же, как и хлебосољство для русского.

— Согласен, — уже сонным голосом прекратил разговор Белоусов.

Он уснул, а я долго еще размышлял. И вспомнился мне рассказ Сигизмунда Леваневского.

...В 1936 году правительство поручило Леваневскому ознакомиться с американскими самолетами и подобрать подходящий для наших условий. Предполагалось приобрести затем лицензию на строительство таких самолетов у себя.

Леваневский выбрал маленькую, но грузоподъемную, оснащенную всеми приборами и механическим стартером для запуска мотора машину. По тем временам это была роскошная машина.

Вылетая с заводского аэродрома, он намеревался долететь до Уэлена. Но, перед тем как покинуть американский берег, обнаружил некоторые неисправности в регулировке и оборудовании самолета. «Я не могу лететь к себе на Родину, не устранив дефекты», — решил Леваневский и попросил штурмана Левченко сообщить фирме о том, что идет на вынужденную посадку в таком-то месте.

Сообщение было принято, фирма ответила, что помощь будет оказана. От места вынужденной посадки до завода было более пятисот километров, и Леваневский полагал, что, пока подоспеет помощь, пройдет дня два.

Каково же было его удивление, когда в тот же день,

еще до темноты, грузовик доставил к месту посадки Леваневского какие-то панели из гофра старых самолетов. Утром следующего дня другой грузовик привез бригаду рабочих. Из привезенных панелей тут же были собраны три помещения: мастерская, киоск-закусочная и уборная.

Устранение дефектов в самолете заняло день, затем рабочие разобрали временные сооружения и уехали.

На вопрос Леваневского: «Для чего вам потребовалось сооружать мастерскую, закусочную и уборную на один день?» — представитель фирмы ответил так:

«Мы знали, что вы произвели посадку на открытом месте неподалеку от курорта, но нам не было известно, насколько благополучна эта посадка и сколько времени займет ремонт самолета. Если мы не обеспечим рабочих всеми удобствами, они станут искать их на стороне, отвлекаясь от работы и теряя время. Нам выгоднее предоставить рабочему все, вплоть до прохладительных напитков, потому что мы платим по доллару за каждый час».

«Я уже знаком с американской расчетливостью, — заключил Леваневский, — но, признаюсь, этот факт удивил и меня».

Понять психологию, привычки и традиции другого народа нелегко, и опасно делать скороспелые выводы. В этом я убедился на собственном опыте. Обратной стороной деловой расчетливости я посчитал скарденность и, более того, сделал вывод, что это черта национального характера американцев. Мне в радость признать ошибочность этого вывода, по крайней мере в адрес тех американцев, с которыми мы имели дело на мысе Барроу.

Вот как выяснилась моя ошибка.

Через много лет мне довелось повстречаться с участником поисков Леваневского летчиком-инженером Алексеем Грацианским. В тридцатые годы он был видным полярным летчиком, а позднее был приглашен в авиационную промышленность и стал известным испытателем. За особые заслуги и испытания современных реактивных самолетов был удостоен Звезды Героя.

При нашем знакомстве разговор коснулся и Леваневского. На мыс Барроу Грацианский прилетел к середине сентября, преодолев в условиях рано наступившей осени путь от Севастополя до Аляски. Его самолет базировал-

ся на лагуне в семи километрах от поселка, а попытки достичь Полюса недоступности, где предполагалась посадка Леваневского, он продолжал до октября. Все это время (полтора месяца) экипаж жил «на частных квартирах» зимовщиков с полным пансионом от хозяев. Сам Грацианский и штурман А. П. Штепенко пользовались приютом мистера Моргана, а две другие пары членов экипажа — у миссионера («рубахи-парня», его фамилия Клеркупер) и школьного учителя.

Вся колония встретила экипаж очень тепло, с большим сочувствием отнеслась и к судьбе русского Леваневского, помогала всем, чем могла. Так, Морган и Клеркупер все время подвозили экипаж к аэродрому и доставляли бочки с бензином на своих собачках. Только один человек, врач госпиталя, отказался «иметь дело с красными». Мэр поселка Стенли Морган посчитал необходимым принести извинения за своего соотечественника.

И вот пришел день отлета и расчета за все предоставленные экипажу услуги. К удивлению Грацианского, все наотрез отказались от оплаты. Морган сказал, что с гостей американцы денег не берут. А настояния командира самолета пресек угрозой, что он не выйдет его провозжать.

А вот и штрих другого порядка. В 1933 году Леваневскому довелось перебрасывать с Чукотки на Аляску (Фербенкс) американского летчика Джимми Маттерна. Он совершал кругосветный перелет и потерпел аварию недалеко от Анадыря. Маттерн считал себя обязанным Леваневскому и клялся ему в вечной дружбе. С большим опозданием, но с громким шумом и рекламой в прессе, имея на борту специального фотокорреспондента, он явился на мыс Барроу спасать своего друга Леваневского. Заправив свой «локхид-электро» горючим, он вылетел в море. Но через час полета надо льдами прекратил радиосвязь и втихомолку вернулся в Фербенкс. Американцы все без исключения с негодованием осудили этот поступок своего бывшего кумира.

Таким образом, в главном, в понимании элементарной человеческой порядочности, у нас, советских, и американцев нет больших различий. Другое дело, когда речь идет о бизнесе. Тут наши представления о порядочности не могут совпасть с понятиями людей «общества свободного предпринимательства».

Грацианский считает, что Леваневский потерпел катастрофу в обледенении при отказавшем моторе. У него не было достаточной практики в слепом полете (как и у большинства летчиков того времени), а отличный летчик-испытатель, второй пилот Кастанаев тоже не имел таких навыков.

Есть такой расхожий афоризм: «Судьба — это дороги, какие мы выбираем!» (В конце своей книги я выскажу свое суждение по этому вопросу.) У человека действительно почти всегда есть выбор решения, в зависимости от которого так или иначе сложится его судьба. Однако не так уж редко жизнь складывается так, что выбора нет. Но и в таком случае его репутация, а в конечном счете и судьба будут зависеть от поведения на этой единственной дороге.

Биография красинца Евгения Кульпина убедительно подтверждает, что в отличие от большинства других профессий полярниками люди становятся не в школе, не на курсах, а только за Полярным кругом. В суровых испытаниях жизненной стойкости и прочности характера круто меняется психология человека, попавшего в Заполярье. Судите сами.

Не имея реального представления об Арктике, осенью 1935 года тридцатилетний обитатель материка Кульпин приезжает на полярную станцию мыса Северного парторгом. Начальник ее Г. Н. Волобуев (по совместительству он и командир авиагруппы) опытный руководитель и волевой человек. Через четыре месяца он погибает в полете через хребет. В авиагруппе его замещает не менее опытный командир Е. М. Конкин. А зимовщики, такие же новички, как и Кульпин, остаются предоставленными самим себе. Новый начальник сможет приехать лишь через восемь месяцев, когда придет пароход.

И, как потом бывало на войне, место убитого командира занимает парторг. У него нет административного опыта, он не знает всей специфики работы специалистов станции, но твердо знает одно: станция должна работать и выполнить свою программу. Кульпин сумел сплотить людей в работоспособный коллектив, и станция работала без срывов до приезда нового начальника, Роберта Карловича Шульца.

После двух нелегких зимовок Кульпину не разрешают уехать с другими зимовщиками. Его переводят

замполитом к Белоусову вместо отозванного в Москву Мещерина. Предполагалось, что через три-четыре месяца «Красин» закончит навигацию и вернется во Владивосток. Но пропал Леваневский, и ледокол направили на поиски. В то время когда он пробивался к Полюсу недоступности, на другом конце Арктики — в проливе Вилькицкого — сложилась крайне трудная ледовая обстановка. Ледокол «Ермак» не смог провести транспортные пароходы на запад. Убедившись, что «Красин» помочь Леваневскому не в состоянии, Москва предписала Белоусову на максимальной скорости идти на помощь «Ермаку». Почти три тысячи миль от берегов Аляски «Красин» прошел за пять суток, что было рекордом, и все же опоздал. В октябре ударили морозы, дрейфующие льды смерзлись, и даже два ледокола не смогли бы помочь застрявшему каравану. Белоусов прекратил борьбу, когда угля осталось, только чтобы дойти к месту бункеровки. На зазимовавших пароходах топлива могло хватить лишь для обогрева помещений моряков камельками.

«Красину» дается новое, небывалой трудности задание — пробиться к бухте Кожевникова (возле устья Хатанги). Там была заброшенная угольная шахта, и красинцам предписывалось в течение зимы своими силами добыть две тысячи тонн угля для себя и снабжения пароходов. Ни у Москвы, ни у красинцев не было выбора. Это единственно возможное решение в сложнейшей ситуации.

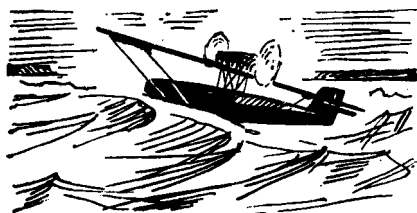
Легко представить угнетенное состояние команды «Красина». После труднейшей навигации он обречен на тяжкую зимовку у необитаемого берега бухты Кожевникова. Только авторитет Белоусова, умелая работа его замполита Кульпина, их личное участие в добыче угля удержали настроение и работоспособность экипажа на должном уровне.

Моряки превратились в углекопов, саночников и грузчиков. Более двух тысяч тонн угля было добыто, поднято на поверхность и доставлено на борт ледокола. Для моряков это была «чужая» работа, но никто не бузил, как тогда говорили комсомольцы. С наступлением лета «Красин» снабдил суда топливом и вывел их из ледового плена.

Оглядываясь на прошлое, можно сказать, что зимовка во льдах всего полярного флота далеко не светлая страница истории Главсевморпути. Арктика предупреди-

ла его руководителей, что обольщаться достигнутыми успехами рано. Ущерб оказался огромным, потому в постановлениях высоких инстанций не было места похвалам даже героическим участникам события. Как бы то ни было, а моряки сохранили корабли, что в тех условиях было непросто. И конечно, в благополучном окончании зимовки каравана огромную роль сыграл комсомольский экипаж «Красина».

Только осенью 1938 года «Красин» вернулся в порт. После всего пережитого сугубо штатскому человеку Кульпину забыть бы дорогу в Арктику. Но он снова, уже по своей воле, отправляется туда и на всю жизнь связывает свою судьбу с Заполярьем. Почетное звание «полярник» добыто им на трудных дорогах.



Глава пятая ПРАГМАТИК СРЕДИ ЭНТУЗИАСТОВ

ГЕОРГИЙ КРАСИНСКИЙ

...Как-то по всей Чукотке распространился слух о березовых вениках, которые появились в авиаотряде после возвращения Сургучева. На зимовках для местных любителей русской бани появление Сургучева стало событием.

А он держался подобно владельцу немислимого блага и из каждого обращения по поводу веничка устраивал спектакль. Вначале делал большие глаза, ужасаясь нахальной нескромности просителя. Однако, уступая напору, наполовину в шутку, наполовину всерьез все же вступал в переговоры об условиях обмена. На его стороне весомо стояли тысячи километров до ближайших березок. Чего только не предлагали скаредному веникодержателю за единственный экземпляр. Кило шоколада или бутылка спирта отвергались с бурным негодованием. Помучившись в сомнениях, конкурирующие любители банных веников предлагали: кто шампанское, кто коньяк, кто бутылку марочного вина, в глубокой тайне приберегавшиеся ко дню рождения. Сургучев артистически изображал смятение перед со-

блазном, которое заканчивалось победой стойкости перед ним. Когда покупатель окончательно терял надежду на соглашение, продавец с милой улыбкой утешал его приглашением посетить баню на нашей базе, где его попарят без всякой компенсации. С помощью ассистентов в лице Островенко или Мохова этот спектакль обошел, кажется, все зимовки и экспедиции. Иногда он повторялся, что называется, на «бис». Все уже знали финал, но ажиотаж веселой торговли вениками давал разрядку однообразному течению жизни.

Как великая ценность, каждый веник, упакованный отдельно, висел на чардаке под своим номером и выдавался Сургучевым только в дни большой бани, когда на базе были экипажи. Но, кроме больших, бывали и малые. В такие дни любители париться пользовались бережно сохранившимися окомелками.

Выдачу каждого свежего веника Володя обставлял шутивым ритуалом. Право первого пользования как награда предоставлялось тому, кто чем-либо отличился от бани до бани. Владелец веников с прибаутками самолично парил счастливого.

По случаю благополучного возвращения из экспедиции и предстоящего отъезда старой смены Володя объявил предстоящую баню не просто большой, а грандиозной и пустил в расход два последних веника. В качестве почетных гостей пригласил начальника полярной станции Р. К. Шульца и парторга С. А. Маслова. На этот раз первым веником был награжден я. И не случайно. Распаривая веник, Володя приговаривал:

— Ну, командир, прими награду от старой смены по совокупности заслуг. Заодно прощайся с грамотными людьми. Тусклая у тебя начнется жизнь без нас, не с кем станет и книжечку почитать. То ли дело, скажешь, вот были орлы — и работали как черти, и попариться могли по-православному, и после бани культурно время провести. Уж так и быть, попарю напоследок, авось распечатаете библиотеку...

— Какую библиотеку? — недоумеваю я.

— Люди добрые! Посмотрите на этого обманщика! Обещал, что вместе прочтем книги Красинского, а теперь Швейка изображает! Да что же это, братцы, делается? На глазах рушатся авторитеты. Ну сейчас вложу ему памяти! — И под общий смех с нарочитой яростью стал хлестать меня веником.

— Так не было же книг, одни газеты! — Изворачиваясь, простонал я.

— Ай-ай-ай! Никак не вспомнит о книгах в стеклянных переплетах. У всех уже слюнки на губах обсохли, а он притворяется, что забыл!

И принялся под общий смех еще пуще хлестать меня по спине.

— Вот это за дружбу! Это за ласку! А это для здоровой памяти!

Затем поднял надо мною веник, как поп распятие:

— Ну кайся, раб божий, а то еще всыплю горяченьких!

— Так бы и сказал, алкоголик несчастный, — наконец догадался я. — Каюсь, чуть не забыл. Спасибо, что напомнил.

— То-то же! Сим отпускаю этого грешника. Следующий!..

Слова «книга в стеклянной упаковке» вошли в наш обиход с легкой руки смышленного радиста с острова Врангеля. Парторг зимовки Владимир Казанский ввел там «сухой закон», и всякий раз, когда мы запрашивали погоду, радист напоминал: «Хоть одну книжечку!»

Уполномоченный Главсевморпути Красинский совершил неслыханное в истории полярной авиации: прислал в мое распоряжение ящик шоколадных конфет «Мишка», мешок грецких орехов, два ящика изюма и ящик глазированных фруктов, которые почему-то назывались «Киевское варенье», и четыре ящика вин: сухое, крепленое, коньяк и шампанское.

Оправившись от шокового состояния, в которое нас привела эта потрясающая посылка, я объявил, что все будет выставлено на общий стол после навигации и, разумеется, до отъезда старой смены. На этом-то и построил Володя свой очередной розыгрыш.

Эта картинка нашего быта, связанная с посылкой Красинского, не стоила бы упоминания, если бы не являлась характерным штрихом к портрету человека, которого я считаю крупным деятелем пионерского периода освоения Восточной Арктики.

Путь Георгия Давыдовича Красинского в Арктику был долог, а жизнь его насыщена событиями, яркими и значительными, под стать его характеру — широкому и смелому.

Шестнадцатилетним юношей он вступил в революционное движение. Был схвачен и сослан в Нарым. Бежав из ссылки, эмигрировал. Вернувшись в Россию в 1919 году, Красинский, будучи человеком активных действий, энергично включился в хозяйственное строительство молодого Советского государства, в котором видел воплощение своих юношеских революционных идеалов. Он успешно выполнял важные поручения правительства, а в 1921 году занял пост уполномоченного СТО (Совета Труда и Оборона) по Северному морскому пути.

Сейчас Северный морской путь — внутренняя морская коммуникация СССР, проходящая вдоль наших северных берегов и соединяющая европейскую часть страны с Дальним Востоком, — можно сказать, обжит. А в те годы только еще начинались работы по систематическому изучению арктических морей и территорий. В 1918 году, когда неокрепшая Республика Советов задыхалась в тисках голода и разрухи, В. И. Ленин подписал декрет СНК, которым учреждалась гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана по исследованию условий плавания от Баренцева моря до мыса Дежнева. Но все эти работы развернулись лишь с 1921 года, после окончания гражданской войны и изгнания с советской земли иностранных интервентов. Вот тогда и стало возможно начать исследования, позволившие впоследствии приступить к практическому осуществлению задачи сквозного плавания по Северному морскому пути.

Буквально заболевший Арктикой и грезивший ею во сне и наяву, Красинский с присущей ему вулканической энергией помогает организовать в 1924 году экспедицию для выдворения с острова Врангеля иноземных захватчиков и отправляется на военном корабле «Красный Октябрь» в качестве помощника начальника экспедиции.

А спустя два года он вторично — теперь уже на пароходе «Ставрополь» — плывет на остров Врангеля, чтобы высадить там первую советскую колонию — форпост Советской власти на Крайнем Севере. При активном содействии Красинского этой экспедиции был придан самолет летчика Отто Кальвицы, который совершил первый в истории авиации полет в небо Чукотки.

В последующие годы Красинский неутомимо организует одну за другой авиационные экспедиции.

Не все и не всегда шло гладко в предприятиях, которыми он руководил, не всегда у него налаживался контакт с летчиками, равно как и с руководством. Но бесспорно одно: его организаторская деятельность помогла авиаторам познакомиться с Восточной Арктикой задолго до того времени, которое пришло бы в порядке естественного развития исследовательских работ в этом районе нашей страны.

В начале тридцать седьмого года я получил две радиogramмы. Начальник полярной авиации М. И. Шевелев сообщал о том, что наш отряд передается в подчинение руководства создающейся Тихоокеанской линии. Другая радиogramма расшифровывала эту новость. Привожу ее полностью:

«Авиабазы Каминскому тчк

Владивостоке создан штаб организации Тихоокеанской авиалинии тчк Намечено строительство ряда авиабаз на пути к Анадырю тчк Располагаю данными вашей хорошей работе освоению Чукотки зптрассчитываю плодотворное сотрудничество тчк Впредь все заявки адресуйте мне зпт сообщите чем нуждаетесь тчк Приму все меры удовлетворения тчк Уполномоченный Главсевморпути Красинский».

Достаточно ясная информация и забота пионера освоения Чукотки была мне лестной. В навигацию парходы действительно привезли почти все из того, что мы просили. Мы получили новый трактор ЧТЗ и два У-2 в самолетных ящиках. Сверх просимого совершенно неожиданно поступила посылка, о которой рассказано выше, — немыслимая роскошь для полярников. А приложенная к посылке записка Георгия Давыдовича и вообще покорила меня:

«Дорогой товарищ Каминский! Знаю, чего стоит в условиях зимовки то, что я смог вам послать. Мне в радость это сделать для вас и ваших смелых товарищей. Все это в ваше личное безотчетное распоряжение. Надеюсь следующей весной прилететь к вам и обнять как продолжателя дела, которому я посвятил немало лет жизни. Ваш Г. Красинский».

Ящики с подарками мой завхоз получил вне коносаментов (судовых сопроводительных документов) от старпома парохода «Анадырь». Меня в тот день на базе не было, и старпом очень расстроился, потому что обещал Красинскому вручить их мне лично.

Мы знали друг друга долгие годы заочно, а впервые увидаться довелось уже только после Отечественной войны. Георгий Давыдович остался верен Арктике. Сколько позволяли силы, он работал в архивах, подбирая материалы для задуманной книги.

Вспомнился организованный Георгием Давыдовичем в 1928 году перелет через всю Арктику из Владивостока в Ленинград.

Экспедиция вылетела из Владивостока 16 июня на двухмоторной летающей лодке «дорнье-валь», получившей наименование «Советский Север», но конечного своего пункта не достигла.

22 августа шторм выбросил на пустынный берег Колючинской губы истерзанный самолет. Терпя невероятные лишения, экипаж плутал три недели, пока не наткнулся на людей.

— В чем причина этой неудачи? — поинтересовался я и услышал парадоксальное:

— В ее грандиозном замысле. Да, — в ответ на мой пытливый взгляд разъяснил Красинский, — наш опыт еще не позволял осуществить его. Вначале следовало изучать и осваивать Арктику, начиная с подходов к ней, по частям. Нас встречали неизведанная авиаторами, слабо картированная местность, коварные туманы Охотского и Берингова морей. Отсутствовала связь, не было ни одного оборудованного аэродрома. И все же мы это преодолели! Не случись катастрофа с самолетом, пусть даже мы не дошли бы до Ленинграда, а вернулись тем же путем обратно, и то наш перелет можно было бы расценивать как огромное достижение.

Красинский выпрямился и словно сбросил с плеч добрый десяток лет. Я почувствовал, что все пережитое тогда ожило в нем, и приготовился услышать рассказ о том, что давно занимало мои мысли.

— ...В те годы кто бы из нас мог предположить, что среди лета разразится снежный ураганный шторм! Вылетели мы из Уэлена 18 августа. Туман вынудил опуститься в Колючинской губе. Пересидели, вылетели снова и опять вернулись. Кругом ни малейшего признака

жизни. Не то что людей или зверей, даже птиц нет. И вот 20 августа началось! — волнуясь, воскликнул Красинский. — Зверский ветер с дождем и снегом, якора не держат, машину заливают, помпа испортилась. Волной машину кладет с крыла на крыло, обломало консоли, элероны и рули, открылась течь в днище лодки, ничего не видно. Болтались в разъяренной воде, мокрые и замерзшие, без пищи и огня, каждую минуту готовые отдать богу душу. И ведь не час, не полтора — более двух суток! Трудно передать, чего нам стоило добраться до людей. Просто чудо, что мы уцелели...

У меня уже накопился опыт полетов на самолете «дорнье-валь», и арктические штормы не были в диковинку, поэтому я воспринял эту часть рассказа критически. Все перенесенное и пережитое экипажем «Советский Север» никаких сомнений не вызывало — это святая правда. Но будь у командира самолета Волынского полярный опыт, ничего подобного он, конечно, не допустил бы.

Инструкции предписывали ему держать гидросамолет на якорах на глубоком месте. А в сложившейся ситуации следовало пристать к подветренному берегу и зарыть якоря в грунт. Тогда можно было бы избежать дрейфа и раскачки, при которой обламывались крылья. Члены экипажа «Советского Севера», как в свое время и все мы, понятия не имели о том, что значит автономия самолета. Увы, перечень обязательного снаряжения для экспедиционного самолета далеко не охватывал всего того, что могло понадобиться в случае вынужденной посадки, но им это было неведомо все по той же причине — не было опыта. Поэтому, когда отказала помпа, запасных частей к ней не нашлось. Неприкосновенный запас и почти все таборное снаряжение, рассредоточенные по всей машине, оказались в воде, залившей самолет, и люди вышли на берег, что называется, «голенькими». Отсюда все их бедствия.

Неудача этой экспедиции, однако, не сломила Красинского. В следующем (1929) году ему удастся организовать новую. На одномоторном поплавковом самолете В-3 совершается первый удачный перелет вдоль всего Чукотского побережья и далее до устья Лены. Этот перелет как бы увенчал его многолетние усилия. Успехом перелета он обязан летчику Кальвице. При всем моем уважении к Георгию Давыдовичу должен с сожа-

лением отметить одну черту характера этого выдающегося полярного исследователя, которая, как мне кажется, и привела самолет «Советский Север» к аварии на берегах Колючинской губы. Красинский был чрезмерно честолюбив, преувеличивал свою роль начальника, принижая роль исполнителей, в данном случае командиров самолетов. А среди них были такие мастера своего дела, как Лухт, Кальвица и Радзевич. Вот и в экспедицию «Советского Севера» Георгий Давыдович пригласил не резкого и самостоятельного Кальвицу, а Волинского, который безропотно позволял ему командовать собой.

Авария «Советского Севера», очевидно, помогла Красинскому преодолеть в себе гордыню: он вновь возвращается к Кальвице, и результат оказался блестящим.

Полет с Кальвицей в 1929 году был тоже многотруден. Связь отсутствовала. Вылетали, определяя погоду на глаз. Летели, пока можно. Садись прямо перед собой, когда «зажимало».

Ночевали в самолете, в лучшем случае — в ярангах чукчей. Наличие бензина предполагалось в трех пунктах, но уверенности, что он есть, не было.

Слушая рассказ Красинского о вынужденных посадках, я отчетливо представлял себе действия отважного Кальвицы в такие решающие моменты.

Он первым столкнулся с коварством здешней природы. Туман, смыкаясь с облаками, закрывал землю. Вот оно то, чего еще никто не видел, — туман и буйный ветер. Машину бросает как песчинку. Летчик с трудом парирует броски, и это стоит ему больших усилий. Садиться можно только в лагуне, надо пересечь береговую черту. Где-то рядом скалы, их застилает белая муть — не прозевать бы! Глаза слезятся от напряжения, внимание как туго натянутая струна — тронь и оборвется. Все ниже и ниже к поверхности земли прижимается самолет. Вот в облаках появился разрыв, видимость — километр, под самолетом — вода, берега не видно, горизонт размыт туманом. Пора садиться. Скорее!.. Успеть определить глубокое место, быстро развернуться в плоскость ветра, не упуская из вида найденную акваторию. Чудятся мели и камни, надо сесть точно на то место, какое заметил. Только бы успеть, пока туман не сожмется стеной. Во рту сохнет, сердце бьется у самого горла. Белые барашки все ближе. Сейчас волна ударит по редану, самолет соскочит с ее гребня и, теряя ско-

1
рость, пронесется десять-двадцать метров. В эти мгновения решаешь: дать газ и уйти в белую мусть или дожидаться на себя руль высоты? Нет, садиться! С остановившимся дыханием летчик ждет последнего шлепка взбесившейся воды. Скорости нет, самолет уже не сорвется с гребня, но могут не выдержать узлы... Ух, пронесло!.. Поплавки зарываются в гребнях волн, пока самолет движется вперед. Но вот барашки и грязная, ноздрястая пена уже уходят из-под крыла вперед. Самолет как на качелях: то задерет нос, то скользит вниз — дрейфует. Что делать теперь? Отдать якорь и ждать, пока совсем укачает? Нет, рулить под защиту берега. Как ни говори, а все-таки родная стихия для человека — только земля...

Проходят часы, а иногда и сутки. Истает туман, проясняется небо. Летчик взлетает и снова продвигается вперед сколько можно. Он знает: ни земля, ни небо не приготовили ему здесь ласкового приема. Он все время настороже — утрата бдительности пагубна.

Вспоминая полярную биографию этого одержимого исследователя, я с сочувствием смотрел на него: работал со страстью, не раз рисковал жизнью, а признания не получил.

Считаю долгом и рад возможности напомнить об этом человеке незаурядной энергии и организаторского дарования.

ВETERАНЫII

...Это был очень трудный для меня день. Капитан «Микояна» выразил опасение, что другой оказии для уезжающих на материк не будет. Мои ребята заволновались — остаться еще на одну зимовку не улыбалось. Ну что ж, надо прощаться. Хотя я и знал, что не за горами расставание с дорогими мне людьми, оно застало врасплох. Но прежде надо наши самолеты доставить с парохода на берег.

Операция эта деликатная. Малейшая неосмотрительность — и дело плохо. Дул свежий ветер, на рейде было волнение. Каждый самолет перевозили на спаренных кунгасах, и, пока они добирались до берега, нервная система сопровождающих и моя тоже подвергались основательной встряске. Повозка с высоко расположенным центром тяжести была неустойчива и, казалось, на ветру

вот-вот опрокинется. Совершив восемь таких рейсов и доставив на берег порознь крылья и фюзеляж, все мы к вечеру основательно выдохлись.

Меня же, помимо чисто физической усталости, одолевали горькие мысли об отъезде товарищей, с которыми сроднился за два нелегких года. Завтра уедет рассудительный, многоопытный Драневич, и как же мне будет недоставать его житейской мудрости, что не раз приходила на выручку добрым советом. Не станет «крошки» Сургучева, чей юмор и оптимизм так скрашивали наши будни и праздники. Остро почувствуем мы утрату деликатного «интеллектуала» зимовки Димы Морозова. Уедет неразговорчивый, но надежный рабочий Берендеев, отличный радист и товарищ Миша Малов. А главное, не будет рядом моего бескомпромиссного Мити, верной опоры в самые трудные минуты жизни. Я должен сказать им что-то такое, чтобы они гордились собой. Чтобы освоение Чукотки запомнилось им.

И вот последний раз мы вместе. Они сидят передо мною измученные, отупевшие, желающие одного — скорее добраться до постели. Правда, баня освежила их, шутки Сургучева взбодрили, на столе все, что есть лучшего, и все же усталость глядит на меня глазами моих товарищей. Усталость не только этого дня, а всех дней двух лет зимовки. Вдруг я и сам почувствовал тяжесть этих лет и непереносимое желание уехать завтра вместе с ними. Кажется, мой голос задрожал, когда я произносил: «Дорогие мои товарищи!» И не без труда я подавил волнение и смог продолжать:

— Вы возвращаетесь в большой мир, и я рад за вас. Завтра вас здесь не будет, и мы сразу почувствуем ваше отсутствие. Покидая эту неуютную землю, вы имеете право с гордостью оглянуться. Городские жители, сами себе вы казались маленькими перед беспощадным могуществом этой природы. Как летать, когда нет ни одного аэродрома? Как жить, когда в доме свищет ветер и невозможно снять одежду из-за холода?

Но вы не отступили перед трудным. Вы летали, километр за километром осваивая это безаэродромное пространство. Вы дорого платили за свою неопытность. Но ошибки учили вас, вы убедились, что и в таких условиях человек может побеждать, если он борется.

Теперь Чукотский отряд имеет ваш опыт. Его силу

день за днем накапливали вы, ветераны! Честь вам и слава за упорство и мужество.

Пройдут годы, и на склоне лет вы с гордостью скажете, что осваивали дикую и бездорожную Чукотку. И ваши внуки позавидуют вам, пионеры. И вы сами будете помнить Чукотку как взлетную полосу в большую жизнь. Я благодарю вас, ветераны, от имени службы и от себя лично. Вы честно служили своему народу на этом трудном участке, и пусть вам сопутствует счастье!

Кажется, мне удалось переломить усталость. Ишь как засияли повлажневшие глаза моих друзей! И острее, чем когда-либо, я понял, что нет для человека большей награды, чем признание важности его труда. Вспомнился мне преуспевающий мистер Морган на мысе Барроу. Он имел комфорт, какого не было у нас, но это внешнее великолепие его жизни было вроде красивой обертки не очень вкусной конфеты. Рядом с ним не было никого, кто мог бы сказать ему такие слова.

Первым ответное слово произнес Митя. Пытаясь говорить солидно, он, как всегда, сбился на скороговорку и, волнуясь, размахивал руками.

— Жизнь испытывает человека по-разному. На излом, на сжатие, на разрыв. Иногда эти испытания длятся годы, а порой обрушиваются сразу и все вместе. Так было у Георгия Ивановича Катюхова, через это прошли и мы с командиром. Первые уроки Чукотки показали, что не только летать, но и жить здесь непросто. Может, не все новенькие заметили, и я обращаю их внимание на то, что здесь двери в каждом доме открываются только внутрь, а не наружу. Здесь всякая мелочь требует внимания и памяти. Первый год мы только и делали, что оглядывались: с какого бока ждать удара? Если сам не погибнешь, коня потеряешь. Образно говоря, жили на полусогнутых и только на второй год распрямились в полный рост, особенно после того, как высадили «Перевальную» Ардамацкого на Амгуэме...

Митя хотел было сесть, но раздумал и очень проныкновенно заключил:

— Не родословная, не богатства, а личные достоинства: честность, трудолюбие и мастерство — вот что приносит уважение советскому человеку. Авторитет авиации на Чукотке сейчас велик, берегите его, как собственную честь...

Последние Митины слова ударили по нервам, мне стало страшно остаться без этих людей и без него, Мити. Защищало в глазах. А тут речь за речь. Менее красноречиво, но сердечно высказались Драневич и даже постоянные молчаливники на собраниях Берендеев и Малов. Говорили бы еще и еще, но Володя Сургучев прервал это извержение чувствительности возгласом:

— Бояре! Хватит слов, перейдем к делу!

И тут же, поняв, что переборщил, сказал:

— Присоединяюсь к предыдущим ораторам. Все здесь очень здорово говорили, какие мы хорошие, я даже растрогался и обещаю стать еще лучше. Но избыток впечатлений, как утверждали древние греки, так же вреден, как их отсутствие. Предлагаю от торжественной части перейти к увеселительной. — И Володя широким хозяйским жестом обвел руки обвел столы, накрытые действительно по-материковски.

— Давай, командир, тост. У тебя это получается!

Впервые Володя при всех обратился ко мне на «ты», как бы утвердив этим наше братство...

На следующий день я усадил всех отъезжающих на тракторную тележку и попрощался с ними на мосту через лагуну. В полном одиночестве стоял за кузницей, провожая взглядом удалявшийся караван, и глотал соленные слезы...

Так для меня начинался третий год на Чукотке. Я запомнил — это было 14 сентября 1937 года.

На другой день на двух У-2 Катюхов в паре с новым летчиком Бубенцовым улетел в бухту Оловянную на помощь геологам, а я остался на базе до выхода из Чукотского моря последнего парохода. На самолете Р-5 я делал ледовую разведку, а между полетами вместе со всеми участвовал в наземной работе. Главной задачей было перебросить на базу то, что нам доставили пароходы...

ВСЕМ ЧУЖОЙ

Авиаторов, которые должны были заменить «ветеранов» в отряде, подбирали отдел кадров в Москве. В конце августа, сойдя с парохода, они вручали мне лишь направление с указанием своей должности. Этот листок и

являлся тем личным делом, с которого начинался молодой полярник. Каким ветром занесло их сюда, я мог судить только по их собственным словам. Ясно было одно: к нам прибыли люди, впервые перешагнувшие Полярный круг. Мне необходимо было сразу улететь в горы к геологам, и, поскольку для знакомства с каждым в отдельности времени не доставало, пришлось знакомиться со всеми сразу. Свой рассказ об истории становления отряда я закончил так:

— Нас не интересует ваше прошлое, или, говоря по-морскому, что у вас за кормой. Важно не то, кем вы были там, а то, кем вы станете здесь. Мы сражаемся с могучим противником — природой ее величества Арктики. Опыт показал, что одолевать ее можно только сплоченно. Каждому придется делать свое дело и сверх того все, что потребуется. А принцип такой: кто больше может, тот больше должен. Оплачивается это не деньгами, а уважением Родины, заключенным в гордом слове «полярник». Сейчас лето — светло и тепло. Зимой все будет иначе. Последний пароход уйдет через месяц. Кто решит остаться, должен знать: до Владивостока четыре тысячи километров и дороги к нему не будет целый год...

Ответное слово от имени приехавших произнес молодой человек, отрекомендовавшийся Георгием Журавкиным, за которого создателю, право же, можно выставить пятерку: красив, статен, здоров. Как выяснилось, это был наш новый тракторист-механик.

— Товарищ командир отряда! — горячо сказал он. — Родина доверила нам работу на трудном участке. Мы гордимся, что будем трудиться там, где прославились челюскинцы и спасавшие их герои-летчики. Заверяю вас, мы выдержим трудности, о которых вы рассказали, и будем работать по-стахановски, как работают на материке...

Слова «где прославились челюскинцы» резанули слух, но я не подал вида, что меня они чем-то насторожили. Мог ли я думать, что спустя некоторое время содержание сказанного этим парнем придет в явное противоречие с его поступками?!

В нашем штатном расписании должность завхоза появилась впервые, и очень кстати. Хозяйство отряда разрослось. Надо было кормить, одевать и обогревать людей, пароходы привозили сотни тонн всякого имущества,

которое надо было содержать в порядке, с учетом прихода-расхода. В Москве почему-то считали, что обязанности завхоза может выполнять по совместительству командир отряда. Но это стало невозможным, и в прошлом году я взвалил их на демобилизованного пограничника Павла Стрежнева. Правда, он хотел летать и числился у нас бортрадистом, но дал слово год поработать завхозом и честно исполнял свои обязанности. Однако в бухгалтерии смыслил мало, поэтому я порадовался тому, что Москва удовлетворила мою просьбу и прислала на должность завхоза авторитетного человека.

Это тем более важно, что в отсутствие на базе экипажей завхоз оставался за командира. Так что я с особым интересом встретил своего заместителя Петра Васильевича Мигунова.

Мне представился полнеющий человек, давно перешагнувший сороковую ступень своего возраста. Солидность осанки и сдержанность речи выдавали в нем бывалого, знающего себе цену человека, на его морском кителе красовался орден Красного Знамени. Не скажу, что с первого взгляда он вызвал у меня симпатию. Скорее наоборот. Лоснящееся, одутловатое лицо, бесформенный, тяжелый нос, такие же бесформенные губы и настороженные глаза, цвет которых трудно сразу определить, не делали привлекательным этого человека. Но я уже привык не доверять первым впечатлениям. Конкин и Драневич оказались великолепными «стариками», хотя и не были красавцами. А кроме того, орден говорит о человеке больше, чем его неудавшийся нос.

В беседе Мигунов сообщил, что получил его за боевые заслуги, командуя эскадром в конармии Буденного. Свой приезд объяснил семейными неурядицами. Меня несколько насторожило, что, «механически» выбыв из партии, он ввиду отъезда на Чукотку не успел восстановиться. Я попенял ему за эту оплошность, но поверил, что так оно и было — как не поверить награжденному боевым орденом!

Когда через несколько дней я вернулся от геологов на базу, Стрежнев обратился ко мне с жалобой на нового завхоза. Оказалось, что Петр Васильевич потребовал от него ведомости и акты, о которых он, Стрежнев, и понятия не имел.

Говорю Мигунову:

— Мы живем на краю света. Ни продать, ни обменять, ни увезти с собой что-либо ни Стрежнев, ни я не можем. В чем вы нас подозреваете?

— В отсутствии должного учета материальных ценностей.

— Это не преступление, а недостаток. Помогите Стрежневу оформить отчеты за прошлый год.

— Хорошо, — снисходительным тоном ответил Мигунов, — я это сделаю насколько возможно. Но хочу предупредить, что согласен отвечать только за то, что приму сам.

— Разумеется, Петр Васильевич! — подтвердил я. — Кто же спросит с вас за Стрежнева?

— Вся запущенность вашего хозяйства, — ревизорским тоном заявил Мигунов, — оттого, что у вас, как при коммунизме, все на доверии, все на словах. А слова к делу не пришьешь. Прошу вас все распоряжения давать мне в письменном виде.

Я посмотрел на него с недоумением.

— Вам известны нормы пайка, вот и выдавайте повару продукты, руководствуясь ими. Уголь и стройматериалы списывайте по мере расхода. За бензин Соколов отчитывается сам. Какие письменные распоряжения вы имеете в виду?

— Да я так, на всякий случай, — неохотно процедил он, — чтобы не вышло недоразумений...

Странный человек, подумалось мне, то ли чем-то сильно напуган, то ли с врожденной склонностью к недоверию. Трудно ему придется. А в общем-то, может, он и прав, этот блюститель порядка. Так я утешал себя, хотя осуждение Мигуновым главного нравственного принципа нашего отряда — доверия, на чем зиждилось все: и работа, и личные наши взаимоотношения, — не увеличило моих к нему симпатий.

Когда отряд на «Красине» отправился в экспедицию на поиски Леваневского, за командира на базе остался Мигунов.

Возвращаясь, я ожидал, что за прошедший месяц все грузы отряда уже перевезены в расположение базы. Однако еще многое оставалось на прибойной полосе, хотя новый трактор работал отлично.

— Вы меня огорчили, Петр Васильевич! — деликатно высказал я свое неудовольствие.

— Так людей же мало, товарищ командир, — воз-

разил Мигунов. — Всего пять мужиков вместе со мной. Не мог же я сам стать за грузчика!

— Почему?

Сообразив, что попал впросак, завхоз попытался вернуться.

— Да, понимаете, радикулит меня прихватил, разогнуться не мог.

— Тогда вам надо возвратиться на материк.

— Да нет, выдержу, у меня это редко бывает. — Показалось, что Мигунов испуган моим предложением. Но и мне было страшно остаться без помощника по хозяйству.

Уже через два дня я ощутил в тех, кто оставался с Мигуновым, какую-то скованность. Старые мои товарищи — Ольги, Большая и Маленькая, мотористы Меринов и Дендерюк, рабочий Сиверин — вместо обычного и доверчивого обращения по имени-отчеству стали величать меня не иначе как «товарищ командир!». Заметил, что и Мигунова они называют «товарищ начальник». Климат зимовки в чем-то неуловимо изменился. Не иначе как это «работа» Мигунова, подумалось мне, и, еще не зная, так это или нет, я набрался смелости сказать ему:

— Арктика — это не учреждение, где работают «от и до». А люди на зимовке не гайки, которые можно заворачивать любым ключом. Если этого не поймете — вам будет трудно.

Мигунов был неглуп и, видимо, помнил о моем предложении вернуться на материк. На «выяснение», тем более на обострение, он не пошел. Выслушал меня с каменным лицом и ограничился лаконичным: «Учту!»

Во второй половине сентября резко похолодало. В одну ночь лагуну схватило льдом. Потом выпал снег, выбеливший тундру и угрюмые сопки на южном и западном горизонте. Приближение зимы ощущалось все заметнее. Долго и неохотно уходили ночные сумерки. Все чаще и небо завешивалось облаками.

В один из таких дней, когда полета не предстояло, мы с Мигуновым вышли на крыльцо в ожидании трактора с грузом. От промозглой сырости, а еще больше от угнетающей душу серости я невольно передернул плечами. Но привычка бодриться, чтобы бодрить других, стала второй натурой, и я иронически продекламировал:

— «Унылая пора — очей очарованье!..» Брр! Ну и погодка. Вас не угнетают такие декорации, Петр Васильевич? Нет, вы только взгляните — чем не тюрьма? Та же ограниченность видимого, та же ватная тишина, в которой замирают звуки жизни...

К моему удивлению, Мигунов прервал эту тираду такой репликой:

— Образно у вас получается, товарищ командир. Как будто вы тоже прошли этот университет!

Неосознанный импульс побудил меня сделать вид, будто я не понял прямого смысла слов Мигунова.

— Вы правы, уже два года прохожу курс наук! Раньше как-то не замечал, а вот в прошлом году наши Ольги открыли мне глаза. Почти в такую погоду, помнится, в середине сентября, прилетел я из Анадыря. Вылезли они на палубу и в рев: «Мамочки! Да куда же нас привезли?» И в самом деле, плавает моя эмберушка* в стылой, чугунного цвета воде среди льдинок, а кругом ничего. Если присмотреться, еле виден голый берег. И никаких признаков того, что где-то здесь есть живые люди. И это после солнечного Анадыря! Впервые увидел я такой пейзаж чужими глазами, и стало мне муторно. Почувствовал, даже когда не рискуешь, — жизнь здесь не сахар...

— За это полярные надбавки платят, одевают, кормят бесплатно, — сказал Мигунов скучным голосом, чтобы не смолчать. И опять показалось мне, что он вынужденно поддерживает разговор, только потому, что волею судеб попал в мое подчинение.

— Да разве человеку этого достаточно? — возразил я. — Мы с вами должны понимать и тех, кому полярные надбавки не заменяют всех радостей жизни. Забота и человеческое тепло старших — вот что нужно младшим, особенно новичкам.

— Ваш намек, товарищ командир, понял, — сухо произнес Мигунов. — Ваши прежние замечания учел и мешать вашему либерализму не буду. Тем более что я беспартийный. Но уж коли к слову пришлось, скажу прямо: он мне не по душе!

— Спасибо за откровенность, Петр Васильевич! Поблагодарю еще раз, если скажете, в чем видите мои ошибки.

* Гидросамолет МБР-2.

Вдали послышалось утробное пофыркивание трактора и приглушенный лязг гусениц. Для разговора наедине оставалось несколько минут. Впервые за это утро Мигунов оживился, повернулся ко мне и, глядя в глаза, высказал заветное:

— Я воспитан в армии. А там как дело поставлено? Сказано — исполняй без рассуждений! Если ты приехал сюда и к тому же получаешь большие деньги, то делай что положено и не хныкай! До твоих переживаний никому нет дела. О них надо было думать на материке... А вы тут нянчитесь с каждым, по имени-отчеству величаете, — уже с раздражением выкладывал он заветное. — А они вас за ровню считают, в любое время со всякой своей ерундой к вам лезут, чуть ли не обнимаются. Не по мне такие порядки. Но мое дело — сторона. Как говорится, вам жить, вам и отвечать. А ошибкой вашей считаю то, что вы этого сопляка Ершова выпустили. Разнюнился, а вы и разжалобились. А как бы сейчас пригодились лишние руки!

Из-за угла бани показался трактор, тащивший на прицепе гору ящиков. Надо было заканчивать наш разговор, и я ответил коротко:

— Мысли ваши интересны, я подумаю.

Мигунов бросил на меня быстрый взгляд, в котором были радость и недоверие.

— Давно бы нам, Михаил Николаевич, — впервые он назвал меня по имени, — следовало договориться. Мы с вами здесь старшие и должны жить душа в душу.

Мигунов оказался плохим психологом. Я не стремился жить с ним «душа в душу». И мысли его оказались враждебными складу моего характера и моим представлениям о том, как надо жить коллективу и в коллективе. Интересны же они были только тем, что я узнал наконец, каковы они есть.

Журавкин тем временем подъехал на новеньком ЧТЗ и развернул сани против входа в дом. Рядом с ним гордо восседал практикант, двадцатилетний чукча Тымнеро. Я улыбнулся ему и в ответ получил признательную улыбку. Мы принялись за работу. Журавкин и Тымнеро поднимали ящики, взваливали на наши с Мигуновым спины, и мы относили их на склад.

Видя готовность, с какой Мигунов подставляет свои могучие плечи, как легко поднимает груз, я невольно подумал: «Нет у него никакого радикулита, работать

может, только чем-то ожесточен. Не может человек, воевавший за Советскую власть, рассуждать о людях как о кирпичках — лежи, куда положил!» Таская ящики, я мысленно оспаривал его жизненную «концепцию».

Армейское воспитание тут ни при чем. Все мы прошли через армию, нет, там не очерствеешь! Человеку нужно голубое небо над головой и солнечное тепло. И чтобы весной распускались березки, чтобы летом можно было поваляться на зеленой травке у прохладной речки. Да чтобы фрукты или овощи свежие были ко времени. А тут годами люди не то что деревья, кустика не видят.

И как много тогда зависит от тех, кто стоит рядом, кто в состоянии понять, поддержать, даже приласкать человека. Нет, что ни говори, и десять северных надбавок не заменят человеческого участия!

Мигунов видел в Ершове только пару рабочих рук и считал ошибкой, что я отпустил его.

Да, в моей власти было не отпустить, но зимовка не тюрьма.

...Авиатехник Петя Ершов прибыл в отряд вместе с другими новичками. Крепкий паренек в хорошо подогнанной морской форме выделялся непривычной для огрубевшего взгляда внешностью, я сказал бы, даже элегантностью. Русая челка, не тронутый морщинами чистый лоб, прямой нос, хорошего рисунка губы, внимательные, не то грустные, не то слишком серьезные глаза. На вопросы отвечал со стеснительностью новобранца. Речь у него была грамотной, без сорных слов. Он предъявил диплом техникума, по окончании которого попросился в Арктику. Симпатичный парень оставил доброе впечатление. Мне стало ясно, что вырос он в хорошей семье, а воспитан на книжной романтике дальних стран. Первые отзывы старшего механика о Ершове радовали, и думалось, что из него выйдет хороший бортмеханик.

Однако перед самым отъездом Михаил Францевич Драневич не забыл предупредить:

— Не узнаю Ершова. Все у него из рук валится. Переговори с ним, похоже, задумался парень.

Слово «задумался» на языке Драневича означало — затосковал.

Сказанное Драневичем обеспокоило, но, как известно, что не сделаешь сразу, будешь откладывать до бес-

конечности. Встречая Ершова, я заметил, что он действительно как-то сник, но разговор с ним оттягивал. Зима большая, времени хватит — каждый раз говорил я себе. Неожиданно выяснилось, что к нам зайдет еще один, внеплановый пароход, и тут Ершов пришел ко мне сам.

Он явился в форменном кителе со свежим подворотничком, со значком ГТО на груди, только что выбритый. Лицо бледное, обтянутое, в глазах отрешенность, как будто собрался прыгать в пропасть.

— Рад, что вы зашли, Петр Сергеевич, — не подавая вида, что встревожен, сказал я, подвинул стул и пригласил его сесть.

Приветливые слова, как видно, придали ему решимость. Он выпалил, глядя прямо в мои глаза:

— Товарищ командир! Отпустите на материк, не могу я остаться.

— Вот как! Что случилось, кто вас обидел?

— Н-нет... Никто не обидел... Но я не могу здесь... целый год...

От волнения он стал заикаться, голос его задрожал.

— Не по-комсомольски получается, Петр Сергеевич, не ожидал. Заменить вас, сами знаете, нечем, а не зная причины, отпустить не имею права. Рассказывайте, в чем дело!

Мой собеседник опустил голову, глаза его наполнились слезами. Он отвернулся, его сгорбившиеся плечи стали вздрагивать от сдерживаемых рыданий. Двойственное чувство охватило меня — и жалость и злость. Горе паренька казалось неподдельным и вызывало сочувствие, но вид взрослого мужчины, плачущего как ребенок, потерявший грудь матери, вызывал неприязнь. Преодолев минутное замешательство, я подсел к нему и обнял за плечи.

— Успокойтесь, Петя. Ничего страшного нет. Здесь не тюрьма, и, если у вас серьезная причина, вы уедете. Но прежде я должен понять, в чем дело. Что вас угнетает?

Заглатывая слезы, пытаюсь справиться с нервами, вытирая глаза рукавом, он наконец произнес:

— Товарищ командир, простите меня, я сейчас, сейчас...

Прошло, однако, еще несколько минут, пока Петя смог произнести первые слова. Но и дальше его испо-

ведь то и дело прерывалась тяжким, похожим на рыдание вздохом.

— Я все понимаю, я достоин вашего презрения, я сам презираю себя. Это гнусно, дойти до такого состояния, но оно... сильнее меня... — Он перевел дух. — Так хотелось начать жизнь красиво, на трудном месте. Я стал мечтать об Арктике, когда спасали челюскинцев, еле дождался, когда кончу техникум. Уэлен, Ванкарем, Амгуэма, Чукотка... слова-то какие! Думал, поработаю, освоюсь, выпишу Лизу...

Поежившись, Петя выпрямился, осторожно освободившись от моих рук, и в его невысохших глазах засветилось что-то, чему не подберешь названия. Скорее всего гордость своей мечтой, своими высокими стремлениями. Но порыв этот иссяк. Он снова сник.

— Я ошибся в самом себе. Я недостаточно сильный для такой жизни. Это холодное, серое небо, эти мрачные льды, угрюмая тундра... Стало страшно целый год видеть только это. А потом Лиза... Мы только поженились, она еще учится. Я просто не мог без нее, меня терзают нехорошие мысли, тоска грызет днем и ночью...

Мне было жаль его, но я не мог подавить в себе чувства неприязни. Перед моими глазами стоял Митя, который тоже через месяц после женитьбы уехал со мной на Чукотку. Уехал потому, что целый год мы собирались сделать это, вместе добивались такой возможности. Он не изменил ни мне, ни нашей общей мечте. Первый год зимовки опасности не раз подстерегали нас. Однажды мы едва не погибли, и одно это могло напугать на всю жизнь. Тем более что у Мити родился сын. Но он остался и на вторую зимовку. Это решение было моральным долгом перед делом, которому он служил, и передо мною, его другом. Он тоже любил свою Машу, тоже тосковал, с изумлением рассматривал фотографию своего первенца и все же остался. Только такие прочные люди и нужны Арктике.

Поднявшись, я ответил довольно сурово:

— Ну вот что, Петр Сергеевич! «Кузнецкстрой» придет через два дня, а свое решение я сообщу вам завтра. Идите и подумайте. Может, все не так страшно, как вам сейчас кажется. И возьмите себя в руки, вы же комсомолец! Не годится так распускаться!

Петя вышел как побитый...

В тот вечер и весь следующий день, что бы я ни де-

лал, я не мог ни на минуту забыть этого разговора. Винил себя в черствости: видел же начало «заболевания» и не поддержал парнишку вовремя! Да и обидно было лишаться ценного работника, когда каждый человек на счету. Но мог ли он быть нам полезен в таком состоянии?

Мне еще не приходилось видеть людей, слабых духом, поэтому я не придавал особого значения бестрепетному мужеству, с каким мои товарищи переносили тяготы Заполярья. Только теперь полной мерой я оценил тех, кто остался со мной на вторую зимовку осенью тридцать шестого. Рядом с Ершовым они показались героями. Если бы они не уехали, поставил бы я Ершова перед ними: пусть бы посмотрел им в глаза, пусть просерстили бы они отступника, как он того стоит.

Однако к вечеру я изменил свое мнение. Вспомнилось давнее предостережение Щетинина: «Будь осторожен, если даже ты прав!» Подумалось: какое у меня право на такое суровое осуждение! Может же человек ошибиться в самых благородных намерениях? А парень он неплохой, только не к месту пришелся. Попрекнул его, что, мол, комсомолец? Так ведь не война же, когда на алтарь Отечества кладется не только любовь, но и жизнь...

Утром, в день прибытия парохода, спросил Ершова: «Не передумал?» Но спрашивать не было нужды. На белом, осунувшемся лице темнели запавшие подглазники, обкусанные губы запеклись, в потухших глазах застыла обреченность. Не знаю, какие слова следовало бы сказать человеку в таком состоянии. Я не удержался от назидательного тона:

— Отпускаю, Петя! Пусть эта ошибка станет для вас уроком. Верю, что найдете свое место в жизни, место, с которого не придется дезертировать. — И протянул ему руку.

Несколько мгновений Петя стоял по-прежнему отупевший, со страдальческим выражением лица, но вот до него дошел смысл моих слов. В глазах появился блеск, в горле что-то клокотнуло — то ли всхлипнул, то ли поперхнулся. Обеими руками порывисто схватил мою ладонь:

— Товарищ командир!.. — Лицо его исказилось гримасой, и он убежал, видимо боясь расплакаться на моих глазах.

Глядя ему вслед, думал: почему же этот здоровый грамотный парень так бурно переживает мое согласие? Ведь не из тюрьмы же его выпускаю? Все равно уехал бы, коли решил. Нет, видимо, так воспитаны комсомолом люди моего поколения, что понятия долга, порядочности для них не пустой звук. Если бы я настоял — он остался бы. И видимо, был готов к этому. Пришла уверенность, что я поступил правильно.

Когда вернулся на базу Катюхов, он одобрил мое решение:

— Правильно сделали, Михаил Николаевич! Зачем нам весь год такому «полярнику» сопли подбирать? В прошлую зиму куда труднее было, а теперь сил больше: завхоз, прачка, тракторист. А главное, есть новый трактор, мотористы выросли, вполне обойдемся. А если подумать, то и Ершова особенно винить нельзя. Отдаленность не всякому по зубам. Муки ревности — это, так сказать, побочная, дополнительная причина. И без нее, если одолеет тоска, люди с ума сходят...

...Человечество нуждается в высоких символах. Со словом «зимовка» связаны наши представления об отдаленности, малолюдье, ограничениях, а порою и лишениях. В этом смысле оно применимо не только к полярникам, но и к таежникам, работникам научных станций в горах и пустынях, ко всякого рода экспедициям. Дежурство на космических станциях будущего тоже станет своего рода «зимовкой».

Справедливо считать зимовщика разведчиком познающего человеческого разума в труднодоступных, необжитых местах. Ведь сам факт жизни в этих условиях — разведка возможностей жить и другим. А жить — это значит делать, создавать, преобразовать, заставлять природу служить человеку. Хочется, чтобы доброе слово «зимовка» и в будущем продолжало обозначать способность человека жить для других, отказавшись от комфорта.

Много зимовок я видел, не раз зимовал сам. Убедился, что благополучная жизнь без трудностей не дает гарантии, что люди будут жить как ангелы. Все зависит от того, кто рядом с тобой. От этого человек бывает счастлив или несчастлив. Эти истины дороги мне потому, что я открывал их сам.

Образцом людской сплоченности, основанной на редком взаимопонимании и доверии, как уже поминал,

считаю нашу зимовку 1936/37 года. Она дала мне многое. Казалось, я овладел секретом: будь впереди, бери на себя самое тяжелое, и за тобой обязательно пойдут люди, если это нужно всем. Однако зимовка 1937/38 года показала, что руководителю этого недостаточно. Новый опыт убедил меня в том, что коллектив состоит из отдельных личностей, что не на всех одинаково действует сила личного примера, что могут быть люди, всегда удовлетворенные тем, что уже есть, и заставить их потратить свои усилия на достижение чего-то лучшего может только сила приказа или какая-то другая форма понуждения.

К сожалению, мой ближайший помощник, хотя и был, как говорится, в возрасте и имел отличие за прошлое, так и не смог приобрести авторитета на нашей зимовке. Занимая командное положение, облеченный властью, казалось бы, призванный сделать все для еще большего сплочения коллектива, он на самом деле разрушал его основы. На зимовке каждый на виду у всех и все на виду у каждого, поэтому довольно скоро выясняется, кто чем дышит. Мигунов старался говорить со мной и вести себя осмотрительно, но его человеческое нутро постепенно прояснялось. Вроде бы к слову вдруг скажет раз и другой, что к нашим Ольгам в комнату заходят мужчины и, бывает, проводят там целые вечера. «У нас не институт благородных девиц, — отвечал я на это, — а мы с вами не классные дамы, приставленные оберегать непорочность своих воспитанниц. Девушки, как говорится, «на выданье», и естественно, если каждая выбирает себе друга».

Пытался он передать и якобы «случайно» подслушанные разговоры, в которых была «критика» моих распоряжений.

Однажды Мигунов завел меня в свою кладовку и, понизив голос, пересказал разговор двух наших Ольг по моему адресу. Через коридор — дверь в дверь — располагалась кухня, и я тут же пригласил большую Ольгу в кладовку. Повторив слово в слово услышанное от Петра Васильевича, спросил:

— Это правда?

Коренная сибирячка, Ольга отличалась независимостью и решительным характером. Малограмотная сезонница, она работала добросовестно, пользовалась большим уважением ребят, знала, что и я ценю ее, по-

этому, нисколько не смутившись, не торопясь, тоном, не предвещавшим ничего хорошего, глядя Мигунову в лицо, приказала:

— А ну посмотри в глаза! Когда это я говорила такое?

Первый и последний раз я видел своего завхоза растерявшимся. После минутного замешательства он, однако, и тут вышел из положения соответственно складу своего характера. Даже не взглянув на Ольгу, с укором сказал мне:

— Товарищ командир! Я не считаю возможным отвечать этой девке. Если вы мне не верите, нам не о чем говорить.

И вот тут-то Ольга взвилась и рванулась к Мигунову, намереваясь свести с ним счеты чисто по-женски. Мигунов сумел уклониться, и я встал между ними.

— Это кто же здесь девка? — пытаюсь достать обидчика кулачком, во весь голос кричала Ольга. — Да мы и слово-то такое забыли, а он... Да что же это делается? Ах ты, гад ползучий! Ни одному слову его не верьте, Михаил Николаевич. Не хотела вам докладывать, а придется. Он ко мне и так подмазывался, и этак, а когда получил от ворот поворот, вот что придумал!.. — Она задышалась от негодования, но вдруг, опустившись на ящик, расплакалась.

Мигунов переминался с ноги на ногу. А я с трудом сдерживался.

— У меня нет оснований не доверять Оле. — В моем голосе прозвучала жесткость. — Больше того, я считаю ее испытанным в трудные времена товарищем и обижать не позволю. Мало того, что оказались не правы, вы употребили и оскорбительное выражение. Вы должны извиниться перед Олей.

Мигунов молчал, опустив глаза и нервно теребя в руках какую-то бумажку. Лоб его покрылся бисеринками пота. Услышав, что ему надо извиниться, этот человек вздрогнул. Вряд ли ему приходилось переживать такое унижение, и теперь он мысленно прикидывал, как ему поступить. Но я не дал ему времени на долгие размышления.

— Если вы не извинитесь сейчас, вам придется это сделать перед всеми в кают-компании, — предупредил я еще более решительным тоном.

— Оля, извини, пожалуйста, я погорячился... — вы-

давил из себя Мигунов, сообразив, что мои слова не пустая угроза.

Ольга, вытирая слезы, молча поднялась и вышла. Вслед за ней вышел и я. Выкурив папиросу и взяв себя в руки, заглянул на кухню, чтобы успокоить Ольгу. К моему удивлению, я застал ее веселой, в лицах пересказывавшей своей подружке Ольге-маленькой, весь этот инцидент. Увидев меня, набросилась с упреками:

— И куда же вы, Миколаевич, свои глаза подевали? Как не раскусили, что это за фрукт? Да неужто вам Татьяна Сергеевна ничего не рассказывает? Ведь он даже подсматривает, как мы в бане моемся, и про всех нас сплетни разводит. У, гнида! Пусть уж лучше сидит в своей конуре, а то я ему zenки промою, будет помнить.

Вот ведь как бывает?! То, что в моих глазах «работало» на авторитет, не имело никакой цены для младших моих товарищей. Их не ослепил боевой орден нашего захвота, они раньше меня рассмотрели, что прячется под его напускной солидностью.

С тех пор я никогда больше не оставлял его за себя. Очутившись в полной изоляции, Мигунов дожил до конца зимовки, не жалуясь на радикулит и не предпринимая попыток поговорить со мной по душам. Даже орден припрятал.

Я рассказал об этом человеке не случайно. Зимовка, как, впрочем, и любая экспедиция, в которой участвует небольшая группа людей, в силу условий своей работы, надолго оторванных от привычного уклада жизни, «обреченных» довольствоваться общением лишь друг с другом, — серьезное испытание всех личных качеств человека, а в особенности того, кому доверены судьбы товарищей и дела, ради которого все они оказались на краю земли. Да, я не сумел достаточно быстро овладеть ситуацией, допустил просчет, но полностью осознал это позднее.

СЕРГЕЙ МАСЛОВ — ПАРТИЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

— Вот это да! От «полярки» до вас всего двенадцать минут! — с этим возгласом предстал перед нами Маслов. Судя по его взбудораженному виду и взмыленным собакам, это утверждение было близко к истине. Собаки упали на снег и стали жадно его глотать. Видя это, я сказал:

— Что и говорить, здорово! Только обратно пойдешь пешком.

— Почему же это пешком? — удивился Маслов.

— А потому, что не успеешь попить у нас чайку, как твои собаки сдохнут. Гляди — совсем загнал. Ты что же, не слышал, что потную лошадь нельзя поить?

Как все искренние и сердечные люди, Маслов был простодушен и доверчив. Он бросился к собакам и, хватая за загривок то одну, то другую, стал отрывать их от снега. При этом он ударял рукавичкой по собачьим носам и озабоченно приговаривал:

— Лялька, Сима, Буран! Кыш, проклятые твари!

Поняв по дружному смеху, что попал впросак, Маслов густо покраснел, а потом рассмеялся вместе со всеми, пряча свое смущение.

Когда отсмеялись, он подошел к жожаку и, явно рассчитывая на эффект, громко позвал:

— Цезарь!

Жожек поднял голову и устремил умный взгляд на хозяина, как бы спрашивая: «Чего изволите?»

— Так это же Серый, Сергей Алексеевич! — удивился Андрей Дендерюк, один из наших отрядных собачников.

— Был Серый, а теперь Цезарь. Видите? Уже отзывается!

И Маслов рассказал нам историю превращения Серого в Цезаря...

За день до того, как собраты к нам, Маслов поехал к охотникам в Пильхино. От «полярки» это девяносто километров. Где-то на полпути, увидев фантастически красивые торосы, выжатые на берег, решил дать отдых собакам, да и самому не мешало размяться. Не успел он сделать и четырех шагов по направлению к торосам, как навстречу откуда ни возьмись здоровенный шатун. «Не тот ли это медведь, что задрал мальчишку охотника Коровье?» — мелькнуло в голове Маслова (собственно, и поехал-то он в Пильхино ради того, чтобы утешить, чем-то помочь семье Коровье). И он инстинктивно выкрикнул: «Серый!»

— Серый среагировал молниеносно. Медведь только еще поднимался на задние лапы, как из-за моей спины на него обрушились все собаки, — рассказывал Сергей Алексеевич, как бы заново переживая это едва не стоившее ему жизни происшествие. Его волнение невольно

передавалось и нам, и воображение дорисовывало картину схватки со зверем.

— И вот что интересно, — продолжал Маслов, — на какое-то мгновение я будто бы утратил слух. Рычания собак, повизгивания, какое поднимает встревоженная стая, не слышал. Но ясно слышал дыхание надвигавшегося медведя. Так и стоял будто парализованный, не пытаюсь уклониться. Между тем вожак рывком поднял за собою всех собак вместе с нартами, и вот уже вся свора облепила шатуна, как это делают пчелы. При всей своей колоссальной силе медведь оказался на спине и еле вывернулся из-под этого клубка. Оставляя клочья шерсти в зубах разъяренных псов, он бросился наутек в торосы. Собаки запутались в сброе, и я, очутившись, поспешил им на помощь. И что, братцы, самое удивительное, стоило мне потрепать по голове вожака, как он тут же успокоился и помог навести порядок. А вы говорите, собаки!.. Полярник, а тем более каюр я, конечно, аховый, но разум и отвага вожака повергли меня прямо-таки в мистическое изумление. После такого подвига я посчитал кличку Серый для него унижительной и назвал его императорским именем Цезарь. Кстати, — Маслов обвел нас вопрошающим взглядом, — знаете ли вы, откуда появился этот пес? Вы же видите, что это не дворняга, а настоящая, чистых кровей овчарка. Не знаете?

Мы не знали.

— В стародавние для Чукотки времена, еще в лето тысяча девятьсот двадцать девятого года, — торжественно и в то же время с лукавинкой в голосе, как заправский сказитель, начал Маслов, — приплыл к мысу Северному американский купец Свенсон. Личность знаменитая. На Чукотке имел приказчиков, раз в году на роскошной шхуне «Нанук» он объезжал свою епархию и собирал оброк. За Свенсоном на берег увязался его любимец, совсем маленький щенок. Этаким пушистый и забавный комочек, которому вряд ли было два месяца от роду. Пока шла торговля — а дело это, как известно, долгое, — щенок успел заглянуть во все яранги, приобрел друзей среди мальчишек, отведал душистого копальхена и, вдоволь набегавшись, благополучно вернулся в домик факторщика. Здесь утомленный «путешественник» забрался на оленьи шкуры и заснул.

Между тем шхуну атаковали льды. Возникла авария-

ная ситуация. Спасая добычу, Свенсон позабыл о щенке. Как в тот раз шхуна избежала беды, сказать не могу. Но спустя некоторое время у мыса Биллингса она все-таки вмерзла в лед. Стремясь предотвратить убытки и вовремя доставить песцов на аукцион, Свенсон вызвал из Америки самолеты. Эту воздушную экспедицию возглавил знаменитый в то время летчик Бен Эльсон. В одном из полетов он попал в пургу и вместе с бортмехаником Борландом разбился возле устья Амгуэмы. Кстати говоря, с тех пор это место и называется косой Двух пилотов. В общем, из-за всех этих событий Свенсону было не до забытого им щенка. Оставшись не востребо-ванным, тот превратился в отличного жожака и попал в руки Ивана Ивановича Миненко, от которого и получил кличку Серый.

Когда возникла полярная станция, Миненко стал ее сотрудником, а упряжка так и осталась принадлежностью «полярки». Вот такая, братцы, история...

— Раз вы знаете историю собаки, — заметил кто-то из нас, — то уж наверняка вам известна история Миненко. Откуда он появился?

— Ну как же! — охотно откликнулся Маслов. — Иван Иванович Миненко уважил меня, рассказал. Еще при царском режиме эмигрировал он с родной Украины в Америку. Работал там на медных рудниках, однако богатства не нажил, а, хватив всяческого лиха, после революции решил возвратиться на родину. Пробирался через Аляску и Берингов пролив в девятнадцатом или двадцатом году, как раз в разгар гражданской войны на Дальнем Востоке. Чукотка оказалась тогда отрезанной, и Миненко прижился здесь. Женился на чукчанке, и, надо сказать, дети у них прекрасные. По материнской линии унаследовали неприхотливость и выносливость чукчей, а по отцовской — живой ум, смекалку и тяготение к грамоте. Его сын Вася работает у нас учеником радиста, очень способный паренек. Сам Иван Иванович в этом гду взял отпуск и поехал, как он выразился, «перед смертью посмотреть родные места». Поэтому я и шефствую над его упряжкой, никому другому он ее не доверил бы.

Такое заботливое отношение Маслова к собакам, признаться, кое-кого корбило. Корбило не само увлечение, объяснимое для новичка, энтузиаста Арктики, а полное несоответствие этого увлечения той серьезной

должности, какую занимал Маслов. Как-никак парторг полярной станции!

Но Маслов не был просто любителем-собачником. На собак у него был чисто практический расчет. Мне он объяснил это так:

— У меня нет возможности летать по воздуху, а под моей опекой — живые души от Ванкарема до Биллингса. Это поболее четырехсот километров. Чукотка пока что страна собачьих упряжек, и с этим фактом приходится считаться.

А однажды Сергей Алексеевич обронил фразу, которая, на мой взгляд, как нельзя лучше характеризует его.

— Коммунист служит людям там, где того потребует партия. Пошлет торговать — буду изучать дебет-кредит. Пошлет за границу — научусь улыбаться акулам империализма. Но меня направили к чукчам. Значит, я должен изучить их язык и уметь к ним добираться. Вот так-то, брат!

Поистине природа не поскупилась на «материал» для него: всего отпущено в меру и превосходного качества. В фигуре соблюдены все пропорции, радующие глаз: рост — сто семьдесят восемь, вес — семьдесят пять. Типично русское лицо. Голубые глаза, несколько полные губы, белозубый улыбчивый рот. Статная фигура, общее выражение лица и особенно глаз оставляли впечатление суровой, мужественной красоты. Такими мне представлялись викинги, древние скандинавы, мореходы и открыватели новых земель.

У Маслова были, что называется, «говорящие» глаза — то гневные, то суровые, то осуждающие, но чаще всего они устремлялись на собеседника, будь то чукча или русский, взрослый или ребенок, с какой-то детской заинтересованностью. В глазах Маслова, как на киноэкране, отражались горести и радости того, кого он слушал. Они обещали поддержку, защиту, ободрение — все, что требовалось человеку. Потому, вероятно, так легко открывались Маслову все сердца.

При этом он не был мягкотелым, бесхребетным жалельщиком. При решении принципиальных вопросов оставался твердым до жестокости. Так, в первые же три месяца своего пребывания на «полярке» он сумел разобраться в жульнических махинациях местного пушника, обчитывавшего охотников. Своей властью Маслов отстранил его от должности, сам привез в от-

ряд и не успокоился, пока мы не вывезли его за пределы зимовки. А как этот человек извивался, как изощрялся в объяснениях, обещаниях и извинениях! Ничего не смягчило решения парторга.

А вот другой характерный случай.

Однажды Маслов приехал в отряд, взволнованный до такой степени, что даже не поздоровался.

— Рад, что застал тебя. Поедем со мной на станцию.

— А в чем дело?

— Конфликтую с начальником, но заглазно говорить не буду. Потерпи!

Приехали, закрылись в комнате Шульца.

— Вот теперь, в присутствии Шульца, — обратился ко мне Маслов, — могу сказать. Между нами возник конфликт принципиального свойства. Мне не хотелось бы докладывать об этом начальству, не хотелось бы говорить и на собрании. Суть дела вот в чем. Роберт Карлович без согласования со мной издал приказ, запрещающий «посторонним», то есть чукчам, заходить на станцию, и теперь им доступно только помещение кают-компаний в дни киносеансов. Я отменил этот приказ, — Маслов повернулся к Шульцу. — Давай, Роберт Карлович, излагай Каминскому свою позицию.

Роберт Карлович Шульц, высокий, рыжеватый, толстый человек лет сорока пяти, на должность начальника полярной станции приехал осенью тридцать шестого. За прошедший год редкие мои с ним встречи ничем особенным не запомнились, разве что осталось общее впечатление о его всегда серьезном и деловитом облике. Я не видел и даже не представляю себе его лица в улыбке. От кого-то слышал, что он старый коммунист, участник гражданской войны, занимал какие-то руководящие посты. Мне он казался человеком, способным командовать трестом, но, по странной прихоти судьбы, вынужденным стать администратором зимовки.

В отличие от напряженного, как струна, Маслова Шульц был спокоен и ироничен. Он заговорил снисходительным тоном, как бы давая мне понять, что делает уступку своему горячему парторгу, но по его усилившемуся акценту я понял, что он волнуется:

— Да, я запретил посторонним людям мешать работе персонала станций. И какой сможет совершаться работа, когда целый днями — как это? — на станций есть базар. Грязный люди курят, сорят, отвлекают от дела и

не позволяют отдых. Я полагай, Михаил Николаевич, вы не допустит к самолет люди, который лезет под винт на запуск мотор. И я понимайт, что полярный станций не есть ясли или школ для воспитаний местный населений. У него другой функций. Я все сказала.

Аргументам Шульца нельзя было отказать в логике, и я был готов принять его сторону, но не знал сути доводов Маслова, а он ответил Шульцу так:

— Самое удивительное, что начальник советской полярной станции рассуждает так, будто находится по ту сторону пролива, на Аляске. Там, быть может, у научного учреждения и нет других функций, потому что ученым американцам наплевать, как выражается Шульц, «на местный населений». Партия не случайно назначает парторгов в помощь хозяйственникам. Хозяйственники в Арктике нередко страдают недостатком воображения при избытке полномочий. Арктическая полярная станция сегодня — это прежде всего очаг борьбы Советской власти с отсталостью, можно сказать, с дикостью и суевериями местного населения. Через нас, собственно, оно и узнает, что такое Советская власть. Я хочу убедить тебя, Роберт Карлович, в том, что ты не прав, потому и не спешу докладывать Москве о политической слепоте старого коммуниста Шульца.

Серьезный Шульц посерьезнел еще больше: выдержать обвинение в политической слепоте нелегко, тем более когда нечего возразить.

— Но ведь работать на ключе есть главный дело радист, и станций должен иметь порядок! — отступал Шульц.

— Согласен, — кивнул головой Маслов. — И работать нужно без помех, и порядок должен быть. Но не за счет изоляции от местного населения. Давай вместе искать выход, и мы найдем его.

В конце концов мы нашли приемлемое для всех решение: выстроить клуб. Для этого я поступился одним из ящиков, в которых привезли самолеты. Шульц согласился выделить плотника Парамонова и дать недостающие строительные материалы. А также обязался поддерживать усилия Маслова по мобилизации зимовщиков на строительство и работу с местным населением. Мы разошлись, сохранив уважение друг к другу.

Когда я собрался уходить к себе, Людмила, жена Маслова, зазвала на чай с собственноручно испеченны-

ми пирожками. За чаем Сергей умиротворенно посочувствовал Шульцу:

— Чукчи отзывчивы на ласку, как дети. Жизнь в яранге тусклая, а рядом станция светит электрическими огнями. Вот и потянулись на эти огни. Представь себе, каждый вечер, а в плохую погоду и днем мужчины, женщины и ребятишки с возгласом «Этти!» приходят, рассаживаются на корточках вдоль стен, все враз закуривают и смотрят, как живут и что делают русские «таньги». Начнет работать ключом радист, извлекая точки-тире, или произойдет что-то другое, тут же раздастся дружное «каккуме!». И начинается шумный обмен впечатлениями. Чукчи особенно радуются, видя, что такая же «шаманская» работа по силам и Васе Миненко, сыну их соплеменницы. Он вырос на их глазах, и их уму непостижимо, как это Вася стал настоящим «таньга». Все эти визиты, естественно, сопровождаются шумом, гамом. В помещении становится грязно, пахнет ярангой. Такое кому понравится? А Шульц — человек дела. Его не умилишь простодушием. Вот он и издал приказ, о котором мы толковали. Признаться, я не думал, что он капитулирует. Но рад! А то пришлось бы выносить вопрос на партийное собрание, хотя не уверен, что смог бы получить единодушную поддержку. Жить в цыганском таборе, сам понимаешь, нашему брату непривычно...

У Маслова была удивительная, можно сказать, редчайшая способность слушать и направлять течение мыслей собеседника по такому руслу, что нередко тот высказывал совсем не то, что намеревался вначале. Делать людей лучше, счастливее было прямо-таки органической потребностью, неотъемлемым свойством его характера. Сказать, что у него было отзывчивое на чужую беду сердце, значит почти ничего не сказать о нашем парторге. Да и к чему слова, если существуют богатейшие россыпи фактов! Вот один из них. Зимой тридцать восьмого года Маслов на своей упряжке привез в наш отряд парнишку-тундровика. Люди моего поколения видели в натуре (а наша молодежь — в кино) беспризорников эпохи гражданской войны. Нечто похожее применительно к условиям Чукотки представлял собою и этот парнишка. Одет он был в меховую рубашку, такие же штаны, стоптанные торбаса, потрепанные рукавички и малахай. И ничего сверх того. По-русски — ни слова.

Вид угнетенный, забитый, смотрит исподлобья, как за-
травленный зверек.

Выяснилось, что ему лет восемнадцать-двадцать и что он убежал от оленевода-кулака, не впервые побившего его. С момента появления на свет божий это был первый поступок, который он совершил по собственной воле. Пять суток провел он в тундре, питаясь сырой олениной, прихваченной в расчете на два дня пути. Но трое суток бушевала пурга, пережить которую ему пришлось в снежной яме, как это делают в Арктике звери и настоящие тундровики. Наконец добрался до соплеменников поселка Рыкарпий. Его отвели в ярангу шамана и подкулачника, известного на всю округу двусмысленной кличкой Иван-да-Марья. Тот обогрел, накормил, утешил беглеца и стал уговаривать вернуться к хозяину. Вероятно, уговорил бы, и мы никогда бы не узнали о случившемся с ним, но в сознание чукчей уже вошел Маслов с его авторитетом, рангом никак не ниже шамана. Они сообщили Маслову о госте из тундры, тот «интернировал» кулацкого батрака и после безуспешных переговоров с Шульцем привез к нам в отряд.

— Этого парнишку отпускать обратно нельзя, — сказал Маслов мне. — Зачислить его в штат станции невозможно, а иначе держать его там Шульц не согласен. У тебя это проще. Приюти, а там посмотрим...

С трудом выяснили имя неожиданного гостя. Хотя он многократно произносил его, воспринять имя на слух было невозможно. В конечном итоге сообща определили имя — Велаквин. По словам Маслова, это означало Бегущий за оленем.

Я собрал отряд, и Маслов произнес речь, из которой запомнились такие слова:

— Мы с вами только по книгам знаем, что такое эксплуатация человека человеком, что такое классовая борьба. Перед вами живое олицетворение этих понятий. На Чукотке борьба за человеческое достоинство еще не окончена, и мы с вами являемся ее участниками. Из этого забитого с детства батрачка надо сотворить советского человека. От имени партийной организации прошу вас — сделайте это!

Нашлись добровольцы во главе с мотористом Васей Седовым. Они затопили баню, помыли и постригли Велаквина, нарядили в собранное с миру по нитке обмундирование и стали в ускоренном темпе знакомить

его с цивилизацией XX века. Вечером устроили внеочередной киносеанс (у нас уже появилась передвижка). Киножурнал открылся кадрами несущегося с экрана в зал паровоза. Для психики Велаквина, только-только познакомившегося с мылом, это оказалось слишком сильным испытанием. Он пулей вылетел из дома и все шесть километров до чукотского стойбища бежал, как олень. Пока Вася Седов и Андрей Дендерюк запрягли собачек и бросились вдогонку, Велаквин снова оказался под крылышком Иван-да-Марьи. С помощью Маслова моим ребятам удалось водворить его обратно в отряд. С той поры к «сильнодействующим средствам» прибегали с опаской, принимая предварительно все меры предосторожности.

В пятидесятом году я прилетел на Чукотку на первом Ан-2. И каково же было мое удивление, когда среди встречающих на аэродроме самолет я увидел авиа-механика Володю Велаквина. Трудно было узнать в нем того паренька, что явился к нам двенадцать лет назад. В кают-компанию Володя Велаквин пришел в костюме, в белой сорочке, при галстукке, волосы цвета вороньего крыла расчесаны на пробор.

Он не получил сколько-нибудь серьезного образования: рядом с ним не оказалось других Масловых. Но так или иначе жизнь уже ковала из него нового человека. Он хорошо изъяснялся по-русски, имея достаточно большой запас слов и понятий, неплохо писал, а главное, имел хорошие практические навыки по элементарному уходу за самолетом. И я подумал тогда: «Где ты теперь, дорогой Сергей Алексеевич? Вот если бы и ты мог убедиться, что авиаторы сдержали слово, данное в твоём лице партии!»

Нарисовав, как мог, словесный портрет Маслова, я посмотрел на него как бы со стороны, и он показался мне неправдоподобно красивым. Долго напрягал память, пытаюсь вспомнить за Масловым какие-нибудь недостатки: ведь не бывает же идеальных людей! Объективности ради, я не умолчал бы об изъянах в его характере и поведении, но ничего такого на память не пришло. И, очевидно, не потому только, что человеку присуще забывать плохое.

О Маслове я рассказал не случайно. Из дальнейшего станет видно, какую значительную роль в жизни отряда сыграл этот красивый человек.



Глава шестая

«БЕРЕГИСЬ СУДЬБЫ, КОГДА ОНА РАСТОЧАЕТ ЛАСКИ»

САМОЛЕТЫ ОДИНАКОВЫЕ —
ЛЕТЧИКИ РАЗНЫЕ

Проводка кораблей — главное дело отряда. Когда последний пароход вышел из льдов, я пересел с Р-5 на У-2 и, не ожидая следующего дня, вылетел в бухту Оловянную на базу геологов. Где-то в горах на них работали Катюхов и Бубенцов, и я не знал, как идут их дела.

Северное побережье прикрыто снегом, а лагуны в узких местах перехвачены льдом. Белые поверхности суши резко контрастируют с чернотой воды, моря и лагун. Наступила та пора предзимья, когда в природе Заполярья нет иных красок, кроме черно-белых, а психика человека перестраивается на ожидание зимы. Мысли о ее близости рождали у меня заботы о топливе, освещении, тепле и доме, об улучшении условий зимнего обслуживания самолетов. Я поспешил на южное побережье, чтобы собрать самолеты и людей на базе, заняться ее благоустройством. Тем более что в этот день погода благоприятствовала, а какой она будет завтра — неизвестно.

Сто километров по забеленному берегу моря до устья Амгуэмы, сто километров вверх по ее течению, и моим глазам открылся совсем другой мир. Его границей стали «скалы» — горная гряда, преградившая Амгуэме дорогу к океану. Увидев это место, человек не сможет остаться равнодушным к столь наглядно выраженной мощи текущей воды. По извилистому ходу, кидаясь из стороны в сторону, она мчится в белой пене, расходуя бездну энергии. Сама природа подготовила здесь идеальные условия для сооружения ГЭС. Но кому она нужна в этом безлюдье?

За скалами все изменилось. Синий столбик термометра на крыле показывает плюсовую температуру, на земле не стало снега, а на реке заберегов на плесах. Береговой кустарник радуется глаз багряными пятнами листвы. Облачность круто пошла вверх, в ней появи-

лись разрывы, а на земле — островки местности, высвеченной солнечными лучами.

Но что это? От неожиданности екнуло сердце. На речной косе силуэт самолета. По спирали снижаюсь до ста метров, на поверхности крыла вижу: «СССР Н-37». Самолет Катюхова, но почему один и рядом нет людей? Но вот рассмотрел в кустарнике человека, спешащего к самолету. Отлегло. Недоумевая, сажусь, подруливаю свой Н-38 к его Н-37. Запыхавшийся Катюхов вместо объяснения протягивает свой летный шлем, полный полярных подберезовиков.

За полтора года, думалось, я хорошо изучил Георгия Ивановича. Деловой, осмотрительный, сдержанный на слова, он казался неспособным к рискованным романтическим порывам. В экзотической обстановке, один на сотни километров окрест, в ладно облегающем фигуру стареньком реглане, впервые он представился мне таким авиационным витязем, землепроходцем. Нет у него сомнений, что благополучно совершит посадку, что запустит мотор и вернется к людям.

— А где Бубенцов?

— В Оловянной. Вылетели парой, но с перевала Гриша — обратно. Я за ним. Сели. В чем дело, спрашиваю? «Мотор барахлит!» Совесть у тебя барахлит, а не мотор! Садись на мой самолет, полечу на твоём! Гриша стал божиться, сами знаете, как он это делает: со слезой, что не обманывает. Пришлось оставить его Соколову выводить на чистую воду.

— Долго ли Соколову установить причину? Почему сами не задержались?

— Нет больше моего терпения, Михаил Николаевич! Уже два раза из-за него срывались вылеты!

— Почему?

— Один раз, в самом начале, напился в экспедиции, в другой раз — погоды испугался, а сказал, что живот расстроился. Его ругаешь, а он смотрит на тебя голубыми глазами, молчит и думает: «Все равно полярные надбавки идут!» На этот раз решил его проучить. Пусть попереживает за меня!

— А может, и правда барахлит?

— Что вы! М-11 надежнее отца с матерью. Тем более при Соколове!

— Это верно. С Гришей разберемся. А почему оказался здесь?

— Выполнял одно задание Одинца, на обратном пути решил зарисовать эту площадку, пригодится, думаю себе. Зашел в кустарник и вижу какие-то поганки. Присмотрелся — да это же настоящие грибы, ну и не удержался...

— Что же это за задание?

— Эх, Михаил Николаевич! Есть товар, думал продать подороже, да терпения не хватает. Вы же самого главного не знаете. Пока мы плавали на «Красине», Миляев открыл месторождение!

Жора любитесь эффектом, ждет вопросов. Я не смог удержаться от взрыва эмоций:

— Как, когда, где?

Два года мы делили с геологами их надежды и разочарования. Рисковали репутацией, а подчас и головой, когда они говорили: «Здесь надо сделать посадку!» И все безрезультатно. А Катюхов с важностью, равной цене сообщаемых сведений, в телеграфном стиле выдает информацию:

— В конце июля на отмели Амгуэмы, пониже скал, я посадил Миляева и Ганешина. Они пошли по северным склонам Центральных гор и напоролись. Олово и вольфрам — почти чистая руда!

— А где?

— На нашей карте такого названия нет. Смотрите, вот здесь, километрах в сорока к западу от скал. Геологи называют эту гору Иультин...

Взволновавшись, я молча зашагал по косе, глядя под ноги. Вспомнилось, как Зяблов и его ребята рвались к «точке Серпухова», какого страха я натерпелся на Вульфгуэме. Как с упорством фанатика Культиасов сажал меня у пика Гранитного, уверяя, что в нем золото. Не нашли ни олова, ни золота. Но ни у кого не было сомнений, что все это здесь есть. Центральные горы, с какой стороны к ним ни подойди, показывают такие обнажения, которые волнуют самых матерых практиков геологии. Володя Миляев студент последнего курса. С топографом Васей Ганешиным Одинец послал его для обследования северных склонов, сам же решил обследовать обнажения возле озера Якитики, на которые были серьезные надежды. А перо сказочной Жар-птицы досталось не умелому, а счастливому. Вот и не верь после этого в удачу!

Возвращаясь, увидел, что Катюхов, прислонившись к консоли крыла, перекладывал грибы из шлема, ожидая моего приближения. Ему явно не терпелось что-то сказать. Я не обманулся, но услышал совершенно неожиданное.

— Спросить вас хочу, Михаил Николаевич. Вы за мной ничего не замечали?

— Не знаю, что вы имеете в виду, Георгий Иванович, но я очень уважаю вас, знаю, что могу положиться больше, чем на самого себя.

— Значит, не заметили, спасибо вам! А ведь первые полгода, когда приехал, я про себя осуждал, как бы это сказать, ну горячность, что ли, с какой вы за все хватались. Правда, и оправдывал тоже. Думаю, они с Островенко коммунисты, с них спрашивают, надо помогать, чтобы не погорели. А себя понимал как человека не-обязанного, вроде вам личное одолжение делаю...

Не представляя, к чему ведет Катюхов, я с тревогой ждал продолжения разговора. А он, отведя взгляд в сторону, стеснительно договорил начатую мысль:

— После полета на Амгуэму с Ардамацким я начал как-то по-другому все видеть, а окончательно поверил в вас после аварии. После того, как вы решились посадить меня на той горе. А теперь, честное слово, какая-то гордость во мне появилась. Вот летаю здесь, кроме вас, никто об этом и не знает, ни славы, ни орденов за это не получу, а сам себя больше уважаю. Почему, спросите? Потому, что от моей жизни след здесь остается! Вот что я понял...

После этих слов он посмотрел на меня, вроде бы сомневаясь, как я отнесусь к этому признанию, и закончил с явным облегчением:

— Потому я так сегодня и на Гришу набросился. И один полетел, чтобы совесть в нем разбудить. А сейчас думаю, что несчастный он человек, и злость на него пропала!

Услышанное поразило меня. Катюхов умел и любил работать. Но не стеснялся и требовать заработанного. На зимовке он оказался единственным, кто справлялся, что ему начисляется московской бухгалтерией, входит ли туда налет часов, не забыто ли об очередной десятипроцентной надбавке. Если ему казалось, что кто-то на аврале бережет свои силы, то не стеснялся во всеуслы-

шание сказать, что он, Катюхов, за него работать не будет. И вдруг такое заявление!

Сентиментальности в характере Катюхова места не было. Впервые признаваясь в том, чего и сам стеснялся в себе, он боялся недоверия к своей искренности. Я же так обрадовался, что не сразу нашелся, как ответить. Это промедление Георгий Иванович понял как осуждение и уже другим голосом, как будто и не было этого чудесного порыва, стал говорить о деле.

Он доложил, что Москва быстро среагировала на открытие Миляева и все грузы геологов, направлявшиеся в залив Креста, переадресовала на Косу двух пилотов, возле устья Амгуэмы. Там уже разгрузился паром, и он, Катюхов, доставлял продовольствие рабочим, оставленным охранять имущество.

Зима уже заняла позиции на берегу Чукотского моря, но еще не продвинулась на юг, в горы. Здесь господствовала золотая осень. Она рассеяла облачные авангарды зимы, предоставив свободу действия солнечным лучам. Пронзительно голубое небо, хрустальной прозрачности воздух, яркие краски — все разнообразие мира, не скованного полярной стужей, резко отличалось от того, что видели мои глаза всего три часа назад. В полете к бухте Оловянной, следуя ведомым за Катюховым, я не тратил внимания на ориентировку, а, бездумно оглядывая знакомые пейзажи, наслаждался. Перемену декораций в природе, признание Катюхова, открытие Миляева я воспринимал как награду, и крылатая моя профессия казалась лучшей на свете. На душе была ясная погода, и лишь одна заноза уменьшала радость — Бубенцов.

В начале августа он прибыл на смену Сургучеву. Невысокого роста, складно скроенный паренек с курносым рязанским лицом и светло-русыми, почти белыми кудрями. Инициативы не проявлял, но безропотно включался в авралы, что уже хорошо для летчика. Бубенцов прибыл к нам после зимовки в Игарке. Значит, имеет полярный опыт, думал я, и бояться за него не придется. Плавал с нами на «Красине» и держался скромно. Но за прошедшие месяцы постепенно выяснилось, что запах спирта лишил его мужества и самообладания. Летать он умел, ничего не скажешь, но настораживали вроде бы шуточные реплики: «Меньше летаешь — больше живешь» или: «Лучше быть пять минут трусом, чем

всю жизнь покойником!» С базы улетал охотно, но уже дважды застревал на «полярке» в Ванкареме, где открыл золотую жилу полярного гостеприимства. И здесь вынудил Катюхова нервничать и летать одного. Я еще не знал, как поступить с ним, но добреньким не буду. Чукотскую зиму испытывать с ненадежным товарищем нельзя.

В бухте Оловянной меня ожидал ворох новостей. Два часа назад ушел последний пароход, с которого выгрузили дом для аэропорта и группу специалистов: начальника порта Александра Терехова с женой Марией — удивительно красивую молодую пару; механика В. М. Брегман; радиста, моего тезку Мишу Воронина. Энтузиасты! Забегая вперед, могу сказать, что эти замечательные люди в короткий срок создали лучший по тому времени приют для летчиков. Сопровождаемый приехавшими товарищами, я осматривал огромную кучу материалов и имущества. Мне виделась еще одна база, а себя чувствовал человеком, крупно выигравшим в лотерею. Вдруг слышу за спиной знакомый голос:

— Это что? Каминский или оптический обман?

Оборачиваюсь и восклицаю:

— О великие шаманы! Вы сотворили еще одно чудо. Где же вы прятали его?

Пожимая руку, Берестецкий ответил в том же ключе:

— Англичане говорят, что жизнь состоит из дела и разговоров. Я добавил бы: одни делают, а другие разговаривают. Моя участь разговаривать!

Выяснилось, что, добираясь в Анадырь, он сошел с парохода, который, разгрузившись здесь, увез на материк старую смену геологов. Остатки экспедиции он застал в смятении в связи с внезапным отъездом начальника экспедиции Ю. А. Одиноца. Москвой Одиноцу было предписано остаться на вторую зимовку, чтобы организовать освоение месторождения, открытого Милевым. Павел Ольхов, ветеран самой первой экспедиции М. Ф. Зяблова, прямо сказал: «Сбежал! Побоялся, что ему лавры не достанутся!» Только что прибывший геолог М. И. Чаплыгин, оставленный за старшего, растерялся от свалившейся на него ответственности. Берестецкому пришлось срочно проводить собрание. Потому не смог выйти к моменту моей посадки.

И наконец, еще одна неприятность. Мотор Бубенцо-

ва оказался в полном порядке. В контрольном полете на высоту он барахлил от неправильного пользования высотным корректором. Соколов высказал убежденность, что это делалось умышленно. Уезжала старая смена геологов, предстояла выпивка — вот и вся причина.

Узнав о заключении Соколова, я до самого вечера откладывал разговор с виновником. Разговаривал с Берестецким, с геологами, строителями порта, а в голове гвоздем торчала мысль: «Это не может остаться безнаказанным!» И вот, уединившись, я расхаживаю по взлетной полоске и думаю.

Прошедший день неторопливо сдавал вахту ночи. На юге негромко вздыхало море, над головой сгушалась синева неба, на севере бесстрастно замерли горы. В природе царила тишина. Горьким опытом я познавал, как опасно доверяться ей. А у меня на душе тоже тишина, и я злуюсь на нее.

Вот застрекотал движок, в окнах фанерных домиков появился свет. Прохожу мимо дремлющих самолетов и чувствую сердечную теплоту от того, что они есть. Наверное, каждому летчику полезно пережить то, что досталось мне после аварии в Анадыре. Только после такого в твоем сердце будет нежность к «живым» самолетам! И еще думаю, что бури эпохи достигли и этой страны. Самолеты в ней — оружие Революции. Гроном своих моторов они взламывают косный быт здешних людей, ускоряют темп их жизни.

Мысль перекидывается на Катюхова и Соколова.

Никогда не терявший самообладания, со всеми одинаково вежливый, на голову выше всех нас как знаток техники, Соколов являл собою характер стойкий и целеустремленный. Когда я слышу о ком-либо: «Интеллектуал», всегда вспоминаю Юру Соколова. После уехавшего штурмана Димы Морозова в нашем коллективе он ближе всех подходил под это определение интеллигентности и хорошего воспитания. Вспомнив все, что знал о Соколове, я укрепился в мысли, что снисходительность к поступку Бубенцова — предательство Катюхова и Соколова. С этим решением вошел в дом.

На разбор напросился Берестецкий. «Хочу посмотреть, как вы этого слюнтая в оглобли введете!» — сказал он мне.

Расшифровывая дневниковые каракули того перио-

да, я нашел краткую запись о разборе проступка Бубенцова.

В свойственной ему сдержанно-официальной манере Соколов доложил то, что уже рассказал мне днем. После него встал я:

— Григорий Евсеевич! В наших условиях не только успех дела, но даже жизнь наша зависит друг от друга. Вы должны верить мне, а я вам так же, как верю Георгию Ивановичу. Сегодня вынудив его лететь одного, вы лишили себя нашего доверия. Объясните свой поступок!

Бубенцов. Над перевалом мотор забарахлил, и я решил вернуться.

Каминский. Но Соколов убедился, что это неправда!

Бубенцов. Если летчик не уверен в матчасти, по наставлению он обязан вернуться на аэродром вылета.

К моему удивлению, наш тихоня Гриша, что называется, лез в бутылку. Самоуверенный, даже наглова-тый тон его ответов не свидетельствовал о желании по-виниться.

Каминский. Вижу, что вы хорошо помните наставления, но сейчас речь о другом: что заставило вас прекратить полет на задание при ясной погоде и исправной матчасти.

Бубенцов. Мотор стал хорошо работать потому, что Соколов что-то исправил.

Соколов. Я осмотрел его перед полетом, у меня не было никаких сомнений. А забарахлил от умышлен-ных действий летчика. Он рассчитывал, что я не заме-чу этого.

Дальше допрашивать Бубенцова не имело смысла, и я попросил Катюхова высказать свое мнение.

Катюхов. Соколов человек верный, а Гриша, тут дело ясное, опять темнит. Я ему не верю! Он и сегодня где-то перехватил. Потому и на рожон лезет...

Бубенцов. Это повар посочувствовал. Оставил чуточку для храбрости...

Катюхов. Не там ты свою храбрость показываешь, Гриша. Из-за тебя я сегодня выговор от командира схлопотал, а ведь я дело делал. Ты же дурака валял с утра до вечера. Как же мы с тобой зиму жить будем?

Берестецкий. Вы его уговариваете, как дите ма-лое, а он еще и куражится. Отправляйте его на мате-рик, как не оправдавшего доверие!

К а т ю х о в. «От гуся нельзя требовать, чтобы он стал лебедем».

И тут произошло явление, поставившее нас в тупик. Бубенцов весь сжался, будто его ударили. Растерянно поморгав, голосом, в котором ничего не осталось от только что слышанного, искательно переводя взгляд с одного на другого, стал умолять:

— Товарищи!.. Товарищ командир!.. Больше этого не будет. Клянусь здоровьем, не будет... — На побледневшем лице выступила испарина, а из глаз беззвучно покатились слезы. Будто в этой кудрявой голове имелся автомат, при надобности включавший обильное слезоизвержение. Не ожидая столь внезапного перехода, мы переглянулись с недоумением, а у Берестецкого брови полезли на лоб. Все растерялись и ждали моего слова. Но я не составил исключения...

Везде и постоянно я встречал людей, готовых первыми идти на трудное или опасное. Мною руководили командиры, посылавшие на рискованные задания. Но я знал, что в случае неудачи или промашки они не оставят меня одного перед законом или высшим начальством. Таким был комдив Гроховский, командир Холобаев в армии, Волобуев и Конкин в Арктике. Я видел в деле таких, как летчик Виктор Богданов, полярник Игорь Ардамацкий, геологи Зяблов и Кремчуков, партийные работники Пугачев, Маслов, Тулупов, директор оленесовхоза Шитов и многие другие. С радостью я выполнял задания первых и брал пример с других. Главное в этом примере — ожидание от каждого человека лучшего в нем. Так поступал и я. Шли и за мной, если видели, что это не каприз, а дело, нужное всем.

Сейчас, дорогой читатель, я не хочу задним числом рисовать себя идеальным. Хорошо знаю, что бесчисленное число ошибок допустил из-за игры самолюбия, нетерпимости, неумения убедить, обидной резкости и поспешности. Потому не всегда встречал понимание самых лучших своих намерений. И все же считаю главным в себе вот это ожидание лучшего в человеке. Когда оно не оправдывалось, возникала какая-то детская обида, и не сразу я находил свою вину.

Бубенцова нельзя было ставить рядом с Мигуновым. Просто он был мягким, как глина. А из глины легко грязь получается. Не имея стержня убеждений, по натуре своей добрый человек, он как поплавок реа-

гировал на все колебания житейской поверхности, как флюгер поворачивался на любой ветер.

После минутной растерянности я сказал, обращаясь к Бубенцову:

— Григорий Евсеевич!.. Да будьте же мужчиной, поднимите голову! За эти месяцы вы должны бы понять, что здесь клятв не дают, их выполняют. То, что вы сделали, — сегодня проступок, но завтра он может стать предательством. Мы не можем этого допустить. Подумайте, сможете ли быть твердым в слове. И завтра решим, останетесь вы в отряде или уедете.

Бубенцов разбудил меня на рассвете. Даже в сумерках было заметно, как он осунулся. Глаза ввалились, неловкая улыбка искажала лицо. Чтобы не будить спящих рядом Катюхова и Берестецкого, зашептал мне на ухо:

— Товарищ командир, простите, что разбудил. Я совсем не спал, думал, не дождусь и утра. Мне очень стыдно за «дурочку», какую я разыграл перед вами. Соколов верно сказал. Когда узнал о проводах, все на свете забыл, прямо до помрачения. В Игарке мне все сходило, но только здесь я почувствовал, что человеком становлюсь... Если прогоните — пропаду совсем.

Боясь обнаружить свою радость, я ответил:

— Григорий Евсеевич! Я рад, что вы нашли в себе мужество для признания. Оставайтесь! А сейчас, — я посмотрел на часы, — идите и спите. Я разбужу вас через четыре часа.

Эти слова я сказал деловым тоном, опасаясь вложить в них сердечность. Пусть чувствует, что доверие условное.

Забегая вперед, скажу, что Гриша Бубенцов свое слово сдержал. Иногда он даже проявлял инициативу и высказывал полезные всем предложения. Однако на вторую зимовку он не остался. Уехав, уволился из полярной авиации, и дальнейшая его судьба осталась мне неизвестной.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ТЕМ, КТО РИСКУЕТ

Кажется, нет более различных областей человеческой деятельности, чем авиация и геология. Авиатор рвется в небо, геолог не отрывает глаз от земли. Но вот факт, что теперь геолог или изыскатель уже не пред-

ставляет свою работу без помощи самолета или вертолета.

Начиная с колеса и способов добывания огня, мы не знаем авторов многих изобретений, которым человечество обязано развитием своей материальной культуры. Но мы в состоянии назвать автора каждого значительного открытия в наше время. Это необходимо людям. Это побуждает их соревноваться в критическом отношении к действительности. Это поощряет тех, кто первым заметил устаревшее и тормозящее развитие, кто берет на себя риск внедрять в жизнь то, чего еще не было.

Человеческое сознание и практика консервативны. Это предохраняет от поспешных действий. Негативной стороной консерватизма является сопротивление рождению нового. Новое вынуждено добывать себе признание с боем. А в бою неизбежны потери. Потому, как правило, жизнь новаторов трудна, но слава им, идущим впереди! Исторический опыт показывает, что во все времена находились люди, поднимавшие мысль к новым представлениям о возможном. Критически осмысливая достигнутое предшественниками, они двигали вперед науку и технику, искусство и общественную мысль. Именно через таких людей воплощается и переходит в человеческую практику творческий потенциал, присутствующий человеческому разуму.

Я не осуждаю тех, кто предпочитает идти широкой, проторенной дорогой. На ней нет неожиданностей и опасностей, какие ждут первооткрывателя. Как говорится, кесарю — кесарево. Но мне больше по душе те, кто не боится риска.

В начале жизни, в школьном классе, человек узнает то, что открыли бесчисленные поколения до него. Ему уже не надо додумываться, что земля круглая, а дважды два — четыре. Однако, взрослея, люди по-разному относятся к полученным знаниям. Некоторые считают их для себя достаточными, чтобы зарабатывать на жизнь, и большего им не надо. Для людей такого типа не имеет значения — семь классов он окончил или университет. Других на достигнутом останавливают внешние обстоятельства их жизни. Они добросовестно работают в пределах служебных инструкций, не посягая на то, что не по силам. Таких большинство, и они-то и являются хранителями консервативного начала в общественном сознании.

Но, к счастью человечества, есть и третья категория людей. Для них узnanное лишь граница, за которую их влечет. По свойствам натуры, по характеру это открыватели и уллучшатели.

Мне довелось стать очевидцем начала содружества авиаторов и геологов.

К 1935 году отечественная авиация вышла из раннего отрочества. Однако еще сохранялось убеждение, что для самолетов необходимы специально оборудованный аэродром и ангар для укрытия от непогоды. Хотя уже накопился достаточный опыт посадок вне обжитых мест, никому не приходило в голову, что самолет можно умышленно посадить в горной местности, чтобы доставить геолога к месту его поиска.

На Чукотке аэродромов не было, однако ее авиационное освоение началось с постройки ангара. Следуя традиции, казалось бы, и летать на Чукотке следовало с удвоенной осторожностью. Летать, строго соблюдая существующие в авиации инструкции и наставления. Ведь каждому летчику сто раз сказано, что они написаны кровью погибших до него. Но в этом случае не произошло бы событие, о котором веду речь.

Командир нашего отряда, в прошлом балтийский матрос, участник гражданской войны, Евгений Михайлович Конкин был человеком смелой мысли и действия. От догматического отношения к инструкциям ему помог освободиться опыт полетов для спасения челюскинцев. Он был вторым пилотом Анатолия Ляпишевского, первым испытывшим в этой эпопее, почему «фунт арктического лиха».

В августе 1935 года, через неделю после выгрузки отряда на мысе Северном, Конкин бестрепетно посылает летчика Виктора Богданова с бортмехаником Сергеем Баниным в первый полет. И не простой полет. Надо было перелететь через Анадырский хребет с северного побережья на южное. Без связи, по местности, не нанесенной на карту. Задание: в заливе Креста разыскать геологическую экспедицию М. Ф. Зяблова и с воздуха ознакомить геологов с их маршрутами к отдаленному месту поисков.

Богданов оказался достойным доверия своего командира. Он не заблудился и нашел базу геологов, но выполнением поставленной задачи не удовлетворился. На свой риск и страх, сознательно выйдя за пределы

порученного Конкиным, он стал делать посадки в горах, доставляя разведчиков почти до места за сто — сто пятьдесят километров.

Это только звучит страшно: посадки в горах. Никакого чуда в них не было. Среди гор текут реки, оставляя песчаные, галечные или каменные косы. Кое-где у подножий хребта попадались террасы и другие достаточно ровные поверхности. Требовалось посмотреть на эти природные возможности непредвзято и найти в себе смелость сделать первый шаг для их использования. И Богданов это сделал!

Теперь мы смотрим на это просто. Рядовые летчики имеют на своем счету сотни первых посадок на льдах океана, в Антарктиде и других безлюдных местах. Но это теперь! В те годы поступок Богданова должен был повлечь строгое взыскание за самовольство и риск. Но Конкин, спасибо ему, расценил действия своего летчика как самостоятельность, необходимую в этих неосвоенных местах.

Открытие Богданова было из тех, про какие говорят, что они «носятся в воздухе». Через год его повторили летчики Дальстроя. Но вот перед нами наглядное подтверждение живучести предрассудков. До войны этим опытом не воспользовались даже там, где он родился, — в горной геологии Главсевморпути. На Таймыре, Анабарском массиве и других местах Заполярья к месту поисков геологи по старинке добивались «на своих двоих» или на лодках по порожистым рекам.

В 1947 году, наблюдая «страдания» геологов Хатанги, я рассказал им о чукотском опыте. Опыт полетов с посадками в партизанских зонах и дальнейшее развитие авиационной техники подготовили сознание авиаторов и геологов к принятию новшества без прежних страхов. С 1948 года самолеты, а позднее и вертолеты стали не переменными спутниками разведчиков во всех труднодоступных районах страны.

Трудно переоценить значение внеаэродромного полета Олега Константиновича Антонова Ан-2, появившегося на смену ветерану У-2, можно смело сказать: он совершил переворот в деле освоения самых труднодоступных мест нашей страны.

С весны 1936 года дело, начатое Богдановым, пришлось продолжать мне со своим другом Митей Остревенко. В конце лета, разведав горы, прилегающие

среднему течению Амгуэмы, геологи вышли к ее верховьям, берущим начало на восточных склонах Центральных гор Анадырского хребта. Однажды с главным геологом экспедиции Зяблова Ю. А. Кремчуковым и начальником партии М. Г. Бритаевым я вылетел для обзорной рекогносцировки района, прилегающего к озеру Якитики.

В эпосе чукотских оленеводов это озеро окружено легендами. Одна из них, о волшебнике Тадлеане, превратившем в гору охотника Матачингая, уже знакома читателю. Впервые увидев легендарное озеро, я не удивился, что девственный ум кочевников обожествляет силы, создавшие эту мрачноватую красоту. Но моих пассажиров интересовали не легенды, а почва для их произрастания.

Однотонно серого цвета округлости прилегающих сопок и отрогов главного массива не сулили надежд на что-либо интересное. Ветер времени выровнял их бока осыпями, они покрылись песком и глиной, поросли лишайником и мхом. Я уже научился различать с воздуха граниты, диабазы, порфириты и другие изверженные породы. Только в них могли быть включения кварца и других спутников искоемых металлов. Здесь моим глазам предстали бесперспективные, по геологической терминологии, оффузивы.

Но вот мы увидели необычный разлом одного из отрогов. Разлом образовал сквозное ущелье с отвесными бортами значительной высоты. Представьте себе каравай и отрезанную от него горбушку. На крутых боках разреза, как изюм в хлебе, обнаружилась начинка — разноцветные сбросы и обнажения. Мои геологи превратились в охотников, увидевших дичь. Поочередно высываясь из своих кабин (мой У-2 был трехместным), они что-то кричали друг другу, показывали руками, утвердительно кивали или, не соглашаясь, отрицали — вели дискуссию, понятную только им. После посадки Юра Кремчуков назвал мне чуть ли не полдюжины спутников самых редких металлов, включая ртуть.

В 1936 году людям экспедиции Зяблова потрогать руками увиденное с воздуха не пришлось. Эту задачу они оставили новой смене вместе с предчувствием, что ей посчастливится сделать открытие. С такими надеждами меня атаковал новый начальник Ю. А. Одинец.

Он просил посадить его вблизи загадочного ущелья. Я представлял, что посадка будет трудной, но верил в открытие и потому не сопротивлялся.

Стоял отличный солнечный денек июня 1937 года. Амгуэма еще не вошла в берега, и на протяжении двухсот километров я обнаружил лишь две знакомые площадки. Не могу похвалиться, что такое обстоятельство оставляло меня равнодушным. Полеты на Чукотке выработали привычку держать в уме все места, где при нужде можно приземлиться. В тот день их почти не было. Через два часа полета я вышел к знакомому разлому и несколько раз пролетел через его узкость. Когда Одинец дал знать, что увидел все, что нужно, стал искать место для посадки.

Силы, способные мять и сдвигать кору земли, как кожуру апельсина, не удовлетворялись разломом отрога. В одну линию с ним, направлением к норду, в каменном ложе они вырубили узкое и глубокое корыто. Ручей, выбегавший из ущелья, за тысячи лет до краев заполнил его. На глаз оно имело более двадцати километров в длину и от одного до пяти в ширину.

Убедившись, что берега озера крутые, ни отмелей, ни террас не имеют и что ближайшая площадка на Амгуэме не ближе двадцати километров, я стал рассматривать каменную плиту, составлявшую подножие восточной гряды разлома.

После долгого кружения высмотрел узкую полосу вдоль одной из трещин. На глаз метров девяносто-сто, на пределе возможностей самолета и моего опыта. И что-то оставалось на долю удачи. Что там в конце, под кустарником: канава, яма или ровный грунт?

Позднее я сам себе задавал вопрос: почему решил-ся на посадку?

Этот эпизод интересен с точки зрения технологии работы летчика в горной местности. В моей повести он необходим как подтверждение значимости открытия Богданова. Однако я имею в виду другую цель — раскрыть психологию поступков такого рода. Я помнил, что ближе двухсот километров нет ни одной живой души. Поломать самолет — значит обречь себя и геолога на бедствие. Больше того — оставить без руководства на неопределенное время и экспедицию, и отряд. Но для компромиссов с собственной совестью достаточно любого повода. Я мог бы сказать, что идеи рождают муже-

ство, что я шел на известный риск во имя общего блага и т. д. Но за благородными побуждениями всегда таится что-то личное, заглушающее голос осторожности. Иногда тщеславие: «Вот я какой, что могу сделать!» Чаще честолюбие: «В своем деле я могу то, что другому не по зубам!» Какое-то место занимали во мне и эти мотивы, но главное было стремление ускорить открытие. Оно благородно, но в нем присутствовал и корыстный расчет — быть в доле на него. Короче говоря, если бы это была рядовая работа, вероятно, не решился бы я пренебречь здравым смыслом.

Не скажу, что выполнял посадку хладнокровно. Рискованные поступки всегда волнуют. При их исполнении учащается биение или, наоборот, замирает сердце. Щекотный холодок все чувства держит в напряжении.

Планируя на самой малой скорости, в последний момент выключив мотор, я «упал» на три точки против замеченных ориентиров. Самолет благополучно остановился в кустах. Их высота не превышала девяноста сантиметров, как раз по крыло. На элеронах обнаружил небольшие продольные разрывы полотна. Осмотрев площадку «ногами», я подивился выносливости У-2 и подумал, что прошлые уроки слишком быстро забываются.

Переведя дух и отвечая на благодарные слова пассажира, сказал:

— Ну, Юрий Алексеевич, посадка стоит хорошего открытия. Если вернешься с пустыми руками — огорчишь меня здорово! Сейчас бог миловал, но вторично здесь не сяду. Выходи на Амгуэму, послезавтра буду ждать тебя на пятой базе.

В назначенный срок я с нетерпением ожидал его на указанном месте. Он пришел до предела усталым и мрачным. Сказал огорченно: «Чувствую — рядом прошел, а не увидел! Правильно говорится: не родись красивым, а родись счастливым!».

В свои 36 лет Ю. А. Одинец уже имел солидный опыт работы в отдаленных местах. Руководил экспедициями на Индигирке, на Колыме. Руководителем он был волевым, предусмотрительным, но богиня удачи не благоволила к нему. И не в обиду будь сказано, в какой-то мере это зависело от свойств характера.

Приехав на смену Зяблову, он, конечно, обрадовался невиданным возможностям, какие предоставил экспедиции наш отряд. Но и это новшество он воспринял

как-то приземленно. Летный отряд получает от экспедиции деньги за налетанные часы, значит, летчики, как извозчики, должны возить его сотрудников, куда он, Одинец, скажет. Но за деньги ни один летчик не станет делать таких посадок, которую я описал. Для отваги и даже для простого усердия необходим стимул в творческом, а не исполнительском участии в общем деле. Лиши человека радости чувствовать себя хоть в чем-то малом, но соратником, и все! Не жди от исполнителя порыва, который может сделать чудеса. Ю. А. Одинец был лишен чувства романтики и невольно гасил его в окружающих. А что бы мы ни говорили, романтика как вдохновляющая форма настроения человека необходима в каждом деле.

Что касается «тайны озера Якитики», то она в те годы так и осталась тайной.

ЕЩЕ О РИСКЕ

Накануне дня нашего вылета из Оловянной на север Берестецкий решил провести со мной воспитательную работу. Начал он издалека:

— Ты знаешь, что из Москвы до Магадана я добирался на самолетах. На разных самолетах, с разными летчиками я летел почти два месяца. Я интересовался работой летчиков и уяснил, что для них самое страшное — внеаэродромные, вынужденные посадки. На Чукотке летать мне пришлось мало, но почти четыре тысячи километров, от Анадыря до Певека и обратно, я проехал на собаках. Потому могу сказать по Маяковскому: «Для посадок самолетов Чукотка мало оборудована!» За эти два дня меня поразили рассказы о ваших посадках в горах. Геологи восхищались, а я подумал, что вы все, а ты, как командир в частности, рискуете без меры. Самолетов здесь мало, нужны они позарез, и рисковать ими преступно. Не следует ли мне, начальнику политотдела, укоротить авиаторов? Что ты на это скажешь?

— Скажу, что следует условиться о терминологии. Что ты называешь риском?

— Всякое отступление от существующих правил и инструкций. Они выработаны опытом и, как у вас говорят, написаны кровью погибших летчиков.

— Кто же может, находясь в Москве, решать, что

необходимо и разумно на Чукотке? Доверив мне пост командира, тем самым Москва доверила все.

Москва далеко, а прокурор близко. Боюсь, что его не удовлетворит столь широкое толкование доверия Москвы.

— А я не думаю, что прокуроры сплошь буквоеды. Они обязаны видеть не только форму, но и ее смысл.

— Так ты думаешь потому, что еще не сидел перед следователем. Он обязан искать причину происшествия в нарушении законной формы, в данном случае полетных инструкций.

— Оставим в стороне законников и будем рассуждать по существу, чему нас учит партия. Нигде еще летчики не делали посадок в горной местности, а геологи не догадывались о пользе самолетов в их работе. Но это же факт, что все изменилось с того дня, как Виктор Богданов сделал первую такую посадку в экспедиции Зяблова. Кому стало хуже, что возник полезный опыт?

— Речь идет о крайностях, о таких посадках, при которых играет роль — повезет или не повезет. А таких посадок на твоем счету немало.

— «Везение» — это мистика. Везет тому, кто умеет и смеет. Что и доказал Богданов, а за ним я и другие, не бог весть какие артисты в летном деле.

— Это не ответ, почему ты летаешь один через сотни километров, на которых не сыщешь живой души. Сдохни мотор не в подходящем месте, и пропадешь ты, как Волобуев. А не ты, так другой летчик, которому подаешь пример.

— Ты прав, начальник политотдела! Такое может случиться. И я понимаю, что одиночные полеты здесь опасны, а с точки зрения прокурора противозаконны. Но что поделаешь, если летчиков три, а не четыре, что наши самолеты могут поднять самое большее двух пассажиров. Если я стану страховать себя и летать с бортмехаником, то придется вывозить и оставлять в безлюдном месте одного геолога. Это еще опаснее, да и сам изведешься, пока доставишь ему напарника.

— Ну ладно. А почему ты в одиночку полетел с Одином на озеро Якитики да еще решился на такую опасную посадку?

— Абрам Григорьевич! Ты можешь поставить мне еще сто вопросов, и все ответы будут не по инструкции. Нельзя всю жизнь прожить под колпаком, изолирую-

щим от опасностей. Кроме инструкций, есть еще человеческий порыв, желание сделать для Родины максимум посильного. Я лично так понимаю стахановское движение. За что же ты, политработник, с меня взыскиваешь?

Возражая Берестецкому, отстаивая свои суждения, я был благодарен, что он не переходил за границы товарищеского убеждения. В моих глазах этот не крупный человек стал выше ростом, когда в заключение, по-дружески положив руку на мое плечо, сказал:

— Я не взыскиваю, а призываю к осмотрительности. Чтобы риск не стал для тебя спортом. Иначе и сам голову сломишь и дело загубишь.

— Три года назад, Абрам Григорьевич, я делал показательный прыжок с парашютом на глазах моего начальника Гроховского и секретаря ЦК ВЛКСМ Косарева. Из тщеславных побуждений открыл парашют у самой земли. Так вот, Гроховский, человек, рисковавший своей жизнью сто раз, сказал, что рисковать надо для дела, а не для самолюбия. А Косарев добавил, что моя жизнь не личная собственность, а достояние республики. Я это запомнил и зря, не для дела, больше не рискую. Но, конечно, я могу и зарваться, где-то оплошать, потому спасибо тебе на добром совете.

— Я рад твоим словам и хочу, чтобы ты не забывал то, что сказал тебе Косарев.

Разговор на этом, наверное, и закончился бы, но прибежал радист экспедиции и позвал в рубку по вызову Анадыря. Мы пошли вместе и из-за спины радиста читали слова, появляющиеся на бланке:

«У аппарата Волковой и Тевлянто тчк
Здравствуйте зпт товарищ Каминский тчк
Просим вас прилететь в Анадырь тчк Дело
связано с выборами в Верховный Совет тчк
Надо немедленно перебросить на культбазу залива Лаврентия и далее на север
шесть уполномоченных окрисполкома и
окружкома».

Я оглянулся на Берестецкого, ожидая его подсказки. Но тот лишь развел руками. Тогда я ответил:

— Хорошо! Завтра тремя самолетами мы заберем всех сразу. Приготовьте на Земле Гека бензин, пассажиров и обеспечьте прием с радиостанцией.

— Товарищ Каминский, надо, чтобы вы селились на мысе Обсервации. Земля Гека нас не устраивает.

Прошу вас, читатель, откройте эту книгу там, где рассказывается об аварии в Анадырском лимане, где описана площадка на мысе Обсервации. Не думал я, что так скоро придется еще раз искушать судьбу. Но теперь руководителей округа не убедишь, что это опасно и противоречит всем инструкциям. Если раз сел и взлетел, почему же нельзя повторить? Скрепя сердце я дал согласие.

Анадырский «аэродром» не мог принять больше одного У-2. Поэтому решил, что рейсы между Оловянной и Анадырем буду выполнять я. Всегда легче рисковать самому, нежели переживать за другого. А дальше на север уполномоченных доставят Катюхов и Бубенцов, летая в паре Берестецкому в продолжение разговора сказал:

— Тебе повезло, Абрам Григорьевич, доставлю до дома, но ты объясни мне необходимость «кордебалета» на «груше» мыса Обсервации?

— Такая необходимость есть. Выборы назначены на 12 декабря — срок близкий. Дело новое, и люди на местах не представляют, что это за «штука» — тайное голосование, избирательные комиссии и персональные бюллетени. Доставить инструкторов сейчас могут только ваши самолеты.

— Но посадки на мысе Обсервации связаны с риском, а ты только что убеждал меня, что этого не следует допускать.

— Я убеждал тебя в другом, но, кстати, в данном случае риск тебе разрешен высшей инстанцией.

— Для прокурора, по твоим же словам, такое разрешение не аргумент.

— А ты, Михаил, убедил меня, что тебе доверено самому решать, когда и как надо действовать. Так вот и решай, не прячась за спину политотдела.

— Ну что ж, один — ноль в твою пользу, Абрам Григорьевич!

Не буду описывать, чего мне стоили посадки и взлеты с мыса Обсервации. Богиня удачи помогала мне, как родному брату, и тремя рейсами я вывез из Анадыря всех шестерых, а еще через несколько дней они оказались в тех местах, куда их командировали. Однако, перебросив последнюю пару в Оловянную, ночевать я вернулся в Анадырь. Директор Чукотского треста обещал дать мне бочоночек красной икры и килограммов два-

дцать кетовых балыков для отряда. Сверх того я выпросил из подсобного хозяйства треста пару живых поросят. Но улететь налегке не удалось и на этот раз. Пришлось взять пассажиром новенького инструктора окружкома. Откровенно говоря, был рад, что на такое расстояние полечу не один.

Ночевал я у Берестецкого. Провожая в последний полет, он сказал:

— Признаюсь, каждый раз, когда ты садился и взлетал, я выходил из дома и смотрел, благополучно ли это кончится. Волковой настаивал, я не запрещал и чувствовал себя соучастником преступления. Если бы ты побил машину или, не дай бог, покалечил людей, то мне по долгу службы пришлось бы преследовать тебя как аварийщика. Признаю, что ты умеешь делать рискованные посадки, но к тому же тебе и везет здорово. А кому долго везет, тот перестает учитывать противодействующие факторы. Рад, что все обошлось, но хочу по-дружески предупредить: бойся судьбы, когда она расточает ласки!

— Учту, Абрам Григорьевич! Но и ты учитывай, когда будешь предлагать рискованные полеты.

— А ты всех слушай, да не всех слушайся!

Мы рассмеялись и расстались друзьями.

МЕРА ТВЕРДОСТИ

Каждый может представить радостное удовлетворение, которое испытывает хорошо потрудившийся человек, возвращаясь домой. С этим чувством лечу по «большому кругу» над базой, вглядываясь в знакомый пейзаж. Ищу перемен, угадываю, кто и что делает на земле. Собственно, смотреть особенно не на что. Ангар, невдалеке двухэтажный дом, рядом еще домик на четыре комнаты, отдельные строения бани, кузницы с пристройкой — убежищем для трактора. Вот и вся наша база. Хозяйство немудрящее, даже бедное, но для меня это все родное, трудовым потом политое. Здесь близкие товарищи, наши жены, дети. Здесь оседлое, домашнее тепло, без которого невозможно долго обходиться человеку в суровых условиях.

В повседневной жизни люди долго не замечают изменений, какие происходят в результате их деятельности. Необходимо какое-то событие, толчок для осозна-

ния разницы между тем, что было, и что уже есть. Для меня таким итоговым моментом оказался день этого возвращения на базу. Может, от спада напряжений, испытанных при посадках на мысе Обсервации, а может, от сознания, что ими сделано то, о чем и мечтать не могло руководство округа, — вероятно, то и другое вместе как-то внезапно осветило мне новое качество, какое приобрел наш маленький отряд в жизни Чукотки. Приобрел не только трудом и мужеством его людей, но и благодаря базе, этой точке опоры их усилий.

Авиационный отряд стал динамичной силой, своего рода сердцем Чукотки. Уезжая полтора года назад, Конкин завещал мне добыть авторитет отряду — этот завет выполнен. Теперь округ не только верит, но просто не может и обойтись без авиации.

Я оглянулся на своего пассажира — инструктора окружка Геннадия Воротникова. Ему нет и тридцати, и он впервые видит Арктику. Сегодняшний полет для него воздушное крещение. Почти шесть часов он летел со мной над тундрой и горами. Этот тощий парень со сросшимися черными бровями видит то же, что и я, но для него это пустыня. Он не заметил ни одной тропинки, проложенной человеческими ногами, ни одного дыма от огня, зажженного человеческой рукой.

В начале жизни на Чукотке в какой-то мере и я испытывал такое, но это было сто лет назад.

Был один из последних дней осени, когда солнышко еще поднималось над южным горизонтом. В зените высокая, но плотная облачность. Она кончалась на юге, оставив для глаза кусочек голубого неба. В этот просвет, через зубцы гор, солнышко посылает свои лучи параллельно земле. За всеми предметами стелются длинные тени. У ангара стоят самолеты Катюхова и Бубенцова. Вероятно, они прилетели только вчера. На полосе, приглаженной тракторными саними, видны следы их колес. Около самолетов работают почти все наши мужчины. От мыса, где в шести километрах расположился чукотский поселок и полярная станция, вьется колея, по которой трактор на подходе к домам тянет сани с углем. В спокойном расположении духа я выполнил посадку и зарулил к ангару.

Меня окружили и закидали вопросами, доставили удовольствие своими восторгами по поводу поросят, обещавших небывалое украшение зимовочного меню. Наш

веселый разговор был прерван в самом разгаре. Издали, крича и размахивая руками, бежал Саша Сиверин, хозяйственный рабочий.

— Товарищ командир! Беда, трактор утоп!

— Почему, как «утоп»? — в один голос вырвалось у всех присутствующих.

— Журавкин поехал не по мосту, а через лагуну и...

— Ах, дьявол его разорви, что наделал! Бежим, Георгий Иванович! Саша, достань из хвоста поросят и устрой в теплом месте! — договорил я на бегу Сиверину.

Праздничное настроение сразу померкло. Легкомысленность тракториста грозила бедой. Почти весь наш уголь находился у мыса, там, где его выгрузили с парохода.

Из майны посередине лагуны выглядывала крыша кабины и выхлопная труба ЧТЗ. Над мотором еще курился пар. Взволнованная толпа осыпала Журавкина злыми репликами.

— Смотри, ухарь-купец какой нашелся!

— Тоже мне стахановец, Арктику покорить захотел!

— Трепаться он мастер, а не Арктику покорять!

— Я же пробовал. Лед сорок сантиметров! — растерянно оправдывался виновник. Мокрый, посиневший, он подпрыгивал то на одной, то на другой ноге, выливая воду из сапог и пытаясь справиться с ознобом. Вид у него был не героический.

— Морской лед не родня пресному. Хотя бы спросил, если сам не соображаешь! — наставительно заметил Катюхов.

От досады у меня закаменело в груди. Стараясь не взорваться, я сказал:

— Идите в дом, переоденьтесь и вместе с Соколовым думайте, как поправить дело!

Без трактора жизнь авиационной базы немислима. Сотни тонн бензина, масла, угля, всевозможного снабжения нужно перевезти с места выгрузки. Без трактора нельзя перебазировать по суше наш гидросамолет к лагуне после зимнего отстоя, а осенью после навигации затащить в ангар. Летом на тракторе к гидроаэродрому добирались экипажи и подвозились грузы. Да мало ли дела транспортной машине в условиях полярного бездорожья?

Первые шаги строителей базы сопровождал трактор марки «Коммунар». Первенец Харьковского тракторного,

он честно отработал первую пятилетку на стройках Дальнего Востока. Изрядно подносившись, вместо заслуженного капремонта он получил назначение на еще более трудный участок, в Арктику. В последнюю зиму только мастерство Драневича, Мохова и других механиков заставляло ветерана трудиться. Когда прибыл новенький ЧТЗ, наша радость не знала границ, а теперь дурацкий случай вынуждает нас вновь возлагать надежды на «Коммунар».

Жилым был лишь второй этаж нашего дома из восьми комнат, разделенных коридором. На первом этаже размещались: на одной стороне продовольственный и вещевой склад, а на другой — кухня и столовая. По морскому обычаю кухня именовалась камбузом, а столовая — кают-компанией. Это была комната около тридцати квадратных метров. В ней размещались шесть столиков на четыре человека каждый. Стульев не было, их заменяли скамейки и табуретки, изготовленные строителями. Освещалась наша кают-компания двумя широкими окнами, смотрящими на северо-запад, а вечером двумя двадцатилинейными керосиновыми лампами, висящими под потолком. Третью лампу вешали на стену или ставили на стол при необходимости.

Эта комната была для нас не только столовой, но и клубом, местом отдыха и собраний.

Такое собрание, традиционно торжественное по случаю благополучного окончания навигации, состоялось вечером того злополучного дня. Употребляю термин «собрание» по привычке. Лишь в особых случаях, два-три раза в году, выбирался у нас президиум и велся протокол. Обычно каждый рабочий день после ужина заканчивался обсуждением событий прошедшего дня, намечались планы на завтра. Эти дискуссии давали возможность каждому чувствовать себя равноправным участником общего дела. Никто не поднимался с места, пока я, Катюхов или кто-либо по своей инициативе не начинал общего разговора. Высказывались с места, не поднимаясь, не спрашивая разрешения, перебивая друг друга репликами, порой насмешками. Розыгрыш и подковырка в наших условиях являлись своего рода витаминами для бодрого настроения. Отмечу кстати, что, несмотря на кажущуюся беспорядочной форму наших разговоров, соблюдался неписанный товарищеский этикет, не позволявший кому-либо навязывать свою точку зрения «горлом».

К старшим относились без заискивания, но уважительно. Упреки высказывались резко, а в глаза хвалили редко. Право поощрять благодарностью от имени всех признавалось только за мной, и то была одна из немногих привилегий моего командирского положения. Таким правом я пользовался, не обесценивая его, но и не упуская случая отметить инициативу и находчивость в работе.

За прошедшее лето дела отряда давали основание для удовлетворения. Много полезного наши самолеты сделали на самой Чукотке, а сверх того пришлось участвовать в морской экспедиции по поискам самолета Леваневского.

Я поздравил товарищей с благополучным окончанием колесных полетов, сообщил о благодарности, которую отряд заработал от окрисполкома, предупредил, что впереди самое трудное: полет в Анадырь за избирательными документами и доставка их на полярные станции северного побережья. Не хотелось мне хорошие итоги пороть разбором поступка Журавкина. Поэтому лишь в конце сказал, что потеря трактора досадно осложнила нашу жизнь и придется восстанавливать списанный в утиль «Коммунар».

Понукать ораторов не требовалось. Механизм семейной демократии действовал безотказно. Наша повариха Ольга в боевой позе «руки в боки» негодующим голосом начала:

— И что же это, товарищ командир, получается? А? Какой-то разгильдяй всех нас в холодную яму пихает, а вы даже имени его не называете! Если бы он не спал как барин до полдня да не шлялся с ружьем за утками — так давно бы все перевозки кончил. Это Мигунов в ваше отсутствие избаловал его. А мы теперь, по их милости, должны трудности устранять? Пусть на саночках возят нам уголь с берега!

— Я человек маленький (смех, возгласы: дядя достань воробышка!), но уже три года на этой зимовке, — начал моторист Сережа Меринов, парень богатырского сложения и спокойного характера. — В ваше отсутствие, товарищ командир, я обратился к Петру Васильевичу по имени-отчеству, а он встал передо мной и спрашивает: «Я тебе кто?» Не поняв, чего он хочет, — командир, отвечаю. Не командир, а «товарищ начальник!» Так вот не забывай! И пошел, даже не спросив, зачем я к нему пошел. После того я старался никак к нему не обра-

щаться, делал что велел. Ольга правильно сказала, что только Георгий Михайлович (Журавкин) был на особом положении у вашего заместителя. Как будто не в Арктику приехал, а на курорт...

Меринов собирался что-то еще добавить, но его перебил Андрей Дендерюк, тоже моторист. Дендерюк был парнем нервным, занозистым, но уважаемым за прямо-ту, справедливость и горячность в работе.

— Куда смотрят наши командиры, чего ждали, давно пора обсудить Мигунова, чтобы не позорил отряда... А Журавкину одно наказание — наладить «Коммунар». Повозится с ним, прочувствует, что потерял. Одного бы его заставить, да нельзя одному, пусть уж останется Тымнеро за помощника! И пусть Журавкин знает, если наши детишки станут мерзнуть — ему тоже не будет сладко!

Не буду утруждать читателя описанием других выступлений. Отмечу лишь попытку Мигунова оскорбиться. Вопреки обычной для него невозмутимой солидности во время речи Дендерюка он вскочил как ужаленный.

— Я протестую, товарищ командир, против этих гнусных нападок. Мой боевой орден...

Шквал реплик, одна другой резче, помешал ему высказать свою обиду, и, отчаявшись, он сел, досадливо махнув рукой. А я подумал, что не было еще у нас такого чуждого духу зимовки человека.

В «Северных рассказах» Джека Лондона, которыми я увлекался до поездки в Арктику, герои сводят счеты кулаком и пистолетом. Как правило, их поступки тоже направлены в защиту справедливости и человеческого достоинства. В рассказах Лондона каждый сам за себя. Нигде он не встретил и не показал в качестве героя коллектив людей. Героизм и благородство личности в наших условиях опираются на благородную сущность коллективного действия. В трудный час наш коллектив проявил высокую меру твердости.

В накаленной обстановке нашего собрания хладнокровнее всех оставался сам виновник происшествия. Как будто речь шла не о нем. Может, потому он так держался, что самые тяжелые камни бросались в Мигунова? Во всяком случае, меня возмущала кажущаяся бесчувственность Журавкина, и, когда поздно вечером он постучался в мою комнату для разговора «по душам», я не стал его слушать.

— Говорить надо не мне, а всем. Простят вас не скоро. Справитесь с «Коммунаром», навозите угля, а потом выручите из лагуны ЧТЗ. Идите, Журавкин, и добывайте себе дельную репутацию!

Это нравоучение моего собеседника вроде бы не огорчило. Пожав плечами, он удалился. А через десять дней выяснилось, какую высокую цену платят люди за ошибку руководителя. Да, отказ от «беседы по душам» с Журавкиным стал не только ошибкой, но и виной, которую в назидание другим не считаю себя вправе скрыть. Поэтому прежде о личности Журавкина и его помощника Тымнеро. Начну с последнего.

На берегу Ледовитого океана, около устья маленькой речушки Экиатап, стояли две яранги береговых охотников. В одной из них, принадлежавшей многодетному бедняку Энко, вырос Тымнеро. Любознательность и смывленность паренька заметил старик Конкин. Осенью 1935 года, получив разрешение Москвы, он взял Тымнеро в отряд учеником к трактористу.

Есть люди, убежденные, что одаренность — привилегия высшей расы. Дитя природы, абсолютно неграмотный, восемнадцатилетний чукча Тымнеро опроверг взгляды расистов по всем показателям.

Попробуем представить, что ему стоило преодолеть унаследованный от множества поколений предков страх перед невиданным и непонятым. Грохочущая, пыхтящая черным дымом машина вселяла ужас и казалась неземной силой. На первых порах выходец из яранги и относился к ней как к живому существу божественного происхождения. Старание в уходе за трактором, любовь и преданность к нему доходили до степени фанатизма. Достоинство удивления, как быстро век стали и моторов может вытеснить невежество и суеверия, сохранившиеся от далеких эпох. Всего через год, когда смена Конкина уехала на материк, Тымнеро остался за штатного тракториста.

Его тяготение к опрятности изумляло нас. Летный состав отряда не мог соперничать с Тымнеро в требовательности к своему туалету. В нерабочее время его всегда видели переодевшимся в свой единственный праздничный костюм, в брюках с наглаженной под матрацем стрелкой, в начищенных ботинках.

Тымнеро на тракторе — это наглядное и впечатляющее олицетворение национальной политики Советской

власти. Окрестные чукчи с восхищением смотрели на сородича, управляющегося с диковинной машиной. Для нас он стал коллективной гордостью и общим любимцем.

Так уж устроена человеческая психология, что мы больше ценим не готовое, а то, что с трудом сотворили собственными руками. Таким творением летного отряда и стал Тымнеро. За два года его научили читать, писать, считать. К нему относились как к младшему брату. По-отцовски шефствовал над ним старший механик прошлой зимовки Михаил Францевич Драневич. Не жалея сил и времени, он возился с дряхлым «Коммунаром», периодически оживляя его для необходимых перевозок. Тымнеро с жадностью усваивал навыки и приемы по ремонту, а главное — умело и бесстрашно управлялся с работающим трактором. Для всех, кто знал его еле-еле говорящим по-русски, не имевшим понятия о назначении мыла, такое превращение казалось удивительным.

Для характера Тымнеро примечательна внешняя невозмутимость, похожая на скрытность. Однако ко всем без исключения он относился с какой-то детской доверчивостью и готовностью выполнить любое поручение или просьбу. Невозможно представить, что кто-либо из состава старой зимовки мог обругать или как-то обидеть Тымнеро.

Вместе с ЧТЗ приехал дипломированный механик-тракторист Георгий Журавкин.

Журавкину двадцать шесть лет. Кончил автотракторный техникум. Общителен, жизнерадостен, за словом в карман не лезет, но любит высмеять слабости и недостатки товарищей.

Отказавшись разговаривать с ним «по душам», я долго не мог уснуть от противоречивых мыслей. Подумалось, что не зря говорят: человека распознаешь, когда съешь с ним пуд соли. Мужественная внешность и решительные заявления оказались обманчивыми. В наших условиях честолюбивые стремления могли проявить себя только в авральных работах. И Журавкин не боялся наработать лишнего. Он искрился веселой энергией, сыпал прибаутками. А в другой день мог «сачковать» без зазрения совести.

Стоп! Надо остановиться. Кажется, в этом портрете только черные краски. Даже положительное истолковано

с плохой стороны. В каждом человеке есть что-то светлое. Начну сначала.

Образованный, энергичный парень мог бы сделать карьеру и на материке, но он поехал на трудное — в Арктику. Увидев ее, не испугался. Заявил, что стремится проявить себя в подвиге. И вроде бы имел все необходимое: жизнерадостный характер, физическую прочность, смелость, честолюбие. В чем же дело? Почему он курортничал, а не работал как надо? Мигунов сворачивал? Но я тоже мог, даже был обязан «своротить» его на хорошие дела. Его подвела самонадеянность, в основе которой лежало молодечество. Почему же свойственная русскому характеру удаль стала злом? За Полярным кругом каждый человек значимее, нежели на материковом многолюдье. Как и в этом случае, здесь часто от одного зависит благополучие многих. Вероятно, напрасно я погорячился, надо было выслушать Журавкина. Засыпая, решил: посоветуюсь с Масловым.

Население нашей базы состояло из восемнадцати взрослых и четырех детей. Среди взрослых тринадцать «мужиков» и пять женщин. В традиционном разделении труда на долю женщин приходилось готовить мужчинам пищу, обстирывать их и держать дом в чистоте.

Кстати говоря, присутствие женщин считаю своей личной победой над предрассудками прошлых лет. В самом первом отряде Павленко и в сменившей его группе Волобуева женским духом и не пахло.

Я настоял на том, чтобы ввести в штат женский персонал. Получив две единицы — повара и уборщицы-прачки, я завербовал в Анадыре двух подружек. Еще через год добился отдельной должности прачки, так как Маленькая Ольга не успевала помогать Большой на кухне, убирать и обстирывать. Прачкой прислали добросовестную, тихую Тину Сиверину, а ее мужа Сашу на должность хозяйственного рабочего. Кроме перечисленных, жена летчика Катюхова Дуся и моя Таня на общественных началах выполняли обязанности медсестры и культработника. Женщины внесли в жизнь зимовки порядок, чистоту, уют домашнего очага. Они облагородили внутренние отношения в мужском коллективе. Исчезли похабные анекдоты, речь очистилась от сорных слов, проявилось естественное для мужского сословия рыцарство, соревнование в мужестве и благородстве.

В сущности, именно женщины ознакомили конец экспедиционного освоения Арктики и приход эпохи оседлости. Среди мужчин только завхоз Мигунов и хозяйственный рабочий Сиверин относились к обслуживающему персоналу. Ну завхоз — это понятно. Надо кому-то заботиться и вести учет-отчетность за десятки тонн всякого имущества, какое поступало с материка. Но и без хозяйственного рабочего не обойтись. Во-первых, мы имели собачью упряжку. Для нее приходилось добывать корм охотой на морского зверя, держать в порядке нарты и упряжь. Во-вторых, проблемой зимовки являлась пресная вода. Летом ее привозили из тундрового ручья, а зимой добывали из снега. В общем рабочему хватало дела настолько, что с топкой печей он не управлялся, и это возлагалось на дежурных.

Роль тракториста с помощником, вернее — еще с учеником, ясна из предыдущего. Оставалось девять человек летно-подъемного состава. Когда экипажи разлетались, оставшиеся поддерживали горение жизни на зимовке. Однако жизнь выражается не только в горении, но и в развитии.

То, что мы получили от основателей базы, казалось достаточным для эпизодических полетов, за которые особого спроса не было. Пережив эпоху бед и несчастий из-за неопытности, за три года авиация Чукотки, как сказано, превратилась в динамичную силу этой страны. Спрос на ее услуги рос стремительно. А это требовало большей оперативности обработки самолетов на базе. Ремонт самолетов, смену моторов, выкопку из заносов бочек с бензином, подвоз их к стоянкам, разогрев воды и масла делали летчики со своими механиками. В теплое и светлое время года такая работа нас не смущала. А с ноября, когда становилось темно, полеты на северном побережье прекращались. Теперь в них возникла необходимость, а база не имела мастерской, где мы могли бы обогреться и произвести мелкий ремонт. Полярной ночью 1935 года экипаж Волобуева погиб из-за отсутствия освещения ангара. На самолете, который мог бы прийти на помощь, не было возможности сменить мотор.

Чтобы летать без оглядки, надо строить балок-мастерскую, изобретать соединение имевшегося генератора с движком — создать простейшую электростанцию. Но это не все. Надо исправить недоделки по дому, оставшиеся от строителей. Прошлой зимой мы мерзли, а за-

мерзший человек не работник. Теперь с нами женщины и дети. Крайне желательно пристроить к дому топливный бункер, чтобы в пургу не добывать уголь из снежных заносов. И вот уже возникла надобность в жилье для поросят...

Руки девяти человек летного состава, включая мои, требовались во многих местах то с топором, то с молотком или лопатой. Так повелось, что экипаж, возвращаясь на базу, тут же включался в хозяйственную работу, еще не остыв от полета. Иначе и быть не могло. Если мы сами не сделаем — надеяться не на кого.

Из сказанного ясно, почему с раннего утра следующего дня я закрутился в карусели неотложных забот. Поговорить с Журавкиным так и не пришлось, тем более не оставалось возможности стоять у него над душой, следить за восстановлением «Коммунара». Я верил, что в руках дипломированного специалиста он заработает хотя бы на короткое время. Не мог я предположить, как дорого обойдется мне эта уверенность...

ВЕЛИКИЙ КОНКУРС ЖИЗНИ

Пережив неприятность с трактором, но не утратив оптимизма, пожалуй, еще больше сплотившись, мы втянулись в подготовку базы к зиме. Я радовался, как удачно мы возвратились с южного побережья. Это надо же! Хорошая погода сразу уступила место ненастью. Как будто в «высших сферах» сознательно запланировали нам перерыв для домашних работ. Но такое заключение оказалось преждевременным.

Утром на пятый день после моего возвращения Маслов, лихо осадив упряжку у крыльца, перехватил меня при выходе из дома. Схватив за рукав, втащил в каюткомпанию, где обе Ольги убрали столы после завтрака.

— Овто умирает, Михаил!

— Овто?.. Какой Овто?

— Какой! Пора бы знать лучших людей округи!

— Подожди... Не тот ли охотник, который сдал пятьдесят песцов?

— Ну вот, так и знал! — Маслов с досадой всплеснул руками. — А если бы он не поймал пятьдесят песцов? Эх ты, третий год здесь живешь и...

— Да подожди ты, расскажи толком!

— Понимаешь ли, его надо резать. Немедленно

класть под нож. Завтра будет поздно. За сутки живот вспучило горой, врач считает, что он уже не жилец на белом свете. Ты знаешь, что такое заворот кишок? Двое суток, и все! Только немедленная операция может его спасти...

— Худо дело, Сергей! Почему же ты раньше не поднял тревогу?

— Раньше, раньше! — горестно вырвалось у Маслова. — Часу не прошло, как мне сообщили, что Овто умирает. Как только это определилось, я к тебе. Даже Шульцу не успел доложить.

— Почему же ко мне? Я не хирург и не господь бог?

— И сам не знаю. Всем кажется, что для вас нет невозможного в этом краю. Врач думает, что Овто протянет двадцать четыре часа...

Маслов обреченно вздохнул, опустил на скамейку и бесцветным голосом заключил:

— Человек всегда должен верить, пока жив. Даже в чудо.

Пока Маслов переливал свое горе в меня, я вспомнил крупное, всегда приветливое, какое-то мудрое лицо пожилого чукчи, обрамленное редкими бачками и кустистой бородкой. Никто не знал, сколько ему лет. Гидролог полярки Паша Гордиенко с превосходством молодости усмешливо ответил мне: «Не более ста, не менее пятидесяти!» Но Овто был еще сильным мужчиной и возглавлял бригаду охотников на моржей и сам славился как добытчик песцов.

Корабельный хронометр на стене показывал без пятнадцати девять. Я слушал Маслова, а мысль уже работала в предложенном темпе: если всех бросить на откапывание дверей ангара — через два часа можно вылететь. В это время года в заливе Лаврентия можно садиться, пожалуй, до семнадцати часов. У нас ветер северо-западный, попутный. До больницы при Лаврентьевской культбазе пять часов летного времени, но посадка в Уэлене обязательна, в заливе Лаврентия бензина нет. Если удастся с воздуха предупредить Уэлен — полярники приготовят бочку бензина. На заправку уйдет тот час времени, который так необходим, чтобы долететь до темноты.

Ощутил знакомое сжатие сердца и холодок, прошедший по спине, предшествующие принятию ответственных решений.

— Вот что, Сергей, несись обратно в поселок и к одиннадцати привези Овто к ангару. Раз ему суждено умереть, так пусть умрет в борьбе за жизнь!

На пороге появился отрядный инженер Соколов.

— Юрий Григорьевич! — обратился к нему. — Объяснять нет времени, примите на веру — делом чести является вылет Н-44 не позднее полдвенадцатого. Всех способных держать лопаты поставьте откапывать ангар, а сами с Моховым готовьте самолет.

— Ясно, товарищ командир! Только на сорок четвертой трясет мотор, и тряску не устранить, пока мотор не будет запущен.

— Перекантуйте машину в свободный угол ангара хвостом к воротам, подбросьте снега, чтобы не пылить, и запускайте мотор.

Энергично повернувшись, Соколов промчался по коридору с возгласом: «Аврал! Всем к ангару, немедленно!»

Умница этот Юра. Сдержан, понятлив. Удержался от вопросов, естественных, когда не знаешь задачи. В глазах Маслова появился подозрительный блеск, а на лице не свойственное ему кроткое выражение. Он выбежал из дома, вскочил на нарту, упряжка рванулась с места и скрылась в снежном вихре.

Синоптики числились в штатах полярной станции, но жили при отряде. Приехавших еще с Волобуевым Георгия Волкова и Павла Голубева в тридцать седьмом году сменили супруги Толстиковы, Евгений и Нина. Шульц построил у нас для синоптического бюро специальный домик, что позволило разместить и другую супружескую пару — радистов Васю и Шуру Иванченко.

Когда я вошел, Толстиков орудовал на карте цветными карандашами. Должен признать, что шел к «богу погоды» с трепетом. Ничего не зная, я уже распорядился привезти больного, которому всякое передвижение грозит гибелью. А вдруг где-то там пурга или туман? Тогда все будет отменено, и поспешными действиями я урюню себя в глазах товарищей. Поэтому, прежде чем поздороваться, я заглянул через плечо синоптика. Слава богу, Аляскинского циклона в Уэлене нет. Сразу стало легче дышать.

— Женья, дорогой, если через два часа я не смогу вылететь...

— Ну зачем же такие страсти? — довольно флегма-

тично отозвался синоптик, профессиональным движением разглаживая карту от середины к краям и как бы сметая препятствия с моего пути. Потом поднял глаза и, увидев мое лицо, заторопился: — Одну минуточку, раз так срочно, распоряжусь резервами... Вася! Будь добр, запроси погоду всех станций востока! — крикнул он за перегородку радисту. — А теперь посмотрим, что нас ждет.

Нахмутив брови, Толстиков некоторое время всматривался в карту, что-то подправил в ней синим карандашом и начал, как подумалось, «шаманить».

— За последний синоптический срок на Чукотском носу по всем станциям преобладала высокая облачность при хорошей видимости. Полагаю, никаких катаклизмов не произошло. Правда, циклон с севера имеет тенденцию опуститься на Колючинскую губу, и тогда он закроет Уэлен. К концу дня на всем побережье следует ожидать усиления ветра и низовых метелей. Думаю, прорветесь. Но как вы вылетите от нас? Даже высота облачности не определяется?

— Ну, как говорится, в своем доме даже стены помогают. Мне бы за Ванкаремом была бы погода!

Я рассказал Толстикову о трагической ситуации, и он озабоченно произнес:

— Не беспокойтесь, командир. До одиннадцати я приду к ангару с погодой, какую удастся получить, и уточню прогноз...

Мотор нежно шепелявит на малых оборотах. К винту поднимается маленький снежный смерч. Соколов, в последний раз обойдя машину, отодвинулся к группе провожающих. Сбросив рукавицу, поднял большой палец и ободряюще улыбнулся. Это была единственная улыбка среди напряженных лиц. Различаю в толпе белую кухлянку Маслова. В стороне, чтобы я увидел, — моя Таня, рядом жена Катюхова. На их лицах печать тревоги, обычная для жен летчиков, провожающих мужей в полет.

Чувства мои обострены, нервы натянуты. Сознаю, как сложно все впереди. Линия горизонта, столь необходимая для взлета, еле угадывается в туманной мгле. То исчезает, то появляется едва различимым пятном скала Вебера — ориентир, определяющий направление взлета. В воздухе реют снежинки.

Сейчас моя рука передвинет сектор газа, и шестьсот

лошадиных сил бросят машину вперед. Перед решающим мгновением чувство опасности учащает удары сердца. Оглядываюсь. Саня Мохов согласно кивает головой. Поднимаю руку. Сосредоточенный, серьезный Катюхов делает отмахку флажком. Можно лететь. Перевожу взгляд на чернеющее пятно сопки, решительно даю полный газ.

Привычно ощущаю нарастание скорости, автоматически поднимаю хвост, гляжу вперед, боясь упустить еле видимый ориентир. Биение сердца перестаю ощущать, моим сердцем стали глаза. Вот лыжи уже «играют» на амортизаторах, едва касаясь земли пятками. Движение рождает подъемную силу. Не глядя на землю, «беру» ручку управления чуть-чуть на себя. Скорость перешла в новое качество: самолет преодолел земное тяготение...

Теперь машина стала в моих руках послушным и чутким инструментом, как топор в руках плотника, как лопата в руках землекопа. Наступило то слияние с машиной, когда ее чувствуешь продолжением своих рук и мысли. Мыс ближе и яснее. Горизонт обозначился россыпью домиков и яранг поселка у полярки. Я перевел дух. Вторично за это утро стало легче дышать.

Сколько бы человек ни поднимался в воздух, ни один взлет не оставляет его равнодушным. Каждый по-своему тревожит или радует приобщением к таинству полета. Человек слушает рокот мотора, шепот расчалок, звон винта, рассекающего упругую воздушную твердь. Он различает составные части симфонии летящего самолета. После дачи полного газа предельно заостренная готовность без промедления реагировать на внезапное поступенно спадает: отдельные звуки и шумы образуют милый сердцу летчика мотив надежности.

Человек расстался с этой землей, отпустившей его. Он еще готов вернуться к ней, если что не так. Ему не надо раздумывать, куда сделать отворот на взлете, как развернуться на высоте. Но некоторое время спустя он начинает думать о многом, что надо преодолеть, чтобы благополучно приземлиться на *той* земле, к которой и стремится.

Между взлетом и приземлением иногда длинная, иногда короткая дорога. Формально она измеряется минутами и часами, а по существу, напряжением чувств, ума и воли. Порой эта дорога подобна сплошному асфальту, обсаженному цветами, по которому мчишься, на-

слаждаясь чудесными видами. А иной раз это сплошные буераки, на которых ничего не стоит сломать себе шею. Часто ожидаешь одно, а встречаешь другое. И никогда нельзя ослаблять внимание. В полете нет возможности подождать — решение обязано явиться хотя бы за мгновение до необходимости действовать.

Земля уходит вниз, машина послушно набирает высоту. Но как же мал ее запас! Семьдесят метров — и видимость пропадает. Сбросил газ, удерживаю семьдесят. Мельком оглядел приборы, подобрал радиатор — все в порядке. Под крылом домики и антенные поля нашей полярки. Кто-то в полушубке, в очках, подняв лицо, провожает самолет взглядом. Вероятно, Шульц. В моем представлении он олицетворяет собой суровость ответственности перед каждым параграфом любой инструкции. По краю сознания проскочила мыслишка: сколько ми параграфами пренебрег сегодня я?

«Блинчиком» разворачиваюсь в море, выравниваю самолет. Береговая линия — единственный ориентир в пространственном положении самолета. Это нить жизни, ее нельзя потерять.

Мотор с умиляющим постоянством преобразует лошадиные силы в обороты винта. Упругая, кусачая струя обтекает козырек, завивается в кабину, она выбивает слезу, но я не могу надеть очки, и так видно еле-еле. Вот в поле зрения справа показались постройки нашей базы. Качнул с крыла на крыло: на борту благополучно, ложусь на курс. Теперь все! Что бы ни ждало меня впереди, я один. Саша Мохов и умирающий Овто не смогут исправить ошибку, если я ее допущу. Их жизнь в моих руках.

Я лечу! Два часа назад мне и в голову не могло прийти, что могу сегодня оказаться в воздухе. Внутренняя напряженность не может сдержать гордости: этот полет — результат слаженных действий многих, самых разных людей, оказавшихся вместе на краю света. Еще год назад наш отряд не был способен выдержать подобный экзамен. А теперь мы не подчиняемся тягостным обстоятельствам, а преодолеваем их. Жизнь человека, лежащего на оленьих мехах позади Сани Мохова, уже не ждет неизбежного конца, этот полет дает надежду, что она не оборвется так нелепо. С сегодняшнего дня начнется история санитарной авиации на Чукотке.

Каждую секунду самолет пролетал над землей со-

рок пять метров. Сквозь мглу и снегопад в утомительном однообразии мелькали торосы, похожие на морскую рябь. Как бы текла ровная белизна прибойной полосы берега. Временами белая мгла сгущалась, и непрочная береговая ниточка, за которую я держался взглядом, пропадала. В такие мгновения сердце сжималось в комок, а руки и ноги замирали на рулях управления, фиксируя их положение. Но вот вновь появлялась спасительная полоска белизны, и возвращалась хотя и зыбкая, но уверенность, что самолет держится в воздухе как надо.

Саша тронул меня за плечо и жестами показал, что хочет выпустить антенну. Так же «языком рук» я ответил: «Подожди!» Осторожно снизился. Мелькание торосов усилилось, они стали более различимы, но горизонтальная видимость по-прежнему не превышала двухсот-трехсот метров вперед. Если бы на местности имелось что-то черное — дома, камни, обрывы, видимость была бы вполне удовлетворительной. Но вокруг ни единого темного пятнышка. Тусклый рассеянный свет не давал теней, размывал очертания торосов.

Поднявшись на пятьдесят метров, показал Саше, что можно выпустить антенну. Теперь я уже не мог маневрировать высотой. Вскоре Саша передал записку, что электростатические помехи исключают возможность связи. Ну будь что будет!

Невыносимо медленно стрелки часов ползут по циферблату от минуты к минуте. До головной боли утомительно огромное напряжение внимания. Глаза дремотно слипаются, и только сознание опасности подстегивает бдительность. Так, в борьбе усталости и бдительности, прошли тягостные сорок минут. Вот-вот должно пройти подо мной устье Амгуэмы, и я с тревогой ждал мгновения, когда потеряю берег, разорванный рекой.

Промелькнуло что-то черное — вероятно, палатка и грузы геологов. Значит, Амгуэма рядом. Внезапно прекратился снегопад, и я сразу увидел оба ее берега. Это почти двухкилометровая видимость. С каждой минутой просветлялась муть, все заметнее становилась разница в цвете облаков, торосов и заснеженной земли. Все яснее различалась линия горизонта.

Лечу на высоте двести метров — грандиозно! Отдыхают глаза и расслаблены мышцы. Мир вновь раздвинулся за пределы моего «я». Поймал в зеркале взгляд Мохова, улыбнулся ему и поднял большой палец: мол,

выходим из циклона, теперь погода станет лучше. Он кивнул — понятно!

Поистине ни горе, ни радость не ходят в одиночку. Не прошло и пяти минут после пересечения Амгуэмы, Саша передал записку: «Имею связь с Ванкаремом. О нашем полете знают, следят. У них высота — четыреста, видимость шесть километров. Зову Уэлен».

До чего же здорово, когда знаешь, что не один, что «земля» следит за тобой! Самое страшное осталось позади, и я изумился, как мог решиться на этот полет там, на базе. Какой силой внушения Маслов заставил меня, почти не рассуждая, пойти на такое решение! Ведь и раньше в поселке чукчей умирали люди. Мы даже не знали, когда и почему. И если бы не вмешательство Маслова, так же безвестно ушел бы к «верхним людям» и Овто. Стал вспоминать, как поступал наш парторг в других случаях, которым я не придавал значения. Теперь они выстроились передо мной в линию благородного смысла, которому не мог не подчиниться и я.

А вот и Колючинская губа — широкий водный простор, углубившийся в материк почти на девяносто километров. Здесь погода еще более резко изменилась к лучшему. Сплошная облачность отошла к северу, сомкнувшись там со льдом в одно неразличимое целое. На востоке появились разрывы: разнопородные слоистые и кучевые облака сражались за жизненное пространство в воздушном океане.

А на юге творилось нечто невообразимое. Прямо-таки первозданный хаос из облаков, сопки и световых пятен. Почти от самой земли в непорочную голубизну неба вонзались причудливые столбы и башни кучевых облаков. Среди них группами и в одиночку возвышались заснеженные сопки. Не сразу разберешься, что здесь сотворено из камня, а что из водяного пара. Линия горизонта просматривалась разорванными отрезками и на разных уровнях. Солнце было от меня закрыто, но его почти горизонтальные лучи розовыми стрелами вонзались в бока этих гигантов, создавая колдовскую игру света и теней. В разных направлениях открывались коридоры то узкими ущельями, то широкими проспектами.

Северное побережье Чукотки от южного в этом месте разделяют всего двести километров низменности, образованной Колючинской губой с севера и Мечигменской с юга. В этой низменности суша в виде отдельно

стоявших сопок занимала всего-навсего семьдесят километров.

Если лететь вкруговую, через Уэлен, до залива Лаврентия почти четыреста километров, напрямую вдвое меньше. Я еще не пересекал Чукотку в этом месте, а почему бы нет? Эта мысль поразила меня своей простотой. Ведь прямая между двумя точками короче всех других! Саша передал записку: «Уэлен ждет. Бензин приготовлен. Погода хорошая. Связь с культбазой Лаврентия будет через час. Мне она тоже не отвечает».

Черт возьми! Принятый на базе план осуществляется, но лучшее всегда враг хорошего. Какие опасности могут возникнуть? Туман в Лаврентии? Ну что ж, тогда я не вылечу и из Уэлена. А так смогу оценить обстановку своими глазами и, возможно, сяду. А не удастся — что ж поделаешь, пройду до Уэлена с другой стороны. Зато при удаче выиграю очень важный час времени. Снова не по инструкции: полет вне трассы без связи с пунктом назначения?! Семь бед — один ответ! С набором высоты разворачиваюсь на юг.

У меня не было возможности рассчитать точный курс. Держусь южного направления, прорезая облачные «горы», вышел к Берингову морю. Повернул на восток и под высокой облачностью достиг залива Лаврентия, с каждой минутой убеждаясь, что решение было правильным.

И вот я уже над горной грядой, в которую вклинился узким языком залив. Вижу поселок культбазы с единственной больницей на пятьсот километров окрест. Здесь моего больного ждут искусные руки замечательно-го хирурга Фавста Леонидовича Леонтьева.

Но что это? Залив чист ото льда, а галечный берег еле-еле припорошен снежком. Вот так так! Долгие часы я думал лишь о том, как преодолеть это пространство, и вовсе не задумывался об условиях посадки. На северном побережье давно замерзли лагуны, мороз сковал море, много снега, появились даже сугробы и заструги, а здесь голая земля и незамерзшая вода. Неужели все напрасно?

Снижаюсь, всматриваюсь. На косе под самой горой обнаруживаю травянистую бровку, на которой удержалось снега больше, чем на гальке. Похоже, это единственное местечко, по которому смогут скользить лыжи. Возможно, на этой бровке есть канавки или камни, сей-

час они неразличимы. Ее длины может хватить, а может не хватить. Страшно! Поднимаюсь, ухожу вдоль залива к его верховьям. Там почти в сорока километрах от больницы угол залива покрыт льдом. Очевидно, здесь я могу сесть, не подвергая опасности машину. Но для Овто это равносильно гибели. Пока на культбазе соберут нарту, пока доберутся до нас и вернутся обратно, в лучшем случае это пять драгоценных часов. Да и переезд по каменистой земле вытрясет из него душу. Впрочем, неизвестно, пошлют ли нарту по сухопутью...

Как ни кидай, а придется садиться на ту бровку. Начинаю кружить вдоль склона горы, всматриваясь в площадку. Прицеливаюсь, прохожу бредущим полетом. Ширина травянистой бровки от силы пятнадцать метров. Только-только пройти лыжам и не дай бог соскользнуть на гальку. Тогда капут и самолету, и больному.

Поднялся, сделал еще два круга, чтобы собраться с мыслями, вновь все взвесить. Саша все видит, понимает, но ничем не дает знать, что протестует. Я благодарен ему за эту свободу действий. Площадка как магнит не отпускает взора. Ну что же, надо решаться. Сейчас выяснится, есть ли у меня счастливая звезда.

Захожу издалека, тщательно выверяю линию планирования с направлением полосы. У примеченного места убираю газ и выключаю мотор. С остановившимся дыханием жду прикосновения лыж к земле. Вот оно — шорх! Машина замедляет свой бег, останавливается. И тут ко мне вернулся слух. К самолету с криками бежали люди, русские и чукчи, взрослые и дети интерната. Я сидел обессиленный, мокрый от нервного напряжения и глубоко дышал. Эту минутную слабость захлестнула волна огромной радости. Не знаю слов, какими передать это состояние. Пусть каждый представит себя на моем месте.

Саша уже выскочил, осмотрел след пробега, лыжи, радиатор, винт и замер у крыла, молчаливый, но улыбающийся. В этом человеке мужество всегда находилось в равновесии со сдержанностью в выражении своих чувств. На незаданный вопрос он ответил коронным нашим жестом, подняв большой палец: «Все в порядке!»

Через три часа операция окончилась. Хирург сказал, что Овто еще будет бить моржей, только отлежится недели три. Фавст Леонидович угостил нас с Сашей чистейшим медицинским спиртом, а его жена Елизавета

Петровна — пельменями. После всего пережитого я как-то сразу захмелел, еле дотянулся до диванчика и погрузился в пучину, клубящуюся облаками, как в Колючинской губе.

На наше счастье, северный циклон принес с собой снег, и взлет через два дня не представил затруднений. В Уэлене пришлось задержаться на ночь, и я навестил секретаря райкома Тулупова. Сергей Павлович, как всегда, приветлив, расспрашивал о судьбе Леваневского и нашем походе на «Красине». А услышав подробности этого полета, взволновался.

Еще с первой встречи в апреле тридцать шестого у меня сложилось впечатление, что секретарь Уэленского райкома, как и наш Маслов, обладал даром верного подхода к любому человеку. Около него затихали страсти, и люди уходили успокоенные и убежденные.

На этот раз в присутствии всего четырех человек он разразился пламенной речью, и я понял, что страстностью, широтой обобщений он может увлечь и большую аудиторию. Из сказанного мне запомнилось вот что:

— Когда-то люди жили без огня. Они прятались в холодных пещерах и ели сырое мясо. Они забыли о том времени. Когда-то люди жили без Советской власти, а новое поколение не представляет себе этого, как и нужды есть сырое мясо. Твой полет с умирающим чукчей стал возможным потому, что есть Советская власть, есть сердечный щедрый русский народ и есть партия, утверждающая товарищество всех людей планеты...

Может, я слишком эмоционален и легко поддаюсь влияниям, но слова Тулупова взволновали меня. Перед моим взором физически ощутимо встала Чукотка на краю государства Российского. Грозное дыхание полюса обдувает ее стужей с севера, холодные волны Тихого океана бьются у ее скал с юга. Жизнь здесь бедная и трудная, а люди живут. И те, кто обитает здесь истари, и те, кто приехал из теплых краев. Учителя, врачи, геологи, рабочие науки и многие другие. И среди них люди особого назначения, каких никогда и нигде еще не было. Это работники партии. Такие, как Берестецкий и Волковой в Анадыре, Пугачев в Певеке, Владимир Казанский на далеком острове Врангеля, Маслов у нас на базе и вот здесь Тулупов. Такие же люди, как и мы, только чуть выше и зорче. Это они объединяют нас в едином действии.

Бедка пришла на четвертый день после моего возвращения из Уэлена. Она ворвалась пасмурным утром, когда кончался завтрак. С треском распахнулась дверь кают-компаний:

— Михаил Николаевич! Товарищи! Ужас-то какой — Тымнеро застрелился!

Смысл этих слов был настолько чудовищным, что не сразу дошел до сознания. Поистине как гром среди ясного неба. Мгновенно воцарилась гробовая тишина. Сил Ольги Маленькой хватило лишь донести эту весть. С белым, перекосившимся в крике лицом она скользнула вдоль косяка дверей и упала без чувств. После секундного замешательства все бросились в комнату Тымнеро.

Он лежал на тщательно заправленной кровати вверх лицом, как спящий. Лежал одетым в свой праздничный костюм, в белой сорочке, с ярким галстуком. Глаза полуоткрыты, одна бровь чуть приподнята, как будто удивляется чему-то. Рядом валялась мелкокалиберная винтовка. Приставив ствол к виску, большим пальцем ноги он нажал на спусковой крючок...

Боже мой! Кажется, не более двадцати минут назад Тымнеро был в кают-компаний вместе с нами. Кто-то еще бросил: «Смотри-ка, Тымнеро нарядился, как на праздник!». И никто не придавал этому значения, не заметил признаков задуманного им...

Скорее автоматически, еще не успев прочувствовать всей значимости происшедшего, сразу охрипшим голосом я сказал Катюхову:

— Георгий Иванович! Дозвонитесь на «полярку», вызовите Шульца и Маслова... Всем выйти, ничего не трогать!

— Командир, записка... на столе лежала...

Как обжигающий уголь взял из рук Дендерюка листок.

«Товарищи! Я ухожу от вас... Слезы капаят из глаз... Я не умею работать, а в ярангу идти не могу...»

Круто повернувшись, я выбежал из дому. Великая тишина стояла на шестьдесят девятой параллели. Скучная чукотская земля укрылась белым саваном, небо затянуло облачным войлоком, а в воздухе трепетно реяли снежинки, усугубляя сумеречную мглу ноябрьского дня. В горле стоял тошнотворный комок, спазмы пере-

хватывали дыхание. Горестное недоумение и обида сдавили сердце. «Что же ты наделал, глупый мальчик! Как же ты мог решиться на такое?»

Я ничего не слышал, и упряжка Маслова, выскочив из мглы, едва не сбила меня с ног. Не давая себе отчета, я шел навстречу Маслову, как он когда-то ко мне в трудный час...

Сергей, напряженный и злой, решительно вошел в дом первым, за ним высокий, худой, как всегда, сумрачный, начальник «полярки» Роберт Карлович Шульц и последним на ватных ногах — я. Постояли. Не знаю, что видели они, а я не мог отвести взгляда от лица Тымнеро. Чудилось, он хотел сказать что-то, чего не успел, и мои глаза затуманились слезами.

— ...Да, плохой время пришел для тебя, Михаил Николаич. Прими мой сочувствий...

Неулыбчивое лицо Шульца сурово. Длинный нос на бледном лице заострился, пепельные глаза, увеличенные очками, смотрят мимо. В интонации чудится осуждение. Тугие толчки крови бьют по мозгу, разламывая голову.

— ...Плохие времена приходят не сами. Они результат ошибок, которых не замечаем в хорошие времена!..

Маслов щадит меня. Злая интонация обращена в адрес нелепости случившегося, а смысл фразы — к Шульцу, отображая постоянный спор парторга с начальником.

Сойдя с крыльца, мы остановились. Во мне все дрожит. Надо взять себя в руки. Что-то надо сделать.

Маслов обнял за плечи, сказал негромко:

— Ну вот что, дружище! Горем делу не поможешь. Иди-ка ты лежи или походи полчаса, приди в себя, а мы здесь с Катюховым распорядимся.

На следующий день у открытой могилы, перед лицом полярников и соплеменников погибшего я сказал:

— Клянусь тебе, Тымнеро, клянусь словом большевика, что не уеду отсюда, пока на твое место не станут пятеро таких же славных юношей, каким был ты. Светлой твоей памятью обязуюсь научить их не только управлять трактором, но и самолетами в небе твоей Родины!..

Мой голос дрожал, глаза застилали слезы, но, сказав эти слова, я почувствовал какую-то опору в самом себе, увидел искупление и цель, до выполнения которой с Чукотки не уеду. И это взбодрило меня.

На другой день после похорон Маслов доложил собранию отряда результаты его расследования. Оказалось, что, не зная, с какого бока подступиться к мертвому «Коммунару», Журавкин требовал с Тымнеро того, чего и сам не мог сделать. Шли дни, запасы угля таяли. Чувствуя свою несостоятельность, Журавкин нервничал, все грубее обращался с безответным Тымнеро, внушая юноше, что это по его вине не запускается «Коммунар». Накануне злосчастного дня, в досаде от бесплодных усилий, Журавкин и произнес роковую фразу:

— Эх ты, чукча! Как был чукчей, так им и остался! Пошел вон отсюда!

Только смерть открыла нам глаза, что чувство личной ответственности за общее благополучие для Тымнеро было высшей нормой поведения. Именно это сказал он предсмертной запиской.

Во всех деталях помнится гнетущая обстановка перед тем памятным собранием. Внутренняя дрожь первых часов уступила место опустошенности. Надо встряхнуться. Нельзя поддаваться токсинам усталости. Как в полете — иначе гроб!

Какая же это великая сила — чувство ответственности! Она делает слабых сильнее, нерешительных смелее, заставляет идти, когда кажется, нет сил и на шаг. И я предоставил слово Маслову.

После его краткого сообщения в кают-компании поднялся двенадцатибалльный шторм. Выступления при разборе происшествия с трактором были комплиментами сравнительно с тем, что услышал Журавкин сейчас. Он сидел впереди всех лицом к собранию, опустив голову и не поднимая глаз. От гневных слов только вздрагивал. Когда все выговорились, потребовали объяснений и от него. Наш подсудимый поднялся, сгорбившись как старик. С минуту он теребил шапку и, наконец, так и не подняв глаз, трясущимися губами вымолвил еле слышно: «Простите!» — и сел, содрогаясь от рыданий.

Суда и тюрьмы у нас не было. Ничем, кроме моральных побоев, наказать мы его не могли. Очевидное раскаяние смягчило сердца. А тут еще и Маслов сказал:

— Думаю, для Журавкина это урок на всю жизнь. Применять высшую меру — изгонять с зимовки, на мой взгляд, не следует. Свою вину он должен искупить здесь, и я верю, что он это сделает. И еще верю всем вам и вашему командиру, что сверстники Тымнеро

будут трактористами и летчиками. А теперь давайте думать, как жить дальше.

Теперь я знаю, что в трудное время, когда нервы натянуты струной, нельзя позволять людям ковыряться в язвах своего горя. Их надо нагрузить работой. Резервы душевных сил находить в чувстве ответственности. Именно это сделал с нами Маслов.

Еще несколько слов о нем лично. Маслов был посланцем партии в этом далеком углу Чукотки. Потомственный питерский рабочий, с тринадцати лет в комсомоле, с девятнадцати в партии, впитывал в себя идеи эпохи Ленина. После рабфака учился в индустриальном институте. И наверняка быть бы ему не последним человеком в славном корпусе красных директоров, но судьбу коммуниста определила партия. И вот в тридцать три года он парторг на крайнем фланге Советской Арктики. Маслов не был ленив душой и обладал удивительным умением поворачивать людей к хорошей стороне жизни.

Маслов умолк, вглядываясь в наши лица, как бы убеждаясь, доходит ли до нас смысл его слов. Помолчав, стал рассказывать о значении для Чукотки предстоящих выборов. Потом прочитал радиограмму, в которой мне предлагалось прибыть в Анадырь за избирательными документами для северного побережья. Эту деловую информацию закончил такими словами:

— Только вдумайтесь, нет на земном шаре государства, в котором отсталые народы могли бы иметь своего представителя в правительстве. Всего двадцать лет мы живем без царя, и вот небольшой народ, о котором мало кто знал, будет представлен в советском парламенте своим депутатом. И совсем неважно, что сегодня депутат чукчей не станет оратором на кремлевской трибуне. Мы знаем, что завтра он обязательно заговорит о своем народе языком Пушкина и Ленина.

Тихим голосом, как произносят самое сокровенное, Маслов добавил:

— Я горжусь, что имею честь состоять в партии, которая поднимает отсталые нации нашего государства из вековой темноты. Счастлив, что все силы могу отдать столь славному делу...

Затем Маслов рассказал о том, что такое выборы вообще.

Прошло много лет, и даже старые люди стали забы-

вать, как выбирались органы власти в первые годы после революции. Напомню, что Советы рабочих депутатов как принципиально новые, невиданные учреждения государственной власти возникли в баррикадных боях 1905 года. Делегаты избирались открытым голосованием на собраниях, даже митингах. Несколько упорядоченной такая традиция сохранялась и первые двадцать лет после революции. Обязанности избирателей кончались выборами делегата на районную конференцию. Они уже не видели, как дальше, со ступеньки на ступеньку выбирались делегаты вплоть до всесоюзного съезда. Теперь же надо выбрать депутата прямо в Верховный Совет. Новая Конституция требовала, чтобы каждый избиратель тайно заполнил бюллетень и лично опустил его в запломбированный ящик. В условиях Чукотки, где коренное население было неграмотно, а средств сообщения с окружным центром не будет до прихода пароходов, такая процедура представлялась нереальной.

Доставленные нами уполномоченные окрисполкома проведут разъяснительную работу, но это лишь десятая часть дела. Необходимо к сроку доставить избирательные бюллетени и прочее, что нужно, на каждый участок. Бюллетени отпечатаны в Хабаровске и плывут специально снаряженным пароходом, а от Анадыря на север их могут доставить только наши самолеты.

Все рассказанное Масловым я знал из поступивших радиogramм, но вот так, обобщенно поставленное в плоскость соприкосновения с большой политикой, вознесло меня на крутую вершину личной ответственности.

Встала задача, не позволявшая колебаний, отсрочек, отговорок. В Москве не знают, что на Чукотке полярная ночь и непогода, отряд замерзает без топлива и травмирован нелепым самоубийством. В конечном итоге выборы сорваны. Они сорваны по единственной причине — Чукотский летный отряд не сумел доставить на места необходимые документы...

ПОЧЕМУ ПРИШЛИ ПЛОХИЕ ВРЕМЕНА?

Теперь я понимаю, как мне повезло, что в те годы рядом был Маслов. Благодаря его влиянию устоял я и не сломался коллектив. Даже Мигунов осознал значимость сплоченности перед Арктикой. Он не отсиживался в кладовке, не корпел над бумажками, а добровольно

взялся помогать Журавкину возить уголь. В первую очередь механики «тучей» навалились на «Коммунар». После полной переборки через три дня он чихнул и заработал. Журавкин первым начинал и последним кончал работу. Если раньше он только возил, то теперь с Мигуновым нагружал и разгружал угольные сани. Все мы работали по десять-двенадцать часов на морозе, который достигал двадцати градусов.

Казалось, все налаживается, как должно быть, и на душе становилось светлее. Но вот вторично приехал с полярки Маслов и привез такую депешу:

«Немедленно вылетайте Анадырь тчк Волковой Тевлянто».

Я пригласил на совет Катюхова и Соколова. Вчетвером стали обсуждать, что могут значить эти слова. Соколов доложил, что подготовка Р-5 для длительных полетов займет не меньше двух суток. В связи с событиями последнего времени самолетами не занимались. В этот момент и появился Журавкин. С отчаянием, чуть не плача, он выпалил:

— Товарищ командир! «Коммунар» остановился, похоже, полетели шатуны...

Через двадцать минут Соколов, сбегав к трактору, подтвердил, что надежды нет и теперь надо скорее спасать из лагуны ЧТЗ. На это потребуется не меньше двадцати дней, если не помешает пурга. Мы приуныли, а погоревав, распределили силы так, чтобы работа шла на всех участках: трое готовят самолет, трое вымораживают ЧТЗ, четверо продолжают утепление дома и приступают к постройке мастерской у ангара. С этим разошлись по местам. До конца рабочего дня Маслов работал с нами, яростно круша лед вокруг трактора.

Маслов остался ночевать, и после ужина мы проговорили с ним до глубокой ночи. Деликатно, но настойчиво Сергей Алексеевич вел мою мысль к осознанию, почему же меня настигли плохие времена. Он начал с вопроса:

— Что тебе известно о прошлой жизни Журавкина?

— Я не имел возможности ее изучать, да и не считал нужным. При первом знакомстве с новичками я так и сказал им: «Нас не интересует, что у вас «за кормой». Арктика делает биографию заново, потому важно, кем вы станете здесь!»

— Прекрасно! Значит, свои обязанности командира ты возложил на широкую спину Арктики. Не потому ли человек, мечтавший о подвиге, стал аварийщиком и виновником в смерти товарища?

— Но не мог же я сидеть с ним на ЧТЗ или ремонтировать «Коммунар»?

— Верно, не мог! Но мог бы сообразить, что такой человек подвел раз, может подвести и в другой. А ты снова свою обязанность переложил на других, в данном случае на коллектив. После собрания Журавкин пришел к тебе как к командиру за поддержкой, а ты даже от разговора уклонился!

— Как я мог его поддерживать, защищая от коллектива?

— Извини, но я был более высокого мнения о твоей понятливости. Разве поддержка и защита одно и то же? Помочь человеку разглядеть свои слабости, научить осмотрительности, направить его усилия в нужном направлении и потребовать ответственности — это был твой командирский долг, а для него моральная поддержка в трудный час. И вот вместо тебя он нашел понимание у Мигунова.

— Наверное, ты прав, Сергей Алексеевич, но в отряде Мигунов в единственном числе. Почему я должен был подумать, что именно к нему прислонится Журавкин?

— Командир обязан быть и психологом. Подумай сам, а кто другой после того собрания стал бы говорить с ним по душам? Он пришел к тебе как старшему товарищу, а ты «толкнул» его к Мигунову, разве не так?

— Это неверно и обидно для меня!

— Значит, опять не понял. Я ставлю тебя лицом к фактам, а ты обижаешься и отмахиваешься от них как от мух.

— Извини, Сергей, но мне сейчас тоже нужна поддержка, а ты только нападаешь. Ты прав, конечно, я сделал ошибку и страдаю за нее не меньше Журавкина.

— Эх ты, дурень! Разве я по злобе критикую тебя? Делаю это потому, что уважаю, больше того — люблю тебя, дьявола вихрастого. Хочу, чтобы ты не спотыкался на ровном месте. А чтобы из сказанного извлек пользу. Уж дослушай, почему Журавкин оказался податлив на плохое.

Ученье мальчишке давалось легко, но восторги домашних выработали в нем высокомерие к менее способным. По окончании техникума работа на производстве показалась грязной и скучной. А тут газеты и радио трубят об Арктике, сулят подвиги. Здоровый парень загорелся, как многие. Но и здесь для него выяснилось, что подвиг — это не груша: протянул руку и сорвал. Надо работать! В холоде, грязи, без аплодисментов. А семья не научила его уважать труд как главное дело жизни. Отсюда все и тянется. Согласен?

— Мне кажется, что ты преувеличиваешь роль семейного воспитания. Вся атмосфера советского образа жизни тоже воспитывает.

— Верно, воспитывает. Потому эгоизм в Журавкине и не затвердел. Но он впервые попал в обстановку, где нельзя прожить маменькиным сыночком. Ваша среда немедленно дала отпор иждивенческим замашкам Журавкина. Но без твоего участия.

— Ну это уже слишком, Сергей Алексеевич! — Я даже отвернулся от обиды.

— А ты не возмущайся, терпи, что заслужил. Среда — великая сила. Но она не сахар, который обязан быть сладким. Среду составляют разные люди, и влиять она будет по-разному. Из восьми новичков трое — Мигунов, Журавкин и Бубенцов — прибыли на ведущие должности, но не усилили, а ослабили вашу среду. А ты, согласишься, не придал этому факту должного значения...

В этой записи я передал основное из того разговора со своим парторгом. Убеждаюсь, что и сегодня справедливы его взгляды на обязанности командира, на труд, как главное дело человеческой жизни. Потому и предаю огласке этот нерадостный, но поучительный эпизод своей биографии...

В дальнейшей жизни я часто жалел, что в трудные часы не было рядом Маслова. Не умея избегать ошибок, благодаря урокам своего парторга я научился их видеть. А для нравственного здоровья очень важно знать, что в плохих времена виноват ты сам. И еще одному научил меня Маслов — умению отстаивать свое мнение и умению критиковать. Правда, я так и не овладел его искусством критиковать, не обижая. Но никто не скажет, что когда-либо я поступался убеждениями корысти ради.

Часть вторая

**СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦЫ
ВОСХОЖДЕНИЯ**



Глава первая

ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ — АТАКУЙ!

ЖАЖДА РОЖДАЕТ ВОДУ

На Чукотке между гор неизвестно, с каких пор,
Дуют сильные ветра от утра и до утра.
И девять месяцев в году печально слушают

пургу
Из года в год, из века в век медведь, песок и
Человек...

Петр Кочетов (хирург с мыса Северного)

Утренняя поземка превратилась в метель, а к ночи все силы природы пришли в движение. Наш дом вздрагивал, что-то в нем угрожающе скрипело и похрустывало. Дребезжали оконные стекла, раскачивались под потолком керосиновые лампы, а на кухонных полках тоненько звенела посуда.

Поразительна способность пурги проникать в не видимые глазом щели. Всю осень мы утепляли наш дом. Окна заделаны «для себя», но занавески отдуваются от наличников, под ними снежная пудра. Пришлось изнутри наглухо забивать оконные проемы одеялами и брезентами. Температура в доме не поднималась выше десяти градусов. Если мы будем экономно расходовать уголь, его хватит на две-три недели, но все же по решению общего собрания завхоз Мигунов выдавал на ком-

наты, где жили дети, дополнительно полведра угля. По этой причине, а также потому, что комнаты семейных располагались на подветренной стороне, в них «жара» доходила до шестнадцати градусов.

Дети полярников закалялись с пеленок, и с этим приходилось мириться. Ребяшня не бегала по всему дому, как обычно, а тихо играла в излюбленных уголках. Мамы приносили им обеды и выносили горшки. Расходились только спать.

До пурги работали напряженно, потому первые дни вынужденного отдыха казались в радость. Вначале нас «развлекали» экспедиции к самолету, подготовленному к вылету в Анадырь и оставшемуся на произвол ветра и снега. Пять человек, закутанные до глаз, как альпинисты обвязавшись одним фалом (тонкий канатик из сизаля), мы выходили в кромешную темноту. Я или Катьухов, идущий старшим, хватался за трос, протянутый от крыльца дома к ангару, и всю группу ветер молниеносно доставлял к последнему столбику, за который крепился трос... Теперь предстояло повернуть поперек ветра и продвинуться метров сорок, чтобы выйти на самолет. Привязанные друг к другу через три метра, двигаясь веером, мы не могли промахнуться даже вслепую.

Убедившись, что самолет держится, поправив привязи, начинали обратный путь. Шли также веером, чтобы не проскочить мимо троса. Нащупав его, против ветра сгибаясь пополам, левой рукой перебирая трос, шли к дому. Теперь последний шел первым, а старший замыкал цепочку. Всего чetyреста метров насчитывалось от ангара до дома, но преодолеть их было непросто. Каждый раз мне приходило сравнение со спуском в жерло вулкана. Однако уже на третий день пурга так надежно упаковала наш самолет в сугроб, что надобность в этих походах миновала.

27 ноября, на восьмой день той памятной пурги, с полярной станции к нам прорвался Маслов. Запорошенный снегом, с почерневшим лицом, он явился неожиданно, как привидение. На наши охи ответил:

— А что поделаешь, телефонный провод оборвался, а депеша важная. Выждал я, как чуть ослабла пурга, и рванул. Против ветра собаки не осилили бы, а по ветру неслись как птицы. Только пришлось им хвосты поджимать, что непривычно и, наверно, неудобно для

них, — клацая зубами, пошутил Маслов. — Я уже промахнулся мимо дома, хорошо, что наехал на ваш трос, держась за него, и вернулся.

С нашей помощью раздевшись и отогрев над плитой руки, Сергей вручил мне радиogramму, прибывшую из Анадыря:

«Срываете правительственное задание тчк Ответственность на вас персонально тчк Требуем немедленно прибытия тчк Волковой Тевлянто».

Я поднял глаза от бланка. Лица окружающих отображали тревожное недоумение. Те, кто недослышал, тянулись взглядом к радиogramме, пошедшей по рукам. Раздались возгласы возмущения.

— Ишь ты, умники какие — немедленно им надо!

— Что они, нашей погоды не знают, что ли?

— Тут по нужде будешь час раздумывать, идти или еще потерпеть!

Среди нас Маслов был своим и ответил как свой, но более умудренный. Напрягая голос, чтобы перекрычать урчание пурги, он обратился к наиболее экспансивному из окружающих мотористу Дендерюку:

— Ты не прав, Андрюша! Знаешь, что такое репутация? Это большое доверие. Раньше его не было, поэтому и не надеялись. А теперь вы его заработали — вот и спрашивают.

— Когда доверяют, так с людьми не обращаются! — вставил Соколов.

Маслов поднял обе руки ладонями вперед:

— Хлопцы, не горячитесь! До двенадцатого осталось шестнадцать суток. Представляете, чем рискуем?!

Все понимали, что подразумевал парторг, а я впервые позавидовал обитателям полярной станции. От них никто не потребует немедленного прибытия.

Маслов привез нам погоду. Еще вечером, когда он приехал, сила ветра, казалось, не намерена была уменьшаться, а ночью я проснулся от непонятного спросонок ощущения.

Тишина. Не веря своим ушам, наспех одевшись, выбежал во двор. Штиль! Полный, абсолютный, ни малейшего движения воздуха! Небосклон усыпан звездами. Серпик молодого месяца солдатиком стоит над крышей ангара. Вокруг дома сотворен совсем новый ландшафт.

Часть видимой территории оголилась до земли, другие места покрылись застругами с острыми, загнутыми гребнями. Мириады снежных кристаллов, как драгоценные камни, излучали фосфоресцирующее сияние. В звездном сумраке фантастическими видениями чернели в отдалении: кузница, баня, верх кабины трактора в лагуне. Еще дальше, совсем смутно, отделившись от земли, плыла громада мыса Вебер.

На крыльце я оказался не первым, и за мной, тоже кое-как одетые, торопливо выскакивали из дома его обитатели.

— Угомонилась, ведьма! — Сдержанно фиксирует ситуацию Катюхов. Первые минуты недоверчивого удивления и тихих голосов взорвались ликованием.

Запоздавший Сережа Меринов подхватил под мышки Ольгу Большую, с медвежьим рычанием тараня ею впереди стоящих, вывалился на сугроб возле крыльца.

— Пусти, окаянный! — взвизгнула Ольга и, вывернувшись из объятий Сергея, вlepила ему звонкую оплеуху.

На Меринова кошкой прыгнула Ольга Маленькая, на них с криком: «Куча мала!» — свалился Андрей Дендерюк, увлекая тех, кто был рядом. Из-под этого клубка, извиваясь на животе, с трудом выкарабкался наш степенный Жора Катюхов. Нестройные крики, смех и женский визг наполняли тишину...

— Товарищ командир! Самолет цел, только занесло его здорово. — Миша Кислицин уже успел сбегать к ангару, в его голосе гордость, что первым может рассеять нашу общую тревогу. Возня и шум, как по команде, прекратились. Поднимаясь, отряхиваясь, все смотрели на меня с готовностью делать что скажу.

Через полчаса все, кроме Ольги Большой, оставшейся готовить неурочный завтрак, были у самолета. Женщины подсвечивали фонарями мужчинам, атаковавшим сугроб, из которого выглядывала спина фюзеляжа.

Еще через два часа стало ясно, что ничего существенного не повреждено. Только чехлы мотора и кабины изодраны в клочья. Металлические пряжки привязных концов кое-где пробили фанерную обшивку корпуса и полотно на крыле. Мотор превратился в снежно-железный монолит, а кабина от приборной доски до хвостового лыжонка запрессована снегом. До позднего часа это-

го дня вытаивали снег из мотора и щепотками выбирали его из всех уголков самолета.

К ночи 28 ноября мотор запустили. Пробую его на месте и выкручиваю из заноса. Поеживаясь под натиском холода, в сторонке стоят Маслов, Катюхов, Соколов и другие. Они ждут моего заключения о готовности машины. Над головой все та же бездонность звездного неба, только месяц переместился на другую сторону небосклона.

Шум мотора, работающего на морозном воздухе, сух и резок. Выключив двигатель, сижу в кабине. В памяти и в ощущениях еще гудит и воет пурга. Ловлю себя на том, что подсознательно держу в уме 12 декабря.

Остается четырнадцать суток. Эта цифра сверлит мозг, как сигнал тревоги. Успею ли улететь отсюда?.. В голове возится и прогрызает себе выход маленькая «мышка». Обращаюсь к окружающим:

— Чтобы прилететь в Анадырь в начале дня, отсюда надо вылететь ночью. Как вы на это посмотрите?

— Как же вы взлетите без «горизонта», Михаил Николаевич? Ведь «пионер» начнет работать минут через пять?!

Катюхов прав. «Пионер» на моем самолете — единственный прибор для слепого полета. Его гироскоп раскручивается от воздушной струи через трубку Вентури на борту фюзеляжа.

— Это верно, Георгий Иванович, но я рассчитываю обойтись без него.

— Сгораю от любопытства, как вы это сделаете? — иронизирует Соколов.

— Нет надобности сгорать, Юрий Григорьевич. С «Пионером» мои отношения таковы, что безопаснее тигра за хвост подергать.

— Тем более опасно ваше намерение, командир. Извините, но благородные порывы приборов не заменяют.

Соколов резюмировал почтительно, но непреклонно. Маслов с любопытством переводил взгляд с одного на другого, пытаясь понять сущность проблемы. Мохов поглядывал со стариковской умудренностью и молчал. Бубенцов и мотористы не осмеливались подать голос.

— На всякую опасность страха не напасешься, дорогой наш инженер. А смысл «моего намерения» в выигрыше времени. Теперь его надо считать не днями, а часами. А рассчитываю я на естественный горизонт.

Посмотрите, как заметно звездное небо отделяется от черноты земли.

— Рискованно, товарищ командир! — скептически оглядев горизонт, не сдавался Соколов. Его возражения лишь укрепляли во мне желание доказать свою правоту. Эту строптивость я знал за собой, но она уже владела мною, и я ответил резче, чем надо:

— Риск, Юрий Григорьевич, это яйцо в скорлупе. Не разбив ее, не узнаешь, годится ли яйцо для яичницы.

Соколов отвернулся, якобы осматривая горизонт, но я понял, что он обиделся. Говорю примирительно:

— Пойдемте в дом, отогреемся и спокойно поговорим. До утра еще целая ночь.

За сутки после окончания пурги температура в доме поднялась до двадцати градусов. Впервые за десять дней мы могли сидеть за столом без верхней одежды. Если так можно сказать, физический комфорт способствовал и душевному равновесию. После ужина я продолжил разговор, начатый у самолета. Вопрос живо интересовал всех, и я не считал нужным обсуждать его в узком кругу.

— Честно говоря, Юрий Григорьевич, вы, конечно, правы в своих опасениях. И больше того, мне самому жизнь не опротивела. Но, во-первых, такая надобность сейчас налицо, а во-вторых, в данном случае риск заключается в нашей психологической к нему неготовности. Ведь как нас учили летать ночью? Прямо-таки за ручку водили, упаси бог, не ушиблись бы! Рядом огни города, ясная лунная ночь, на борту опытный инструктор и великое множество наставлений: этого не делай, а того опасайся.

Лететь ночью я не боюсь. Что мне дает уверенность? Прозрачность атмосферы — на материке такой не бывает. Думаю, что до рассвета я продержусь, как и в дневном полете, различая естественный горизонт. А страховать будет и «Пионер». Вот такие у меня соображения.

— Что верно, то верно. На материке такой видимости ночью не бывает. Да чего уж там, мы так часто нарушали наставления, что одним больше или меньше — значения не имеет!

Голос Катюхова звучит примиренчески. В столь косвенной форме он, видимо, соглашается с моими доводами.

— Вы не совсем правы, Георгий Иванович! — возразил я ему. — Просто, оказавшись в новых условиях, мы иногда вынуждены делать то, что не предусмотрено наставлениями. А сейчас нужда просто заставляет делать это.

— Выиграть ты сможешь один день, но если побьешь машину, сорвешь выборы.

По тону Маслова я понял, что он загорелся и верит мне. Свой вопрос задает для очистки совести. Мне было очень важно иметь моральную поддержку товарищей. Ведь я и сам не имел стопроцентной уверенности в успехе задуманного. Склонить Маслова на свою сторону — это значило завоевать и остальных.

Я ответил:

— Сергей Алексеевич! Считаю полет с больным Овто месяц назад не менее рискованным.

— Ну что ж, я за! — поспешил согласиться Маслов. — У тебя есть самолет, есть права, а главное, смелость — действуй как задумал. Если придется отвечать, я своей головы не спрячу.

— Напрасно вы все думаете, что ищу тех, кто отвечал бы за меня. Я проверяю, не упускаю ли чего, принимая решение. Единственный человек, который может его отменить, — это ты, Саша! Если не согласен рисковать со мной, то будем считать — разговора не было.

Показалось, что мои советчики облегченно перевели дух и воззрились на Мохова. Тот ответил, как всегда, не спеша, с убийственным хладнокровием:

— Хитер ты, Михаил Николаевич! Когда вылетали с тем чукчей черт те в какую погоду — ты не спросил моего согласия? А теперь что же спрашивать, я вроде бы привык. Раз нужно, я согласен.

Подготовка к этому полету не ограничилась обсуждением среди товарищей. Она имела продолжение с Таней, которая высказала все, что может сказать в таком случае жена. Я благодарен ей, что в этом, как и во многих других случаях, она стоически перенесла грозящую опасность.

Примерно за час до того, как просветлело небо над мысом Северным, я вырулил на старт. За спиной притаился Мохов. Впереди, в жаровнях, наполненных промасленной ветошью, горели костры. По восемь справа и слева. Невольно вспомнились возражения Соколова,

и подумалось: в жизнь или смерть? На меня смотрели восемнадцать пар провожающих глаз. Эти люди трудились в поте лица, чтобы я мог сейчас взлететь. Колеситься поздно.

Выбрав вблизи горизонта самую яркую звезду, чтобы удержать направление, с решимостью бойца, поднимающегося в атаку, я дал полный газ. Побежали оранжевые языки костров. Во все глаза ловлю зыбкую линию горизонта... Ура, вижу!

Боги были ко мне милостивы, и я облегченно перевел дух. С набором высоты в непроницаемой темноте тонула земля. На триста километров вперед на ней не встретится огонька, зажженного человеческой рукой...

Если бы кто-то сказал мне, что такой полет возможен, я первым назвал бы его заливалою. Однако факт — вот лечу же!

Когда зрение адаптировалось, мне уже не требовалось непрерывно вглядываться в нижнюю кромку звездного неба. По нескольким ярким, выше расположенным звездам удалось построить умозрительную прямую, параллельную земле, и по ней удерживать самолет как надо. Это же подтверждал и «Пионер», на который я поглядывал.

Но я отошел бы от истины, сказав, что чувствовал себя победителем. Предельное напряжение быстро утомляло внимание, и я порой терял те звезды, к тому же и они меняли яркость. Мой взор снова поспешно опускался к границе, где абсолютная чернота соприкасалась с темнотой, разбавленной звездной пылью. Сосредоточиться только на «Пионере» боялся. Когда я различал линию горизонта — и у него шарик и стрелка на месте. Как только терялся горизонт — шарик стремился уйти из центра, а стрелка валилась набок. Потому темнота не переставала оставаться врагом, ждущим моей оплошности.

В меховых рукавицах стало мокро от усилий, с какими сжимал ручку управления. Из головы вылетело все, кроме одного: «Не посыпаться»!

Прошла целая вечность, когда небо наконец стало светлеть. Еще при звездах обозначилась его темная синева. Постепенно земной горизонт стал устойчиво различим. Ощутив, как спадает напряжение и расслабляются одеревеневшие мышцы, вспомнил, что не один. Что за спиной Саша.

«Вот дьявол бесчувственный! Знает, что убиться за-просто, а молчит, как чурка!» И тут же: «Молодец, Са-ша! Понимает, что нельзя было отвлекать меня чем-либо!»

Обернувшись, увидел, что Мохов ждет моего взгля-да. В щель сбоку от сиденья он просунул бумажку. В сумеречном свете с трудом разобрал: «М. Н. — имею связь с Перевальной. У них погода ясная. Ардамацкий спрашивает, будем ли садиться у них. Ответил: «идем без посадки». Хомутов помогает звать Оловянную и Анадырь».

Как много значила для нас эта ниточка, связываю-щая с землей. Нет, не зря мы рисковали прошлой зи-мой, когда высаживали Перевальную. Какой молодец Хомутов! На его месте другой спал бы без задних ног... Еще раз обернувшись, кивнул Мохову, подтверждая правильность его действий, и он скрылся в своей кабине. Звезды гасли, небо голубело. Вот в зените оно стало зеленеть, а на юге краснеть. Тускло, как на изнанке пе-реводной картинке, внизу начали проявляться детали земной поверхности. Различаю извивы Амгуэмы и при-лежающие к ней сопки. Отраженный небом свет окра-шивает их в розовато-зеленые тона. Впервые я вижу Чукотку в предрассветном сне. Впервые и она видит ле-тательный аппарат, возникший из ночной тьмы. Я ча-сто критиковал себя. На этот раз захотелось похвалить: «Молодец. Правильно сделал, что вылетел!»

На приборе две тысячи метров высоты. Амгуэма по-вернула на запад, а по курсу земля вздыбилась гор-ными кряжами. На фоне салатного неба за черным гребнем хребта появилось солнце. Сплюсненным мали-новым шаром оно лежало на кромке южного горизонта. Подумать только, более месяца я не видел его...

Через два с четвертью часа после взлета мы пересека-ли ось Анадырского хребта. С солнечной стороны кру-тые его склоны пламенели цветом красной меди, а те-невые контрастировали сиренево-фиолетовыми тонами. При перемещении самолета эти переходы цветов созда-вали переменчивую игру красок, радующую глаз.

По оси хребта проходил Полярный круг. За ним мы вступили в область, где день постоянно чередуется с ночью. От солнечного света, от удачного полета возник-ла душевная приподнятость, готовность к действиям, которых потребует так славно начавшийся день. Навер-

ное, так чувствует себя заключенный, вырвавшийся из заточения на свободу. От избытка сил хотелось крикнуть, как в лесу: о-го-го!

80 процентов территории Чукотки — горы. Равнинные места разбросаны кусочками. Только в одном месте плоское пространство впечатляет своей обширностью. От Анадырского хребта на севере до Корякского на юге триста километров морского побережья. От него почти на четыреста километров в глубь материка простирается заболоченная тундра. Отдельно стоящие массивы, такие, как Золотой хребет и Ушканья гора, с высоты полета можно вообразить стогами сена на огромном лугу.

Невольно появляется мысль: как много места — как мало крыш!

Безжизненную огромность этой полярной пустыни природа смягчила и украсила замечательным своим творением — Анадырским лиманом. В самом слове «лиман» чудится покой, сонная нега мелководья. Ничего похожего на покой нет в этом лимане. В нем хозяйничает могучий красавец Анадырь.

Взгляд с воздуха оставляет сильное впечатление о могуществе сил, сотворивших Анадырский лиман. На сто километров в длину и до пятидесяти в широком месте отвоевал он у материка.

На пути Анадыря, в шестидесяти километрах от Берингова моря, Золотой хребет выставил свой отрог. Река разрезала базальт, как нож режет масло. В этом месте на всю ширину фарватера образовалась шестикилометровая узкость. Течение в ней настолько сильное, что его с трудом преодолевают мощные катера рыбокомбината.

Но особенно заметна река в лимане зимой. Полярный холод заковывает лиман к началу ноября, а фарватер, дымясь с необузданной силой, ломает и ломает лед, вынося его в море еще месяц, а то и больше. Такая картина предстала моим глазам и на этот раз. Окружной центр на южном берегу и поселок комбината на северном разъединены ледоходом.

Наверное, не судьба встретиться мне с Волковым сегодня. Зря рисковал!

Приземляюсь на льду бухты Мелкой возле комбината и по старой памяти подруливаю к месту, против которого стоял дом Анадырской авиабазы. И вижу...

что за чертовщина! На месте год назад сгоревшего дома стоит точно такой же. Прямо как в сказке!

На берегу толпа встречающих — много знакомых. Когда остановился мотор, почему-то вопреки обыкновению все остались стоять на почтительном удалении. Я направился к ним, но мне преградил путь незнакомый парень, только что показывавший флажками, где остановить машину. Для двадцатиградусного мороза он был одет по-пижонски: поверх свитера морской китель, черные флотские брюки и ботинки, на голове фуражка со значком СМП. Незнамец не шел, а «рубил» строевым шагом. Остановился, бросил ладонь к козырьку и громко, с расчетом на публику, отрапортовал:

— Товарищ командир Чукотского отряда! Анадырский аэропорт Тихоокеанской линии восстановлен и поступает в ваше распоряжение! Докладывает начальник аэропорта Остроуценко.

Отступив в сторону, он символически освободил дорогу к объекту рапорта.

— Здравствуйте, товарищ Остроуценко! За приятный сюрприз спасибо. Как ваше имя-отчество и как вы сюда попали?

Услышал: машинист Краснознаменного ледокола «Красин» Виктор Прокофьевич Остроуценко. В аэроклубе закончил обучение на летчика. Принял предложение товарища Красинского начать с должности начальника полярного аэропорта. Построил его на месте пожарища. Нашего прилета ждал с нетерпением.

«Ого, черт возьми! Этот парень знает, чего хочет, и времени зря не теряет». Рассмотрел на кителе свежий подворотничок, под фуражкой буйную шевелюру, на удлиннном, энергичном лице умные, а может, просто нахальные глаза. Выправка, осанка выдавали спортсмена и строевика. Внешний облик вызывал симпатию, а такой напористый способ подачи себя — неприязнь.

Подхожу к начальнику рыбокомбината В. Д. Бовтуну:

— Какое сообщение с городом, Василий Данилович?

— На собачках кругом фарватера четыре-пять часов. Два раза в сутки разговариваем по радио. Волковой и Тевлянто ждут вас для переговоров, как только сядете.

На радиостанции, как только радист Баранов нажал на ключ, послышалась ответная дробь морзянки. Теле-

фона в то время мы не знали, и все переговоры велись на языке азбуки Морзе.

— У аппарата Волковой и Тевлянто. Здравствуйте, товарищ Каминский. Очень нужно, чтобы вы сделали посадку у нас.

— А где?

— Посмотрите сами, мы этого определить не можем.

Никогда — ни зимой ни летом — не садились самолеты возле города. Летом препятствовало быстрое течение, а зимой торосы между фарватером и берегом. Да и нужды в такой посадке не возникало. Имея отличную площадку в бухте Мелкой, мы не искали другой, возле города. После короткого раздумья ответил:

— Хорошо. Через десять минут буду в воздухе!

НИЧЕГО В КРЕДИТ. ВСЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ

Фарватер лимана заполнен движущимся льдом. Местами чернеют полыньи и разводья. Кажется, что на белом фоне ползет, извиваясь, огромная пестрая змея, сжимая и разжимая свое тело. Большие и маленькие льдины как будто соревнуются в стремлении опередить своих соседей на пути к морю. Они сталкиваются, становятся на ребро, переворачиваются, лезут друг на друга. Даже зрительное восприятие этого хаотического движения рождает ощущение грохота, непрерывного монотонного гула.

Кружусь над маленьким, утонувшим в снегах одноэтажным поселком. Он неказист, но является столицей для еще более маленьких поселений, стойбищ, временок экспедиций и других очагов жизни большого края. Внимательно всматриваясь, ищу площадку. Но увы! Ничего подходящего природа не подготовила. Прибрежная зона, как всегда, загромождена торосами, а тундра, окружающая город, настолько бугриста, что и зимние заносы не выравнивают рельефа. Все подходы к городу безнадежны. А что, если сесть в самом городе? На Казачке?

Казачкой называется речушка, разделившая поселок на две половины. В сущности, это тундровый ручей. Вся длина его двадцать километров. Казачка — такая же река, как этот поселок — город. Будто стыдясь своей мизерности, перед галечной косой, преградившей ей

путь в лиман, Казачка напыжилась и разлилась, как пруд перед плотиной.

Всматриваюсь с тем вниманием, к которому обязывает последняя надежда. Вдоль берегов пруда горожане наделали лунок, из которых добывают пресную воду. Около каждой — горка льда. Между лунками метров пятьдесят — тесно. Длины пруда для пробега недостаточно, так как речушка вливается в него сбоку. Обидно! А что, если в конце пробега развернуться в устье реки?

Сложность предстоящего маневра в том, что при затухании скорости самолет перестает подчиняться рулю направления. Чтобы восстановить его эффективность, придется дать газ мотору, усилить струю от винта. Расчет этого момента требует безошибочной точности. Дашь мало или поздно — выскочишь на берег по прямой. Дашь много — развернет и выбросит на другой берег...

Приняв решение, делаю круг, второй, замечаю ориентиры, где приземлиться, где снова дать газ. Жестами и мимикой даю знать Мохову, чтобы сообщил в комбинат о посадке на Казачке.

С замиранием сердца планирую. Мягкий толчок — машина бежит. На меня летит берег. Вот уже сто, пятьдесят, тридцать метров. Справа открылся просвет реки — пора. Даю газ, жму на руль поворота.

Уклоняясь от берега, машина послушно изменила направление пробега и вскоре остановилась. Если бы меня спросили, сколько и как резко следует дать газа для такого поворота, ответить не смог бы. Автоматически сработали интуиция и глазомер. Они вырабатываются опытом, и никакая инструкция научить этому не может.

Перевел дух, развернулся и порулил обратно. Подумал: немало трудных посадок довелось мне сделать на Чукотке. Честно говоря, некоторые выполнял без острой надобности, из спортивного азарта, но, спасибо им, они подготовили меня к этой, быть может, единственной столь необходимой...

На берегу, вблизи от здания окрисполкома, меня встречает восторженная толпа. Большинство впервые так близко видит самолет, на лицах улыбки, в глазах восхищение. Детишки пугливо жмутся к ногам взрослых, а собаки бесстрашно снуют кругом самолета, лезут под мотор. Пришлось поспешно выключить его. Пропел-

лер мог порубить этих «провинциалов», незнакомых с пагубной силой техники.

— Этти, Этти *, Каминский!

Обрадованный Тевлянто, улыбаясь, обхватил за плечи и увлек за собой, не дав ответить на приветствия и пожать протянутые руки. Пришли в знакомый мне кабинет секретаря окружкома. Помня жесткий текст радиogramмы, видя неприветливость Волкового, я и сейчас не надеюсь услышать ничего хорошего. На берегу на мое «здравствуйте» он лишь кивнул, не подходя близко. Среди улыбчивых лиц он один сохранил серьезность.

— Садись, Миша. Волковой скажет все, что нужно, а меня ждут на радиостанции. Я скоро вернусь! — С этими словами Тевлянто оставил нас вдвоем. Выговор у Тевлянто мягкий, с той особенностью, что присуща всем камчадалам и чукчам, говорящим по-русски. Шипящие звучат как «с». С уходом Тевлянто секретарь окружкома преобразился:

— Ну вот теперь здравствуйте, товарищ Каминский. Большое вам спасибо, что рискнули сесть у нас. Наблюдая вашу посадку, я волновался как никогда в жизни.

Обеими руками Волковой с силой сжал мою руку, потянул ее книзу, сел сам и усадил меня. Болезненно-желтое его лицо озарилось вымученной улыбкой.

— Не знаю, сможете ли вы нам помочь, но главное, вы здесь, скажу откровенно, на душе легче стало. Извините за грубую радиogramму. Узнаете причину — не осудите.

Мой собеседник помолчал, посмотрел на окно, потом на дверь и негромким, глуховатым голосом продолжил:

— Вы, наверное, представляете, как мы здесь волнуемся, сумеем ли провести выборы двенадцатого декабря. Радиосвязь работает плохо. Бланки бюллетеней, инструкции, печати должны были привезти месяц назад, но посыльное судно из Владивостока подошло только сегодня, буквально перед вашим прилетом. Командир корабля сообщает, что войти в лиман не может, все побережье блокировано льдом. Мы намереваемся послать к устью лимана наряды с людьми, по этому вопросу и пошел догвариваться Тевлянто с руководством комби-

* Здравствуй! (чукотск.).

ната. Но на это уйдет два дня, а в нашем распоряжении всего... тринадцать суток...

Волковой встал и продолжал рассказывать, шагая из угла в угол.

— В общем вы со своим самолетом нужны сейчас, что называется, позарез... До избирательных участков, как вы знаете, многие сотни, даже тысячи километров. На северном берегу ночь и непогода. Избирательные документы за пределами досягаемости. Чтобы в таких обстоятельствах выборы прошли в назначенный день, должно совершиться чудо.

Волковой прислонился к стене. Он смотрел на меня с сомнением и надеждой. Так может смотреть больной на человека, от которого зависит исцеление. В памяти всплыл июльский день прошедшего лета, мое подавленное состояние после аварии. И те нужные слова, какие нашел в себе этот суровый человек, чтобы ободрить меня. Сейчас моя очередь помочь Волковому в трудное для него время.

Я понимал, что за выборы отвечаю не меньше секретаря, но у меня появилась возможность отплатить добром за его доброе отношение. Ощущение зависимости Волкового от меня было приятно, но я еще не уяснил чего-то, что стояло за сказанным и этими переживаниями секретаря. Спросил:

— Филипп Клементьевич! В октябре вы были в другом настроении, хотя знали, какие трудности предстоят. Что изменилось?

— Изменилась обстановка. Новые люди создают и новую обстановку. Наверное, и вы это почувствовали, когда уехали Сургучев, Морозов, Островенко и другие «старики».

— Конечно! И еще как!

— К нам с последним пароходом прибыли новые люди. В их глазах мы, старые чукотцы, отсталые, примирившиеся с недостатками люди. «Зимовщики!» — говорят они пренебрежительно. Есть авиация в округе? Есть! Так почему же самолеты не дежурят, ожидая парохода с документами? Кто командир отряда? Ага, аварийщик, да еще и трактор утопил! Вызвать его немедленно! Тевлянто был утвержден сразу, а вот кандидатуры в Совет Союза менялись трижды. Это обстоятельство задержало печатание бюллетеней и их доставку

сюда. Оставшийся срок в условиях Чукотки не гарантирует проведения выборов в назначенный день.

Волковой, помолчав, с неохотой заговорил:

— Эти люди понимают, что большая половина выборной кампании зависит от вас, и заранее высказывают недоверие. И на первый взгляд не без оснований. Летом вы утопили самолет, осенью трактор, потом у вас застрелился ученик-чукча. И еще есть какие-то криминалы. В прокуратуре на вас завели дело, а от нас с Тевлянто требовали вашего вызова, не стесняясь в формулировках. Если бы вы не смогли вылететь отсюда с документами, то, вероятно, вообще больше не летали бы... Вот какое дело, товарищ Каминский. Не хотелось мне портить вам настроение, но вы уже немолодой коммунист и не упадете в обморок...

Пристально посмотрев мне в лицо и помолчав, Волковой закончил неприятное для него дело такими утешающими словами:

— Мне дали слово отложить выяснение ваших ЧП до конца выборной кампании. Я в вас верю и хочу, чтобы вы это знали.

Одного из таких новых работников, Грызлова, мы утвердили ответственным за выборы по комбинату Главсевморпути. Посоветовавшись с Тевлянто, я вызвал вас сюда, чтобы он не успел испортить вам настроение. И хорошо, что вы сумели сделать посадку у нас...

Вот почему мне так тревожно было на базе. Вот почему я так рвался вылететь, не ожидая утра. А говорят, не верь предчувствиям! Волковой, видимо, сказал все, что мог, спасибо ему за предупреждение.

Однако сообщение секретаря окружкома не произвело на меня того действия, какое могло бы. Я воспринял его как еще одно препятствие, какие уже одолевал. Не мог я представить, чтобы кто-то всерьез мог видеть во мне преступника. К создавшемуся настроению «спасти Волкового» прибавилось желание немедленно и делом опровергнуть мнение, создавшееся у работников прокуратуры. Вспомнились слова Маслова, что опасность надо встречать грудью, а не спиной.

— Филипп Клементьевич! Сейчас я полечу к морю, свяжусь с командиром корабля и попрошу выслать шлюпку с документами к тому месту, где сяду. Посылки привезу сюда, за ночь вы отберете что надо для моих участков, а утром я вылечу на север. Если действо-

вать, тринадцать суток — это немало. Подержалась бы погода!

В глазах секретаря окружкома появился блеск, лицо порозовело.

— А где же вы сядете?

— Два года назад о такой посадке не мог бы и подумать. За это время кое-чему научился. Не волнуйтесь за меня!

Я почувствовал, что перешагнул какую-то ступеньку в своей психологии и в наших с ним отношениях. Ощутил, что до сих пор я находился в плену гипноза, исходящего от высокой должности своих руководителей. Сейчас, как в свете молнии, высветилось мне, что на любом посту до самого высокого не бог, а человек. Он может испытывать сомнения, страх, впадать в отчаяние, совершать ошибки.

На самостоятельной работе, когда не на кого стало оглядываться и ждать указаний, убедился, что не трус и способен принимать рискованные, но разумные решения. Сейчас я ощутил значительность того, что способен сделать, и что дело не в моей должности, а во мне самом. Я поднялся.

— Еще минуточку, — задержал Волковой. — В ближайшие районы мы доставим документы на собачках. Островновский район ни мы, ни вы достать не сможем. До него две тысячи километров, и при самой большой удаче вряд ли вы успеете туда добраться. И все же документы для Островного вам дадим. Если не доставите — судить не будут. Отдаленность, непогода — одним словом, стихия. Оставить же их у себя не имеем права. И последнее. Попрошу вас взять с собой Тевлянто. Кандидат в депутаты должен показаться избирателям и выступить перед ними.

— Хорошо, Филипп Клементьевич! Тевлянто я возьму. Если у вас все, разрешите действовать, день идет к концу.

— В добрый час, товарищ Каминский. Надеюсь на вас!

В дверях я столкнулся с Тевлянто. Запыхавшийся, но довольный, он сказал, обращаясь к нам двоим:

— Договорился с командиром корабля. Он отправит шлюпку с документами к берегу, и матросы будут ждать прибытия нарты от Бовтуна. Послезавтра документы у нас, и мы можем их рассылать.

— Мы решили по-другому. Уже сегодня я доставлю документы, а завтра в путь. Ты летишь со мной.

— Каккуме! Если это тебе удастся — шампанское за мной. Я готов как пионер, и Столопов просит его взять с собой.

Володя Столопов — секретарь окружка комсомола. Скромняга и умница. Нас сдружила идея аэроклуба. Идею выдвинул я, а Володя сделал ее детищем чукотского комсомола. Формально аэроклуб уже существовал. В него вступали и целыми организациями и индивидуально; в банке накопилось вступительных взносов свыше трех тысяч рублей. Правда, пока не было ни самолетов, ни летчиков, свободных от своих прямых дел, но мы верили, что аэроклуб у нас будет. Мне хотелось помочь Володе в его комсомольских делах. В самом деле, когда еще подвернется ему такая оказия?

На взлете, сбавив газ и придерживав машину на скорости, безопасной для поворота, за излучиной оторвался от льда. Через двадцать минут достиг устья лимана. Десятикилометровая полоса льда, выносимая рекой, при выходе в море загибалась к югу и блокировала берег за пределы видимости. К северу льда было меньше, море играло солнечными зайчиками.

В двух километрах от берега разглядел маленький сторожевой корабль. Вокруг него обломки ледяных полей. Наверное, моряки сейчас боятся, что вот-вот их зажмут льды, как «Челюскин». Ведь они знают, что еще не было корабля, который в такое время года приближался бы к этим берегам.

На высоте трехсот метров кружусь, пока Саша не говорит, что наше сообщение принято, шлюпку готовят, место приземления засекут. Возвратившись к берегу, ищу место для посадки. Предгорья Золотого хребта всхолмили местность до самого моря. Я переоценил свои возможности. Даже нехорошо стало. Что скажет Волковой?

— Площадку найти надо. Надо!

Примерно в километре от моря я нашел озерко, скрытое в складках местности. Маленькое, с высокими берегами, но другого не оказалось, а капризничать на моем месте не приходилось. Приземлился благополучно. Оставив Сашу у самолета, взял ракетницу, побежал к морю. К берегу уже подгребала шлюпка. Через два ча-

са после вылета с Казачки я вновь приземлился на ней уже увереннее.

Только вторично взлетев с Казачки, осознал, что главное сделано и день, так много вместившей в себя, идет к концу. Вместе с усталостью и голодом ощутил странное оцепенение. Как будто кончился завод и напряжение пружины пришло к концу. Надо прибрать газ и через три минуты сделать посадку в аэропорту. Но мотор продолжал работать на максимальных оборотах, мои руки держали машину в наборе высоты, и не осталось сил что-то еще соображать, совершать действия, требующие напряжения. Все, что видели мои глаза прямо перед собой, входило в сознание как во сне.

Солнышко переместилось на юго-запад и спряталось за хребет Рарыткин. Зубцы его вершин проецировались на красном небе. Равнина верховьев лимана и окрестной тундры утратила серебристо сверкавшую дневную яркость. На краткие минуты, которые сопровождают заход солнца, низменность окрасилась в пепельно-жемчужные тона. До Рарыткина более ста километров, но воздух прозрачен, как хрусталь. Хребет видится от вершины до подножий. Теневая его сторона дымчато-сиреневая, с удивительно мягкими переходами оттенков, будто не из камня, а из замши соорудила природа эту красоту.

Эти нежные краски рождали душевное умиротворение. Румяные полоски облаков над хребтом усиливали симптомы силы и здоровья уходящего дня. Они предвещали такое же благополучие и на завтра.

От бездумного созерцания очнулся, почувствовав на плече руку Мохова. В зеркало вижу на его лице недоумение и вопрос: «Куда это мы летим?» Я показал рукой, на что смотрю, убрал газ и развернулся в сторону аэродрома. Передо мной во всю ширь темнело море Беринга. Оно не сверкало, как днем, стало угрюмо-однотонным и казалось недобрым. Захотелось скорее вернуться к людям, к теплу их жилищ.

Сегодня мы с Сашей славно потрудились. Однако что-то угнетает, снижает радость от сделанного.

Ага, понял! Волковой сказал, что ведется счет моим ошибкам. Кому нужно, чтобы я работал и боялся, как бы ошибку не назвали преступлением?..

Остроущенко встречал нас с флажками в обеих руках, подняв их над головой. Когда самолет подрулил ближе, он пошел впереди, показывая дорогу к якорной стоянке. Я усмехнулся: такого сервиса в нашей чукотской жизни еще не было. Опять показуха?

Но нет, в забытой форме встречи самолета «землей» арктически грамотное содержание. Стоянка оборудована точно в плоскости пургового ветра, с нее удобно вырुлить, и расположена она в стороне от катеров плавбазы, за которыми образуются снежные заносы.

Молодец Остроущенко! Обрадовала возможность приглушить неприязнь от спектакля, какой он учинил при первой посадке.

— Товарищ командир! За якоря можете не беспокоиться. Машину укрепим, зачехлим и заправим сами. Вас и механика ждет обед!

Этот рапорт последовал, как только я ступил на землю, не успев сделать и трех шагов. В громком, четком голосе не было и тени искательности или услужливости. Чувствовалось достоинство человека, умело исполняющего долг. На этот раз не смутила рука под козырек и рапорт из положения «смирно». Надолго ли хватит ему такой строевой подтянутости — вот вопрос. Поблагодарив, закуривая, спросил:

— Виктор Прокофьевич, какой ветер занес вас сюда?

Остроущенко ответил сдержанно, как бы отвергал покровительственную интонацию вопроса.

— Еще мальчишкой читал Нансена и мечтал об Арктике, а после челюскинцев она стала целью жизни. Работал я тогда во Владивостокском порту слесарем и учился в аэроклубе. Когда ЦК комсомола объявил призыв моряков на «Красин», я сделал все, чтобы попасть на него. Участвовал в первом и втором походах. Летом тридцать пятого на мысе Северном сделал показательный прыжок с парашютом. Вывозил ваш летчик Масленников. Чукчи, увидев опускающегося с неба, попадали как подстреленные.

Повидав Арктику с моря, стал мечтать увидеть ее с воздуха. Капитан Белоусов Михаил Прокофьевич благословил. Я списался на берег, окончил аэроклуб. А тем временем прослышал, что организуется Тихоокеанская воздушная линия. Разыскал товарища Красинского, Ге-

оргий Давидович предложил поехать начальником Анадырского порта. Сказал, что если кто и может помочь мне стать летчиком, так это Каминский на Чукотке. Потому я так ждал вашего прилета и старался приготовить порт.

— Георгий Давидович сильно преувеличил мои возможности, но об этом в другой раз. Расскажите, как доехали, как строились? — спросил я.

— Ну это целая эпопея! Погрузил я на последний пароход этот дом, кое-какое имущество, собрал бригаду строителей и прибыл сюда с мандатом от Красинского на открытие банковского счета. С финансами никогда дела не имел, чего-то не хватало в моих документах, но, слава богу, мир не без добрых людей. Управляющий банком Михаил Андреевич Карепин оказался не бюрократом. Счет открыл, а деньги от Красинского не поступают. Надо кормиться, платить зарплату, а у меня ни копейки, хоть «караул!» кричи. Пришлось пошевелить мозгами, и подрядился я строить своей бригадой дома для местных организаций. Строил им и себе одновременно. Вот так, за чужой счет, и построил порт. Теперь даже свои заработанные деньги имею в банке. А незадолго до вашего прилета стало известно, что Тихоокеанская линия закрыта.

За внешней независимостью поведения Остроущенко я почувствовал, как много значит для него мое, его начальника, отношение. Представляя меня человеком, способным оценить сделанное и помочь в достижении главной цели, он с достоинством, но доверчиво вверял свою судьбу в мои руки. Зная Белоусова, его отношение к матросам, я ощутил в себе желание не оказаться в глазах этого парня ниже его капитана.

Пока мы разговаривали, подошел Берестецкий и, как показалось, раздраженно спросил:

— Что так запозднился? Отойдем в сторонку — поговорить надо.

— С утра маковой росинки во рту не было. Может, после обеда?

— Не умрешь — потом у тебя будет другой собеседник.

Начальник политотдела направился вдоль берега к мысу обсервации. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним.

— Прежде всего расскажи, что в Анадыре?

— Поговорить пришлось только с Волковым. Осталось впечатление, что он не самый счастливый человек на том берегу. Сказал, что нам обоим не поздоровится, если сорвутся выборы. Слетал к кораблю, доставил документы, а утром с Тевлянто и Столоповым улетаю на север. Все!

— Не нравится мне, как ты говоришь об этом. Будто на воскресную прогулку собираешься.

— Просто я здорово устал сегодня. А кроме того, мне слезы вытирать некому. Повезет с погодой — доставлю документы. А если нет — выше себя не прыгну.

— А надо, Михаил. Надо даже выше себя. Везет тому, кто умеет, а главное — хочет. Ты умеешь и должен захотеть так, будто от этого зависит твоя жизнь.

— Какие-то вы здесь напуганные, Абрам Григорьевич. Вот и Волковой говорил почти то же самое. Что произошло?

— Зубная боль кажется пустяком до тех пор, пока зуб болит у другого, Михаил!

— Намек понял, но неужели ты сомневался, что я не сделаю все, что в человеческих силах? За Советскую власть меня агитировать не надо!

— Ну тогда прости. Показалось, что ты несерьезно отнесся к предупреждениям Волкового. Сейчас с тобой будет говорить человек из прокуратуры. Грызлов Святослав Андреевич.

— А зачем я ему понадобился?

— Волею судьбы в чукотской жизни ты стал фигурой. В данных обстоятельствах решающей. А кроме того, он тоже обеспечивает выборы, как многие наши ответственные работники, приехал специально для встречи с тобой.

— А чем он может мне помочь?

— Он представляет орган контролирующий. Его задача — убедиться, что ничто не мешает тебе выполнить свою роль и что ты сам достаточно мобилизован. Предупреждаю: в разговоре с ним будь осторожен в выражениях. Если не сумеешь доставить документы, любую твою сегодняшнюю фразу он обернет против тебя как саботажника.

— Спасибо за предупреждение. Но не из-за этого же ты держишь меня голодным.

— Значит, ты мало что понял. Сказанное считаю стоящим хорошего обеда! По должности мне следует

остерегать тебя, а я говорю, что ситуация требует отваги. Пожелаю тебе удачи!

Берестецкий повернулся ко мне лицом, остановился, обеими руками сжал мою руку. Поколебавшись, обнял.

— Товарищ Каминский? Я — Грызлов.

В окнах дома и всего поселка уже горел свет, и в уличных сумерках я смог рассмотреть мужчину среднего роста, в кухлянке до колен, на голове у него был малахай с опушкой из волчьего меха. Вошли в дом, разделись. На Грызлове оказался темный гражданский костюм, брюки заправлены в хорошей выделки чукотские торбаса. В каждой детали его чукотской одежды была та неброская элегантность, которая, я знал по личному опыту, доступна здесь не всем.

Нас встретил Остроущенко, пригласил в кают-компанию, где Саша заканчивал обед. Перед ним стояла начатая бутылка со спиртом и ковш с холодной водой. Мохов молча подвинулся, налил полстакана из бутылки, разбавил и поставил передо мной, не обращая внимания на гостя.

От кетового балыка, красной икры, кетовых «пупков» и других закусовых деликатесов засосало в желудке, аж слюнки потекли.

— Пообедаете с нами?

— С удовольствием!

— Выпьете?

— А почему бы нет!

Возбужденный предстоящим разговором, я старался держаться естественно, не показывая своей заинтересованности. Грызлова разглядывал урывками, исподволь. Насколько я мог судить, это был физически крепкий, ловкий, уверенный в себе парень, из тех, в ком сразу почувствуешь командира. По возрасту он представлялся мне ровесником, может, чуть старше. Лицо для полярника бледноватое, не испытывавшее частого воздействия мороза и ветра. Выговор московский, акающий. Голос приятного тембра с широким диапазоном выразительности. Вероятно, Грызлов был хорошим оратором. Может, это уже от предвзятости, но бросалась в глаза одна странность: его улыбка не отображала то, что должно, — радость, приветливость и тайла в себе какой-то иной смысл. При светлых волосах и белесых бровях казался

неожиданным темный цвет его глаз. Но глаза были умными и противоречили неопределенности выражения лица. Они, как показал дальнейший разговор, красноречиво отображали разные состояния: расположенность и неприязнь, строгость и добродушие, жесткость и доверчивость; насколько искренне, я так и не понял. Держался он просто, начальства из себя не строил, и вначале подумалось, что Берестецкий сгустил краски. Не ожидая приглашений, гость первым поднял стакан.

— Рад лично познакомиться с вами, Михаил Николаевич и Александр Иванович! (Ишь ты, по именам знает!) Предстоящий полет — лотерея, в которой выигрывает счастливый. Желаю вам выиграть!

Чокнувшись с нами, Грызлов выпил содержимое одним духом, не морщась, и, понюхав корочку, неспешно принялся за закуску.

Пока я утолял свой зверский голод, наш собеседник умело и непринужденно поддерживал «светский» разговор нейтрального, как казалось, характера. Видимо, я слегка опьянел от спирта натошак, потому не сразу уловил некую направленность в подборе информации.

Говоря о погоде прошлой зимы, вроде бы к слову он сказал, что округ не выполнил плана по пушнине. Затронув итоги навигации, посетовал, что торговая контора недополучила с материка очень нужных товаров. Перейдя к деятельности комбината, уже более резко заметил, что «главсевморпутцы» проворонили путину. Не завезли запчастей к катерам, ставных сетей оказалось недостаточно, потому консервный завод тоже не выполнил государственного плана.

— Святослав Андреевич! К сожалению, на материке плохо знают, что нужно Чукотке. Засылают дорогие сорта папирос, шелковое дамское белье, модные ботинки. В Ванкарем доставили два ящика духов. Но зато в недостатке трубочный табак, в дефиците медные чайники, патроны к винчестерам. А руль-моторы, так нужные береговым охотникам, почти не поступают. Видимо, есть трудности, которые ставят под удар местных работников?

Лицо Грызлова утратило расположенность, во взгляде появился холодок, белесые брови сошлись в линию. Ответил быстро и резко:

— В настоящее время ссылки на трудности равносильны вражеской диверсии. Ими прикрываются все неградивые работники, как только берешь их за шкуру!

— Зачем же, Святослав Андреевич, стричь подряд все, что растет? Во всяком деле есть и объективные трудности. Иногда они неодолимы. Вот, скажем, руль-моторы. Наша промышленность еще не в состоянии удовлетворить потребность в них.

— Товарищ Каминский, конечно, в природе есть объективные трудности, и глупо не считаться с ними. Например, задует пурга или накроет туман, и будете сидеть, ожидая летной погоды. Тут уж ничего не поделаешь!

Грызлов огляделся. Убедившись, что мы остались вдвоем, снизил голос, продолжал доверительно:

— Надо помнить, что страна вступила в самую важную битву нашего времени — в битву с отсталостью. Героический рабочий класс в союзе с колхозным крестьянством преодолевает небывалые трудности. Их создают остатки разбитых классов и несознательные элементы среди трудящихся города и деревни. Благодушие — вот в чем главная опасность для коммуниста. Ну, например, знаете ли вы, что не так давно пограничники задержали чукчу, который срисовывал план вашей базы?

— Этот факт мне известен по-другому. Полуграмотный парень срисовывал не базу, а самолет, чтобы вырезать силуэт на моржовом клыке. Мы даже порадовались, что авиация займет место в художественном творчестве косторезов. Я сам, к случаю, похвалился этим пограничникам.

— В этом ваше благодушие и выразилось. Пограничники посмотрели на этот факт по-другому и выяснили, что интерес к самолету имел другую основу. Нельзя забывать, что Тихоокеанское побережье — это граница...

Угадывая, куда клонится разговор, начиная злиться, я выпалил:

— А вам не кажется, что вы представляете себя единственным блюстителем интересов государства?

Свое раздражение Грызлов выдал только взглядом. Но лицо не дрогнуло, а в голосе отобразилось огорчение.

— Ну зачем же так, Михаил Николаевич! У нас много помощников, отдельных лиц мы не отождествляем с массой честных тружеников. И они помогают нам. Как вы знаете, прокуратура стоит на страже государства, как лев рыкающий. Чтобы враги и запаха боялись.

— Это верно, но нельзя же видеть врагов в наших людях. Могу назвать десятки имен полярников, геологов, партийных работников, которым верю как себе. Вы, как бы это сказать, чрезмерно недоверчивы, что ли?

В неувловимом изменении позы, выражении лица, в быстром — глаза в глаза — взгляде я ощутил в себе седнике напряженную собранность, готовность к резкости. Но то был миг. На лице вновь улыбка и доброжелательность. Подумалось, что Грызлов ведет со мной игру, которая доставляет ему удовольствие. Он ответил:

— Ах, дорогой наш летчик, вы слишком доверчивы, потому и заблуждаетесь. Откровенно говоря, я больше верю беспартийным. Примите дружеский совет, не портите себе биографию подобного рода заявлениями. Найдутся люди, которые усмотрят в них не совсем то, что вы хотели сказать.

Во рту стало сухо. Этот совет, что называется — «благодарность с предупреждением»! Чувствуя, что во мне закипает гнев, с которым не справлюсь, я опустил глаза. Остановила мысль, что мой оппонент сохраняет выдержку. Сила в аргументах, а не в резкостях. Грызлов молчал, постукивая пальцами по столу. Подняв глаза, я заметил, как погасла усмешка в его взгляде, с явным любопытством устремленным мне в лицо. Ответил ему спокойно, но убежденно:

— Хочу думать, что биографии советских людей оцениваются не по словам, а по делам. Ленин учил нас, что сила партии в ее сплоченности, в доверии к ней широких масс. Не кажется ли вам, что страх разрушает эту силу?

Грызлов выдержал паузу. Его лицо приобрело печальное выражение, когда задушевым голосом он высказал, видимо, давно прибереженное:

— Ах, Михаил Николаевич! Вероятно, вы думаете, что работаете в окружении кристальных людей? Заблуждаетесь! Как иначе объяснить факт потери нового трактора на вашей базе? Или факт самоубийства ученика тракториста Тымнеро? И это не простое самоубийство. Оно имеет политический характер, так как бьет по национальным кадрам.

От неожиданности я смигнул и почувствовал, что холодею. Вспоминать о Тымнеро все равно что поворачивать нож в ране. Понял, что Берестецкий не зря предупреждал.

Грызлов же, сохраняя теплоту и сочувствие в голосе, сказал:

— Когда кораблю угрожает опасность, капитан должен быть суровым. Иначе пассажиров погубят трусы и паникеры. Цель моего свидания с вами — помочь расстаться с прекраснодушием. Давайте на этом закончим нашу беседу. Завтра у вас нелегкий день, и я пожелаю, как говорят моряки, попутного ветра вашему кораблю. Когда вернетесь — заходите, будем рады.

Как только хлопнула за Грызловым дверь, появился Остроущенко, а из комнат стали выходить строители базы. Как будто все только и ждали, когда удалится этот человек. Остроущенко внимательно, со значением посмотрел на меня.

— Товарищ командир! Уже семь тридцать, время общего ужина — разрешите занять кают-компанию?

Согласно кивнув головой, я прошел в комнату, отведенную нам с Моховым. Какой же длинный день, какая огромная усталость! Как будто долго пробирался по скользкому обрыву, напрягаясь и боясь оступиться.

Саша уже спал, слегка посапывая, и у меня заныло сердце. Целый день от темна до темна мы были вместе, но не оставалось минуты, чтобы рассказать ему, что происходит. Он только и слышал: «Саша, к запуску!» или: «Зачехли мотор и подежурь у самолета!»

Не раздеваясь, лег на койку, чтобы дать отдых телу и успокоить взбудораженные нервы. Почувствовал, что избыток впечатлений так же вреден человеку, как и их недостаток. В усталом мозгу мелькали картины пережитого: ночной полет, встреча с солнцем, разговор с Волковым, посадка на побережье... Казалось, что это произошло давным-давно. Реальным, сиюминутно ощущаемым оставался только этот застольный разговор. От него на душе какой-то нерастворимый осадок, не то горький, не то кислый...

На какое-то время забылся. Пришел в себя от тишины. В столовой не стало шума, шарканья ног, звона посуды. Видимо, все улеглись. Зажигать спичку, смотреть на часы не хотелось. Разделся в темноте и долго лежал, перебирая в памяти все слова, фразы, интонацию, выражение лица Грызлова.

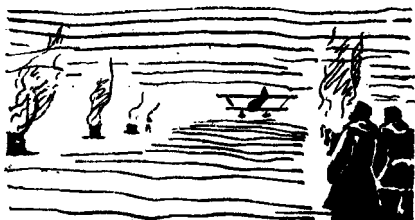
Все, что он говорил, вроде бы правильно, ни к чему не придерешься. И все-таки что-то не так! Можно ли

верить его расположенности или прав Берестецкий, видя в нем одно коварство?

«Откровенно говоря, я больше доверяю беспартийным!» Нет, настоящий коммунист так сказать не может, нет!

Еще долго я лежал с открытыми глазами, ожидая, когда утихнут волнения прошедшего дня. Бывает вот такая усталость, при которой требуется усилие, чтобы закрыть глаза. И еще удивительно, что бессонница приходит тогда, когда есть возможность поспать.

Наконец почувствовал, что сон тяжелит мое тело, мысли становились вялыми, оборванными. Я заснул, но мозг продолжал работать. Всю ночь я летал над землей, окрашенной призрачным красно-зеленым светом. Все время хотелось уйти в высоту к солнечному свету, но Грызлов держал за руку, и мое сердце сжимал страх...



Глава вторая

«ЛИШЬ ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ...»

ЛИЦОМ К ВЕТРУ!

Утром 30 ноября с первым солнечным лучом мы с Сашей слетали на другую сторону лимана. На Ка-зачке сидел уже смело, как на аэродроме. С грузом драгоценных посылок, с Тевлянто и Столоповым на борту возвратились в комбинат.

Солнышко не спеша взбиралось на бирюзовое небо, обещаая роскошные проводы в полярную ночь. Благо солнечного света воспринимаю всеми органами чувств, даже обонянием. Впервые обратил внимание, что снег, несмотря на двадцатипятиградусный мороз, пахнет пресной влагой.

Хотя спал я мало и тревожно, но сердце бьется сильными и ровными ударами. Чувствую силу и свежесть отдохнувших мышц, а мозг работает ясно и четко; внимание охватывает все, что попадает в поле зрения. От величавых контуров Золотого хребта, печных дымов, витыми столбами ставших над крышами, до реплик Мохова и Остроущенко, хлопчущих у самолета. В общем,

я готов к ответственному старту, и даже хочется продлить это состояние боевой готовности. Теперь все зависит только от меня!

Первую посадку собираюсь сделать на зимовке геслогов в бухте Оловянной. Там переночевать и следующим броском одолеть Анадырский хребет. До Оловянной лететь два часа с небольшим, а солнечного времени более пяти часов. Потому, когда рация геологов не явилась — первый и второй сроки, я решил подождать следующего. При такой «голубой» погоде этот полет представлялся праздничной прогулкой, не вызывая каких-либо опасений.

Тем временем в аэропорту собралось человек десять местных руководителей проводить в дальний путь кандидата Чукотки. Среди них начальник комбината Бовтун, начальник политотдела А. Г. Берестецкий.

Он отозвал меня в сторону и спросил:

— Отдохнул от вчерашнего?

— Мне только тридцать, Абрам Григорьевич. В такую пору отдыхают быстро!

— Не важничай! Я тоже не старик, а порой не спит, хоть лопни. Что тебе сказал Грызлов?

— Дал совет не портить биографию.

— Знаем цену его советам. Лети спокойно, в обиду не дадим!

— Спасибо на добром слове.

Оловянная не явилась на связь и третий срок. Значит, что-то неладно. Дальнейшее бездействие теряет смысл, придется лететь наугад. Лезу на гору в рубку радистов. Баранов снял наушники, пожал плечами, недовольно буркнул: «Гухор!» Я уже знал, что так именуют дурной нрав коротких волн, когда они не проходят. Каприз привычный.

Пишу сообщение Шульцу, что 1 декабря предполагаю вылететь на базу, прошу давать Оловянной погоду и прогноз синоптика. Еще пять минут поговорил с Барановым, попросил следить за Моховым до посадки. Привычно не огорчившись, я вышел из рубки столь же осведомленным, как и до ее посещения. Но на крыльце не веря своим глазам, раскрыл рот от изумления. За короткое время какой-то волшебник сменил исполинские декорации.

Дом аэропорта, строй кунгасов и катеров плавбазы, мой самолет — все это вот-вот утонет в тумане, ко

торый накатывается из-за мыса Обсервации. Длинными тюфяками туман сваливался со спины утеса и растекался по низменности бухты. Он заглатывал пространство, как прожорливый зверь. Только на западе, в разрывах авангардных волн, проглядывались золотисто-голубые дали. За минуту, которую я простоял, осмысливая значимость происшедшего, верхняя кромка тумана закрыла мыс и стала подступать к моим ногам.

— Прошляпил, олух царя небесного! Такой день пустил!

Скатываясь с горы в туманные сумерки и оступаясь на неразличимых колдобинах, я бормочу ругательства в собственный адрес.

Бдительный Остроущенко уже ждет меня с вопросом в глазах. Оцениваю его деликатность. Кажется, сейчас все обязаны ругать меня последними словами. Чтобы взять себя в руки и не показываться начальству в конфузном виде, прохожу на взлетную полосу, обозначенную флажками. Видимость — два флажка, третий проглядывается. Это сто — сто пятьдесят метров.

— Что же делать, товарищ командир! — утешает меня Остроущенко. — В Арктике говорят, что терпение — лучшая добродетель полярника. Придется ждать, может, пройдет до вечера?!

От жалких слов знакомого афоризма разобрала еще большая досада. Молча дошел до края фарватера. Монотонный шум, скрежет, шипение приглушены туманом. Стоять рядом с быстрой, местами бурлящей водой жутковато, кажется, вот-вот оторвет льдину, на которой стоишь, и тогда ничто тебя не спасет.

Туман над фарватером висит столбами. Над водой — темными, над льдинами — белыми. Черных больше, они создают подобие некой плоскости... В напряженно работающем мозгу что-то стало высветляться:

— А что, если?..

Меня охватил тот ознобный нервный подъем, который возникает в моменты, предшествующие рискованным решениям. Обращаюсь к Остроущенко:

— А взлететь, Виктор Прокофьевич, все-таки возможно! Послушайте и как летчик скажите, чего я не учитываю.

После отрыва я окажусь над черными пятнами воды фарватера. Они обозначат часть горизонта, который я буду видеть метров до пятидесяти, а то и боль-

ше. Верхняя кромка морского тумана редко превышает двести метров — три минуты страха на пробивание, а дальше ясное небо. Полагаю, что со ста пятидесяти метров уже буду видеть светлеющую верхнюю кромку, а это тоже горизонтальная линия. Таким образом, пробивание тумана вроде бы достижимо. Не ясен вопрос, как сохранить прямолинейность разбега? А ну-ка станьте у третьего флажка.

Так и есть! Ваша фигура различается хорошо. Две черные точки впереди — это уже линия. Ну что вы скажете?

Остроущенко молча шагал рядом, опустив глаза, не выказывая ни восторга, ни поспешного осуждения. Искоса поглядываю на его серьезное лицо, и эта сдержанность мне нравится. Из тумана уже показались контуры самолета, когда мой спутник остановился лицом ко мне и сказал, как показалось, со стесненным сердцем:

— В летном деле, товарищ командир, я освоил только азбуку, а вы мне предлагаете задачку с неизвестными. Сам решить ее не могу, но изъяснов в ваших доводах не вижу. Однако вы забыли, что как начальник порта я отвечаю перед законом за условия вашего взлета. Ваше предложение кладет на меня тяжелую ответственность...

— Выдам расписку, что ответственность беру на себя!

Остроущенко коротко взглянул, помолчал и сказал

— Начинать наши отношения с расписок не хочу. Да и не поступают так настоящие полярники. Раз необходимо, будем рисковать вместе!

— Спасибо, Виктор Прокофьевич! Ставьте по человеку у каждого флажка, а я соберу своих товарищей

Не приходилось мне взлетать в таком тумане, да же не слышал, чтобы кто-то взлетал. Я не вспоминаю ни о Волковом, ни о Грызлове. Просто все вчерашнее наполнило меня волевым зарядом, как туго сдавленную пружину.

«Я должен справиться!» С этой мыслью посылаю вперед сектор газа и прижимаю его к упору. Машина трогается, бежит все быстрее. Сменяются живые «флажки», проскакивают назад, появляются другие... вот и

последний, но машина в воздухе, подо мной вода. Выдерживаю самолет до максимальной скорости над чернотой фарватера и резко перевожу в набор. На альтиметре пятьдесят метров; черноту под собой вижу, но плоскости, обозначающей горизонт, уже нет.

Вероятно, многим хотя бы раз в жизни приходилось блуждать в тумане. Идешь, стараясь сохранить взятое направление. Но почему-то попадают совсем не те приметы местности, какие запомнил. Сомневаешься, меняешь направление влево или вправо и наконец теряешь всякое представление, где находишься.

При полете в тумане, когда нет прибора искусственного горизонта, летчик проходит все эти стадии. Оказавшись в облаке или заряде тумана, летчик зажимает ручку управления и педали в положении, при котором самолет летел как надо. Проходит минута-две, и начинает казаться, что образовался разворот. Ощущение настолько реальное, что летчик не верит «Пионеру», ему кажется, что сейчас самолет свалится в штопор. Пилот «дает ногу», чтобы убрать кажущийся разворот, и вводит самолет в действительный вираж. Стрелка «Пионера» уходит в сторону, а шарик в другую. Начинаются панические попытки вернуть их на место. В учебном полете дело поправляет инструктор, а в других случаях оно нередко кончается цветами на могиле пилота.

Итак, я потерял плоскость горизонта. Держа ручку управления и педали в зажатом положении, перевожу взгляд на «Пионер». Стрелка и шарик на месте. Смотрю на них, как гипнотизер, как укротитель змей: «Держитесь, родные!» — и тут же обжигает мысль — ведь гироскоп еще не раскрутился: шарик показывает крен точно независимо от гироскопа, а стрелке еще верить нельзя. Но раз шарик в центре, то крена нет, а нет крена — нет разворота! Значит, и по одному шарiku можно удержать машину!

Я знал это из школьных уроков, а вот здесь, когда рисковал, как говорится, «собственной шкурой», истина «Нет крена — нет разворота!» стала моим собственным открытием. Я почувствовал некоторую уверенность. «Пионер» переставал быть для меня тигром, которого приходится держать за хвост.

Перегруженный летательный аппарат дрожит, карабкаясь в высоту. На крыльях осаживается иней, ско-

рость подъема падает. Самым «интересным» для меня прибором становится указатель высоты. Его стрелка непереносимо медленно ползет по шкале: 150, 180, 200 метров. Кругом молоко... 250, 280 — все то же.

Черт возьми, что это такое? Шарик ушел в сторону, стрелка наклонилась в другую. В левую щеку задувает струя. Скольжение с креном — один миг до срыва в штопор. Убрать левый крен и правую ногу! Ага, послушались, голубчики! Значит, «Пионер» уже работает. Страх отступил.

330 — кажется, вверху светлеет? Точно светлеет. 350. Ух, наконец-то! С небольшим креном самолет вываливается из мути, и я зажмуриваюсь. Вся сила солнечного света расплавилась в белизне верхней кромки тумана и режет глаза. Теперь представляю, что чувствует полководец, выигравший сражение. Поет и ликует каждая клеточка моего существа.

Становлюсь на курс и теперь могу поглядеть в зеркало. Саша поймал мой взгляд, улыбнулся, показал большой палец. За его спиной вижу бесстрастное лицо Тевлянто. Он первый раз в воздухе и, вероятно, думает, что так и положено летать.

Начинаю набирать высоту, оглядываюсь кругом и вдруг почувствовал, как потемнело в глазах, а сердце сорвалось с места в бешеном галопе. Бесконечная белая пелена закрыла землю до горизонта во все стороны. Над ней единственным островком земной тверди возвышались жуткой красоты ребра Золотого хребта. Это не морской туман, а какое-то неведомое таинство, мне на беду, совершается в атмосфере. Это типичная облачность, но только она образуется не в высоте, как обычно, а у земли и одновременно на огромном пространстве. Верхняя кромка вспухает на глазах. Окачивается, я еще не закален борьбой с неожиданностями, обессиливающее чувство потерянности завладело мной, а солнечное сияние казалось издевательским.

Саша передал записку, что Оловянная на связь не выходит, а в Анадыре и Перевальной видимости нет. Сообщение удручающее. Куда же мне деваться, если туман уже и за хребтом? Нет, такого испытания моим нервам еще не выпадало! Чем же все это кончится?

Продолжаю продвигаться курсом на Оловянную. Набрал почти три тысячи метров. Тщетно ищу малейшего потемнения в облачном покрове хоть где-нибудь.

Восстанавливаю в уме картину местности, которая сейчас закрыта от меня, но вижу лишь холмы, буераки, обрывы извилистых речушек. Среди них есть озера, но и в ясную погоду их не сразу найдешь. Машина послушна, ровное гудение мотора внушает уверенность, что не подведет, светлого времени достаточно, потому, хотя не видел выхода, не верилось, что дело кончится самым плохим. Победа над туманом в Анадыре вдохновила меня. Уже только потому, что узнал радость этой победы, я не раскаивался в вылете. Все обойдется, только не надо паниковать! Познаю неудобство сидения на шиле, а также и на горячей сковородке. Минуты тянутся бесконечно, хочется выскочить из кабины, бежать вперед, чтобы узнать, каким станет конец терзаний.

Хребет, показавшийся на горизонте темной полоской, постепенно превращается в зубчатую линию, с каждой минутой становясь рельефнее. Вот уже можно видеть расчленяющие его ущелья. Значит, они туманом не закрыты. По мере дальнейшего приближения стали различаться открытые участки льда у подножий гор. Вспоминаю и никак не могу вспомнить — торосистый там лед или гладкий? Площадь открытой части залива все увеличивалась. Теперь знаю: могу посадить машину, но еще сомневаюсь, крепкий лед или слабый, морской. Не провалится ли мой самолет, как трактор у Журавкина?

Только в последних пяти минутах полета открылась Оловянная. Сбросив газ, с ходу планирую на лед бухточки, пока ее не закрыло, чувствуя, как волнами спадает напряжение.

К месту остановки от домиков бегут люди. Но я, никого не дожидаясь, здороваясь на ходу, врываюсь в рубку радиста Миши Воронина:

— Миша! Сто чертей тебе в печенку! Я уже думал, конец...

Мой запал иссяк, когда увидел разобранный передатчик, осунувшееся лицо радиста.

— Честное слово, Михаил Николаевич, лучше бы мне быть на вашем месте. Как собака: все слышу, понимаю, а ответить не могу. Приемник работает, а в передатчике выбило сопротивление, сгорел умформер, конденсаторы... не сразу разобрался, что к чему. Вы уж извините, что так получилось. Без малого сутки сижу не разгибаясь...

— Ладно, Миша, обошлось! Завтра сможешь меня проводить?

— Точно скажу попозднее, когда опробую связь...

— Я попрошу Сашу Мохова, чтобы пришел и помог...

ЕСЛИ ПОШЕЛ — ИДИ ДО КОНЦА

Еще засветло на собачьей упряжке Тевлянто вместе с Володей Столоповым выехали в ближайший поселок — Канергино. Тамошние чукчи окажутся первыми избирателями, которые познакомятся со своим кандидатом в депутаты. Из Канергина на собачках документы будут доставлены и дальше, до бухты Провидения.

Пережитое, каким бы трудным оно ни было, обычно отступает на второй план. Мысль бьется над способом решения очередной задачи. И я, ложась спать, начисто отключился от переживаний прошедшего дня и ломал голову, на какие компромиссы с природой можно согласиться завтра. По опыту прошлых лет знал, что хорошая погода устанавливается над Чукоткой в конце февраля. С октября по северному побережью чередой идут циклоны. Прорваться между ними под голубым небом — это удача. Сопутствующим обстоятельством полета с базы было то, что я летел из ночи в день, теперь же надо возвратиться в ночь, точнее — в узкий просвет дневного просветления. При ясном небе полет не страшен, но удача потому так и называется, что не повторяется ежедневно.

Для того чтобы утонуть, не требуется океанской глубины; чтобы остановить человека, не обязательно двигать Гималаи. Анадырский хребет — это не Гималаи, нет и двух тысяч метров. Но, закрытый облаками, он станет для меня неодолимой преградой, если не буду знать погоды над базой.

Утром 1 декабря меня разбудили хлопки мотора, запускаемого Моховым. Торопливо одеваясь, ругался:

— Проспал, тетеря! В такой день проспал как суслик!

Но, выйдя на двор, увидел, что солнышко еще не взошло, над заливом высветились синие сумерки.

Успокоенно подумал: «Молодец, Саша! Свое дело знает!» Всматриваюсь в небо. Оно безоблачно, нигде

никаких признаков вчерашнего тумана. Интересно, что в горах и на севере? Иду в рубку. Воронина застал работающим «на ключе» — он протянул мне бланк радиogramмы, читаю: «Перевальная тчк Полная облачность зпт из-за темноты высота не определяется тчк Минус тридцать пять тчк Видимость один километр тчк Ардамацкий тчк».

— А база, Миша? А Ванкарем?

— Не явились, а может, не проходят. Подождем следующего срока.

В ожидании время течет томительно долго. Правда, еще и рассвет не наступил, в моем распоряжении не менее двух часов до вылета, в крайности можно прихватить и третий. Но всякая неопределенность противна человеку. Не зная, куда себя девать, направился к Мохову.

— Саша! Природа, похоже, не желает потворствовать нашим планам. Горы закрыты, с базой связи нет. Что делать будем?

Испытывая мое терпение, Мохов неторопливо завязывает тесемки чехла на прогретом моторе.

Синий столбик спирта на самолетном термометре остановился возле тридцати. Пока не увидел, вроде бы и не замечал мороза, а сейчас стало зябко. Как бы здорово было сейчас завалиться и доспать в тепле!

Наконец Саша, обойдя самолет кругом, соизволил подойти ко мне, беззаботно похлопывая рукавицами, в которые спрятал назябшие руки. Завидным свойством моего бортмеханика была способность сохранять душевное равновесие в любых условиях. Казалось, ему неведомы страх, растерянность, сомнения. Во всяком случае, ему удавалось отлично скрывать их за внешней неторопливостью. Вот и сейчас, закончив работу, оглядев ее со всех сторон, он приблизился медвежьей перевалкой сильного, уверенного в себе человека.

— А что, Михаил Николаевич, наверное, у повара чай готов? Пойдем погреемся перед дорогой!

Я готов вспылить, но Сашина мысль шла своим путем.

— Заправимся и потопаем потихонечку. Что же зря, что ли, я мотор гонял? А милостей от здешней природы ждать бесполезно!

— Как же мы полетим, Саша, когда все закрыто?

— А может, где и не закрыто. Полетим — увидим. Не сядем — вернемся обратно. Здесь день большой, а бензина хватит!

Не вдаваясь в психологические тонкости, Саша высказал здравую мысль. Именно так я и намеревался поступить, и меня восхитило, как коротко и ясно он обобщил ту практику, к которой мы прибегали чаще, чем хотелось бы. На этот раз иного решения у нас и быть не могло.

Во второй срок Воронин принял только погоду Ванкарема, который отстоял от базы на двести километров к востоку. Низкая облачность при сравнительно высокой температуре — минус восемнадцать — подсказывала, что на северном побережье господствует теплая воздушная масса, в которой образовывается туман, а западный ветер мог отойти к северо-западу, и тогда пурга. Новых сведений о погоде в районе базы можно ждать еще час, максимум два. После чего надо вылетать или откладывать полет на следующий день.

Залив Креста находится севернее Анадыря на три градуса широты, у самого Полярного круга. День здесь значительно короче, и солнышко поднимается над горизонтом на рукоять копья, но его ничто не заслоняет. На юг простирается равнина залива, а далее — гладь моря. Солнечные лучи, расстилаясь параллельно земле, в упор высветили южные склоны хребта. Верхушки пиков прикрыты облаками, а их верхняя кромка находилась в движении, то поднимаясь, то опускаясь. Как будто кто-то подсаживал с севера все новые и новые кипы облаков на плечи впереди стоящих, и они падали с них в долины залива. Но вот что удивительно: опустившись примерно на треть высоты хребта, облака исчезали, поглощаясь какой-то сверхъестественной силой.

От своего синоптика Жени Толстикова, я уже знал о законе «адиабатического нагревания». Наблюдаемая картина интриговала не таинственностью, а возможностью видеть в натуре действие этого закона природы. Вкратце он объясняет явление так: какой-то объем воздуха, заключающий в себе влагу на пределе насыщения и видимую в виде пара, опускаясь в более плотные слои, нагревается за счет сжатия. Температура и предел насыщения повышаются, а облако исчезает.

Я уже не раз убеждался, что природа о своих намерениях не предупреждает. А что, если она и здесь доведет атмосферу до насыщения скрытой влагой? Тогда небо над заливом тоже закроется сплошной облачностью, а то и туманом, как то было вчера. В этом случае, если за хребтом не окажется открытого места, возвращаться будет некуда. Такой вариант сбрасывать со счетов не следует...

В те времена все мои товарищи — полярные летчики очень часто оставались один на один со своими решениями. И от того, все ли ты учел, принимая решение, зависело «Быть или не быть?».

Столопов и Тевлянто вернулись из Канергина поздно, отняв у меня тот резервный час, на который я мог задержаться с вылетом. Досадно, но попрекать не стал, они делали то дело, ради которого летели со мной. Все еще колеблясь, вылетать или нет, в последний раз зашел в радиорубку. Ванкарем повторил те же сведения, а база так и не явилась.

Как будто он виноват в отсутствии связи с базой. Миша пожаловался:

— Несчастливый я человек, Михаил Николаевич! Вот хочу все сделать как нужно, а не получается!

— Не гневи бога, Миша! Молодой, красивый, здоровый, самостоятельно работаешь на краю света — чего же ты хочешь от судьбы? Все у тебя впереди, все будет получаться!

И от того, что рядом с ним я почувствовал себя старшим, способным утешать, в моем самочувствии произошла перемена. «Тебе слезы вытирать некому. Надо лететь, а там будет видно, что делать!»

Верхняя кромка облачности над хребтом оказалась на двух тысячах пятистах метрах и сразу же стала снижаться. Верчу головой в надежде усмотреть где-либо разрывы в облаках. Одно-единственное облако непроницаемой пеленой закрыло окружающее пространство до предела видимости.

Итак, версия о посадке на Амгуэме отпала. Нацарапал записку:

«Саша! Добивайся связи с базой или Ванкаремом. Вперед буду идти минут сорок».

Медленно и тяжело падают минуты. Надо ждать. Ждать — может, откликнется база или изменится обстановка через сто — сто пятьдесят километров...

Саша ответил тоже запиской: «Все время зову ба-зу!» — и больше не показывается. Наверное, как и Ми-ша Воронин, считает себя виновником отсутствия связи.

Лицо Тевлянто вижу через зеркало — сидит с за-крытыми глазами. Видно, прошедшую ночь поспать ему не пришлось.

Ему тридцать один год. С девяти лет в верховьях реки Белой он батрачил у богатых оленеводов. С пят-надцати лет стал каюром и переводчиком у первых рев-комовцев. Двадцати одного года ревком направил его учиться в Институт народов Севера в Ленинграде. Я наизусть знал письмо, которым снабдили Тевлянто предусмотрительные ревкомовцы:

«Податель сего, чукча Тевлянто, командирруется для получения образования, чтобы, вернувшись на родину, мог поделиться полученными знаниями со своими со-родичами. Кому доведется прочесть это письмо, глубо-кая просьба — окажите Тевлянто возможное содей-ствие в нужде. Своими заботами о судьбе этого граж-данина вы поможете сделать первые шаги в деле про-свещения кочующих туземцев нашего Крайнего Севе-ра, не имеющих к концу X годовщины Октябрьской ре-волюции ни одного грамотного человека. Анадырский ревком, заботясь о судьбе Тевлянто, просит всех лиц, к кому он обратится с настоящим письмом, рас-спросить о его желаниях и телеграфировать при надоб-ности по адресу: Анадырь, указывая, куда отвечать и кому».

Так Тевлянто стал первым образованным чукчей, и не случайно в 1934 году его выбрали председателем Чукотского окрисполкома, а теперь вот выдвинули и кандидатом в депутаты.

Мое знакомство с ним произошло при обстоятель-ствах, требующих пространного объяснения.

Весной 1936 года мне довелось участвовать в спа-сении с дрейфующих льдин около Уэлена шестнадцати эскимосов. На собрании эскимосского поселка Наукан по поводу благополучного возвращения охотников я вы-ступил с призывом вступать в члены Чукотского аэро-клуба: чтобы купить самолет и учить летать самих эскимосов и чукчей. К моему изумлению, учительница Леночка Ольшевская после собрания собрала наличны-ми деньгами тысячу рублей с желающих стать члена-

ми аэроклуба *. Когда я привез эти деньги Столопову, он собрал бюро окружка комсомола и попросил сделать доклад как о спасении охотников, так и о аэроклубе.

Собственно, это в повестке заседания было записано «доклад», на самом деле то была пропагандистская беседа, что такое аэроклуб и для чего он нужен. Присутствовало человек двенадцать ребят, из которых я знал только Столопова. Незнакомый чукча задал мне вопрос:

— А ты веришь, что чукчу можно научить управлять самолетом?

— Управлять самолетом намного легче, чем такой страной, как Чукотка, а ваш Тевлянто справляется.

Почему-то все засмеялись, а парень продолжает:

— Почему думаешь, что справляется?

— Потому, что уважают его не только чукотские, но и русские люди.

— Ну спасибо тебе.

— За что спасибо?

— Потому, что я Тевлянто и есть!

С того дня иначе как по имени Тевлянто меня не звал, даже на официальных заседаниях. Он сам вступил в члены аэроклуба, провел постановление, что окрисполком вступает юридическим членом, и приказал управляющему банком открыть счет. И вообще принял самое активное участие в этом деле.

Летная работа не давала мне возможности засиживаться в Анадыре, и я редко видел Тевлянто в качестве руководителя, но помнится эпизод, по которому я мог сделать заключение о его деловых качествах.

Осенью 1936 года в Анадырь прибыла гидрографическая экспедиция, чтобы произвести описание реки Анадырь и ее «обстановку» для местного судоходства. В ноябре в паре с летчиком Сургучевым на двух Р-5 я прилетел с северной нашей базы. Там начиналась полярная ночь, а здесь требовалось «уплатить долги» округу и поработать на его нужды в зимний период. Главными конкурентами на наши услуги были торговая контора и вот эта экспедиция.

На заседании окрисполкома при утверждении плана полетов Тевлянто сказал представителю торговой конторы Капустину:

* Этот эпизод описан в моей книге «В небе Чукотки».

— Когда не было самолетов, ты справлялся с доставкой товаров? Справишься и сейчас! Весь собачий транспорт у тебя, а эти люди здесь новые, собак у них нет, кто им поможет? Да и работа их важная для нас на долгие годы...

И это было решение государственно мыслящего человека.

...Невыносимо медленно, тоскливо течет время. За два дня возобновилась привычка к дневному свету. Здесь же господствует вечерняя сумеречность. По мере снижения самолета эта уплотненность света увеличивается, рождая ощущение не то чтобы страха, но одиночества, которое не с кем разделить.

Не сообразив развернуть самолет, вывернувшись в кабине, посмотрел назад. Моим глазам представилась лиловая с теневой стороны облачная гора, заслонившая собой полнеба. С ее вершины высотой в две с половиной тысячи метров мой самолет скатился уже до восьмисот, и небо отсюда видится не голубым, а каким-то желтым, цвета голландского сыра — подумалось мне. Энергичное снижение облачности таит в себе надежду. Заманивает! Не ловушка ли?

Вот приблизился знакомый профиль скал на траверзе Иультинской сопки. Без связи с базой лететь дальше не имею права. Высота четыреста, а за «скалами» кромка облака еще более энергично пошла книзу. Прохожу заданную себе точку разворота. Нервная дрожь холодит спину. Сейчас именно тот момент, когда, продолжая полет, я совершаю либо гибельную ошибку, либо крупно выигрываю.

Большую роль для моей ориентировки играла температура воздушной массы. Я знал, что в Ванкареме по сводке было минус восемнадцать. Над кромкой вблизи побережья должно быть еще меньше, примерно минус двадцать три. Это позволяло думать, что начался процесс похолодания, подходила другая воздушная масса, в которой облачный пар за счет выхолаживания превращался в твердые частицы — изморозь и выпадал, а облако рассеивалось.

Итак, решение принято. Самолет, снижаясь, стрижет верхнюю кромку облака, а я всматриваюсь, не увижу ли землю или торосы в случайный просвет. Высота кромки достигла двухсот метров, и теперь ясно, что это уже не облачность, а приземный туман. Но просве-

тов нет. По расчету времени поворачиваю на запад в сторону базы. Минут через двадцать я должен увидеть скалу мыса Вебер. Тогда и выяснится, счастливчик я или авантюрист.

Стало заметно темнее. Глаза слезятся от напряжения, с каким вглядываюсь в горизонт. Достаточных оснований нет, но зернышко надежды в моей душе пустило корни и растет... А время опять замедлило свой бег. Решающие минуты тянутся долго. Наконец на горизонте что-то обозначилось. Стало горячо, как говорится в детской игре. Еще пять минут, и определилось — это не оптический обман, а возвышающийся над туманом мыс в шести километрах за базой. Стало легче дышать....

Пройдя над вершиной скалы и развернувшись в сторону базы, увидел, как и надеялся, размытые контуры ангара и нашего дома. После вчерашнего взлета в Анадыре предстоящая посадка не страшила. Теперь я не спешу. Через пятнадцать минут один за одним стали загораться костры на посадочной полосе. Даже самому не верится, что с этой полосы я вылетел всего три дня назад!

Саша передал записку, но из-за темноты прочитать ее невозможно. По жестикующии понял, что имеет связь с поляркой — подумал беззлобно: «Где же вы были раньше!»

Сейчас моя задача попасть на полосу между костров.

Надо обладать особого рода памятью и пространственно-объемным воображением, чтобы умозрительно соединить две точки, закрытые туманом, и от одной из них без промаха выйти на другую. Чуда в этом нет, такая способность вырабатывается у летчиков практикой. Пролетев вдоль линии костров в сторону мыса, над базой я пустил секундомер и остановил его над точкой скалы, от которой стану планировать на костры. Совершив разворот и поставив машину на обратный курс, над замеченной точкой вновь пустил секундомер. Иду, прижимаясь к кромке тумана. Она уже на высоте чуть больше ста метров. Когда секундомер показал нужные мне две минуты и восемь секунд, я прибрав газ и погрузился в туман. Зафиксировал ручку управления, держу в центре шарик и стрелку «Пионера». Теперь это мне дается без прежнего напряжения. Пятьдесят

метров — ничего не вижу. Тридцать метров — справа проходит силуэт дома. Успеваю заметить людей, бегущих к ангару. Впереди желтеет, увеличивается, становится ярче оранжевое пятно, нет, уже два. Попадаю на полосу точно у вторых костров, чувствую, что уже не лечу. Удивляюсь мягкости посадки. Такая не всегда удается и днем.

Ну вот и все! Стоим. Саша, утратив свою флегматичность, как кошка выпрыгивает из кабины и берется за крыло. Разворачиваемся и рулим к ангару, ориентируясь по кострам. В тумане совсем темно. Вот кто-то подбегает и хватается за другое крыло — Дендерюк!

МОМЕНТ ПОКОЯ СРЕДИ ТРЕВОГ

Я не знал названия чувству, охватившему меня. Это была нежность лично к Дендерюку и какое-то общее успокоение, тот сдвиг в психологии, когда не только умом осознаешь, что опасность миновала. Пройдя испытания войны, мы теперь знаем, что с подобным чувством возвращались из-за линии фронта разведчики и окруженцы. Пережив смертельные опасности, многих потеряв, теряя надежду самим остаться в живых, увидев первого «своего», они обнимали и целовали его как самого родного человека.

Та пружина, которую сжали во мне анадырцы, распрямилась, ее напряжение пришло к нулю, и я ощутил, что счастлив, что в моменты закончившихся свершений — весь смысл жизни, великая ее награда за потраченные усилия...

Опускаю многое, о чем читатель догадается, представив возвращение человека из трудной экспедиции под родной кров, в среду близких и единомышленников. Не могу не сказать о сюрпризе, которым приятно удивили товарищи. Когда я переступил порог дома, он осветился электрическим светом. Оказалось, не случайно Катюхов задерживал меня расспросами у самолета. Никто не ожидал моего быстрого возвращения, и электрификацию пришлось заканчивать в спешном порядке. Получив подтверждение о готовности, Катюхов во главе встречающих повел меня к дому. Там ждали и остальные, чтобы посмотреть на мое удивленное лицо.

Потом был парадный ужин с застольными речами, с пельменями и котлетами из свежей оленины. На столе стояло все лучшее, что нашлось в кладовке.

Когда я встал, чтобы сказать вступительное слово, и воцарилась тишина от сияния глаз, облучавших меня, в горле стал комок.

Поддавив волнение, сказал, что мы очень привыкли к будням и очень отвыкли от праздников. Сегодня у нас праздник, мы заслужили его сплоченностью в трудные времена, и я горжусь честью быть их командиром... Невольно вспомнилось 14 сентября, когда провожал на материк ветеранов, когда я стоял в одиночестве за ба-ней, провожая их взглядом и боясь разрыдаться. Мне было страшно оставаться без них, а действительность оказалась еще страшнее. Я не мог забыть Тымнеро, каким видел его последний раз.

В конце вечера ко мне подошел Журавкин. В его взгляде было страдание, когда он сказал: «Товарищ командир!..» И лишь горестно махнул рукой и отошел сгорбившись. Но я понял, что он хотел и не мог сказать. Понял, что с этого дня на Журавкина можно положиться.

Подходил ко мне и Гриша Бубенцов. Криво улыбаясь, с мокрыми глазами, он счел себя обязанным сказать, что был скотиной, но что теперь будет человеком. Только Мигунов не опустился до покаянных объяснений и держался в тени. Стало ясно, что трудные времена позади, что теперь ничто не сломит коллектив. Я чувствовал себя счастливым.

Тевлянто я представил отряду как кандидата в депутаты, за которого они будут голосовать. В кратком пересказе его речь выразила такие мысли:

— Спасибо тебе, Миша Каминский, и тебе, Саша Мохов! Спасибо вам всем, авиационные люди, за то, что вы помогаете моему народу.

И еще запомнилось выступление нашего парторга Маслова. Конечно же, он примчался на своей упряжке, как только услышал звук мотора. У самолета расцеловал меня и Мохова, радуясь нашему возвращению больше нас самих. Выслушав Тевлянто, напряженный и страстный, он сказал слова, от которых защипало глаза не только у меня:

— ...Лет сорок назад на соседнюю Аляску пришли американские люди. Так же, как и вы, они пришли

из теплых краев и испытали все, что достается людям на Крайнем Севере. Эти люди пришли добывать золото, у них не было другой цели для мужества, кроме личного обогащения. Перед вами выступил человек, выросший на этой земле. В царские времена всех людей таких вот отсталых северных народов называли одним словом — самоеды. Вдумайтесь, сколько великодержавного презрения в этом слове! А теперь за недолгие годы Советской власти эти «самоеды» уже вырастают в государственных деятелей. Такое чудо стало возможным потому, что вы дети великой революции, вы принесли ее идеи в эту страну, и они питают ваше мужество и смелость...

«Вот что значит быть партийным работником!» — думал я, слушая Маслова. Казалось, я уже хорошо его знал и все-таки вновь удивился способности в каждом событии рассмотреть его сущность и показать его людям, сказать, что это они его творцы...



Глава третья

ПОД НЕБОМ
БЕЗ СОЛНЦА

НЕ ПЕРЕВОДА ДЫХАНИЯ

Я шел по пыльной дороге между ржаным полем и опушкой леса. Во ржи цвели васильки, а в лесу куковала кукушка. Я считал ее «ку-ку», и выходило, что жить мне предстояло долго. От избытка сил я припустился бегом. Волнами чередовались запахи нагретого июльским солнцем цветущего ржаного поля и лесной свежести. Беззаботность и ощущение беспричинного счастья переполняли меня озорными желаниями... но вдруг все переменялось. Грозовые тучи закрыли солнце. Брызнули первые капли дождя. К аромату трав примешался запах пыли, взбитой дождем. Я укрылся под огромной липой, своей кроной перекрывшей дорогу... В воздухе потемнело, ударил грозовой раскат, и слепящая молния вонзилась где-то рядом. На меня посыпались мокрые листья, и... я проснулся.

Открыв глаза, увидел лукавую мордочку сына. Он

щекотал мне лицо и шею уголком шерстяного одеяла и озабоченно лепетал:

— Папа! Ты заспался. Дядя Саша уже мотол гоняет. Слышишь?

Внешняя стена комнаты вибрировала от надсадного моторного рева. Картина поля под июльской грозой была такой осязаемой, что реальность представилась дурным сном. Рывком поднявшись, я сел и ошалело воззрился на Сережу. Округлив глаза, он испуганно отшатнулся. Поверх шапки и меховой шубки до рта обвязанный шарфиком, своей ощутимостью мальчик возвращал меня к суровой действительности. Притянув его к себе, сказал:

— И правда заспался, сынок! А мне такой чудный сон приснился. Поле, лес, гроза! Помнишь, мы были с тобой в лесу, когда ты был маленьким?

— Лес — это дельевья, да? Я вспомнил, когда мама показала калтинку, только плохо вспомнил.

— А мама где?

— Мама помогает девочатам убилаться и послала тебя лазбудить. А мне надо идти. Дядя Жола будет плобовать свой самолет и покатает нас с Галкой. Пли-смотли тут за Женькой, а я побегу, а то опоздаю, чего доблого!

Уклонившись от отцовских ласк, мой деловитый сын удалился. Проскрипела лестница на первый этаж, а закрывшаяся выходная дверь удостоверила, что он вышел во двор. Мне и в голову не приходило, что мальчик заблудится в темноте, обморозится или может произойти с ним другая напасть.

Четырехлетний Сережка всегда в курсе всех дел, какими живет отряд. Со смешной серьезностью он повторяет слова взрослых: «гоняет», «девчата», «чего доброго». Я не помню случая, чтобы он проспал общий завтрак. Вместе с механиками уходил к ангару «на лаботу» — вывертывать из списанного в утиль У-2 приборы и детали, какие занимали его воображение. И сейчас ушел с сумкой ст противогаза через плечо. В ней «инструмент» — два ходовых ключа, отвертка и плоскогубцы. К обеду придет, сгибаясь под тяжестью добычи, и выложит ее в отведенный для этого угол.

За смышленость и трудолюбивую приверженность к технике его любили мотористы и механики. Особое покровительство ему оказывал «дядя Андлей». У Ден-

дерюка хватало терпения целые вечера тратить на восхищение трофеями и руководство в их разборке на составные части. Попутно он отвечал на десятки «почему?», касающихся их назначения и действия.

Оглядываю комнату, соображаю, что в ней нового. Ага, электричество! На столе самодельная треножка из толстой проволоки, в нее заделан патрон с лампочкой. В непривычно ярком свете ее сорока свечей как бы заново вижу комнату, привечавшую меня вторую зиму. За неимением обоев стены обтянуты цветастым ситцем, что увеличивает ее глубину, придает нарядность. В трех шагах от кровати печь с малюсенькой плитой. За печью уютный и теплый уголок для топчана, на котором спит Сережа. К торцу печи внутри комнаты прислонилась самодельная люлька-качалка. Ее абонирует трехмесячная особа, за которой я должен «присмотреть». Одеваясь, заглянул в колыбельку. На курносой рожице еще невозможно заметить фамильного сходства, но я с трудом подавил желание взять на руки и побаюкать это существо. У него еще нет воспоминаний о лесах и травах...

Восемь утра. Я проспал лишний час и заторопился выяснить, что день грядущий мне готовит. За дверью дома меня обступила морозная темнота. Почувствовал, будто под одежду лезут настывшие ножи, и поежился. Зажег спичку. О-го! На самолетном термометре, укрепленном у двери, минус двадцать девять. От понижения температуры вчерашний туман рассеялся, выпав инеем.

Над темной землей раскинулось огромное небо, густо обсыпанное звездами. Крупные кажутся близкими, мохнатыми, дрожащими. Звездная пыль, сгущенная в поясе Млечного Пути, до самого горизонта видится сплошным светлым туманом.

Жутковатую беспредельность звездной пустыни оживляли земные звуки... В сухом морозном воздухе они слышатся рельефно, отчетливо отделяясь друг от друга. Неподалеку стрекочет движок Л-6, «производя» свет для дома и еще для четырех лампочек в мастерской и около ангара. Где-то звякнул металл по металлу, шумит паяльная лампа, слышится голос Мохова, ворчливо выговаривающего кому-то за упущение. Издалека доносится повизгивание собак и возгласы каюра: «поть-поть» и «хрр-хррр!». Вероятно, наш рабочий Синерин везет с берега уголь. Возле утопленного трак-

тора мелькает свет «летучей мыши», слышится жестяное скрежетание топора по льду, изредка задевающего за железо.

— Осторожнее, осторожнее! — это голос Катюхова. — Не пробей, ради бога! Хватит, достаточно. Теперь вымети начисто и оставь до завтра.

Из канавы у трактора вылезает человек и направляется в мою сторону. Звуки нарисовали мне картину делового благополучия на базе, и мысли развернулись к тому, что предстояло сегодня.

С вечера мы с Катюховым условились ни в коем случае не упустить погоду, если оправдается прогноз Толстикова. Мой заместитель дал мне возможность выпастся, а сам организовал энергичную подготовку к летному дню. В паре с Бубенцовым на двух У-2 он вылетит в Ванкарем, Уэлен и культбазу в заливе Лаврентия. Я же полечу на своем Р-5 в Чаунский район, с посадками у мыса Биллингса и в Певеке. Им предстояло лететь на юго-восток, а мне на северо-запад.

Подойдя и узнав меня, Катюхов доложил:

— Улетаем неизвестно насколько, проверил, как идет дело у Журавкина. Сегодня он углубил канаву еще на восемь-десять сантиметров. Если не запуржит, через недельку, бог даст, трактор вызволим!

— Как держится Журавкин?

— Старается. Плохого не скажу.

— А Мигунов?

— Тише воды — ниже травы! Даже улыбаться начал:

— Все же я бы не оставил его за старшего. Как думаете?

— Ни в коем случае! Только Соколова.

Мы замолчали, прислушиваясь к новым нотам в визге собак за лагуной. К нам ехала вторая упряжка. Вероятно, Маслов вез из поселка Тевлянто и Столопова. Механически воспринимая эту звуковую информацию, я осмысливал поступок Катюхова. Подумал о его напарнике.

Я боялся за благополучие Катюхова. Полярные сумерки, мороз, безлюдье — все это не шутки. Если у Бубенцова где-то «заболит живот» — Катюхов выполнит задачу один. А один У-2 не автономен, как Р-5. Он не может поднять всего, что нужно на вынужденной. И случись такая неприятность, она может стать

бедой — пропадет Катюхов. Соколов — опытейший механик и волевой человек. Его не проведешь барахлением мотора. Он помог бы Георгию Ивановичу справиться с безвольным напарником, но Катюхов прежде всего подумал не о себе, а об интересах базы. Невольно явилась мысль, что патриотизм проявляется в поступках. Беспартийный летчик Катюхов поступает, как должен поступить коммунист...

От него, как и от Мохова, Дендерюка, Соколова, Кислицына, излучалось что-то такое, без чего нельзя жить в Арктике. Какая-то надежность, братская ненавязчивая заботливость друг о друге и общем нашем деле. Хотелось продлить минуты перед расставанием — поговорить с ним еще.

Вспомнив, что не завтракал, пригласил его в кают-компанию.

— Уж нет, Михаил Николаевич! Сначала я посмотрю, что делается у самолетов, потом подойду.

Глядя на удаляющийся силуэт, подумал, что из таких, как Катюхов, сформировался еще малознакомый авиации тип летчика-землепроходца.

Три года живя в Заполярье оседло, Катюхов испытал всяческое лихо и набрался опыта. Он уже и одет как чукча. Нет, не пропадет он за здорово живешь — даже с Бубенцовым. Так успокоив себя, я пошел завтракать.

НЕ ОДНИ СТОЛИЦЫ НА СВЕТЕ

В том же составе экипажа в неясных сумерках мой Р-5 готов к взлету.

Маршрут Катюхова и Бубенцова склоняется к югу, где светлого времени больше, они могут вылететь позднее. Расставание с базой прозаически деловито, торопливые поцелуи Тане и детям, короткие рукопожатия провожающим.

Но вот земля осталась внизу. Лечу по большому кругу, вслушиваясь в работу мотора, всматриваясь в окружающее.

Мохов дает знать, что установил связь с радистами полярки — можно уходить. Покачиваю с крыла на крыло и становлюсь курсом на северо-запад. Представляю, как уменьшается силуэт моего самолета и раство-

руется в пространстве. От этого всегда грустно тем, кто остается на земле...

Слева, на фоне просветленного неба, южный горизонт обозначен зубчатой линией гор. Над ним еще не появились солнечные краски, а все, что ниже линии зубцов, затушевано сизой морозной мглой. Белесое в зените небо к норду переходит в густую синеву. Справа извилистые рубцы торосов паутинной тонкости штрихами покрыли белизну ледяного покрова Чукотского моря. Куда ни глянь, преобладают бескрасочные, серые тона.

Жизнь на Чукотке убедила, что самым дорогим является горький опыт — опыт неудач. Мои дневники полны записей, из которых я вновь извлекаю то, что теперь уже осталось в далеком прошлом.

«2 декабря. База Биллингс — 1 час 55 мин. Физическое или моральное одиночество в темном, замороженном мире, каким является Арктика, перенапрягает психику человека. Не случайно большинство трагических историй приходится на период полярной ночи. Я считал себя застрахованным от подобных переживаний, и сегодняшнее настроение, вероятно, от усталости последних дней. Чувство долга поднимает и заставляет идти «через не хочу», а психика реагирует независимо от сознания...»

Над Биллингсом оказались в местный полдень. За полтора часа полета небо преобразилось. На юге оно полыхало всеми оттенками красного и желтого, в зените было нежно-салатным, а на севере плотно-синим. Между торосами моря и лагунами, за которыми начинались холмистые предгорья, сгрудилось шестнадцать яранг. Поблизости от них — приземистое здание фактории, неведомо когда построенное из плавника, а в отдалении — нарядный домик полярной станции.

Площадка против домика полярной станции, как каменистое речное дно, рябая от застругов. Отражая цвет неба, они с одной стороны розовые, с другой — синие.

Заструги антипатичны мне даже в розовом свете. Надо бы посадку сделать на лагуне, где можно выбрать ровное местечко, но это более километра от дома. Пока донесешь горячую воду, она остынет. Хочешь не хочешь, а придется здесь испытывать лыжи на прочность.

При посадке меня подбрасывало так, что стучали зубы, но как собственную боль я ощущал то, что доставалось бедной моей машине. Кто не видел, может не поверить, что такая нежная материя, как снег, может приобрести прочность камня. Когда остановились, я побоялся рулить. На таких посадках у Николая Быкова дважды ломалась высокопородистая сталь узлов центроплана. Но мне везет — повреждений не обнаружили. Однако в другой раз на такое место я уже не сяду, везение не может быть бесконечным...

Тевлянто и Столопов по обыкновению хотели сразу уйти к чукчам. Попросил задержаться и помочь разбить заструги для завтрашнего взлета. Через час они ушли, а мы с Сашей до полной темноты делали якорную стоянку. Ветер еле заметный, но при минус тридцати двух обжигает как огнем. В теплой меховой одежде мы быстро пропотели, а руки, как только снимешь рукавицу, моментально колючеют. Поминутно мы оттирали друг другу белеющие щеки.

На полярке новая смена. От старой только механик Дима Грибоедов. Умен, сообразителен, а главное — надежный товарищ в трудном деле.

Воспользуюсь случаем дать представление о зимовке тридцатых годов. Полярная станция у мыса Биллингса для того времени типичная. Она построена летом 1936 года на берегу Восточно-Сибирского моря, у семидесятого градуса широты для наблюдения за погодой и льдами моря. Цепочка таких станций по всему побережью Ледовитого океана и создавала ту «нить Ариадны», которая помогала морякам и летчикам ориентироваться в мире ледяного безмолвия тех лет.

Основатели — гидрометеорологи Б. В. Карышев и И. В. Каталов, радист А. П. Владимиров, механик Д. С. Грибоедов перевезли с собой домик из соснового бруса площадью около пятидесяти метров.

За несколько дней разгрузки парохода бригада строителей успела подвести стены под крышу и сложить печь. Остальное новоселам предстояло доделывать самим. Троицким было по тридцать, а Борису Карышеву лишь двадцать шесть лет.

Как-то в конце сентября 1936 года после трудной ледовой разведки мне пришлось у них заночевать, и я увидел зимовку через два месяца после основания,

оборудования метеоплощадки, гидрологического пункта и радиостанции. Ледовая обстановка оказалась трудной, навигация затянулась. Радист, не снимая наушников, сидел по десять-двенадцать часов. Механик ежедневно запускал движок для радиста и монтировал аккумуляторную батарею. Также ежедневно один из метеорологов давал капитанам и летчикам погоду. Время для своего благоустройства вырывали кусочками, хотя здравый смысл требовал заняться бытом: вот-вот зажмет зима и непогода, а в неустроенном жилище придется терпеть особо тяжкие лишения. Дом был почти в таком же состоянии, в каком его оставили строители. Внутри и снаружи груды полуразобранных ящиков с имуществом. Уголь и бензин еще оставались на прибойной полосе.

И подумалось: какая же это сила — оптимизм молодости! Ребята живут, не тратясь на слезу и жалобы.

Городские жители, ранее они не ведали забот о воде и хлебе. На зимовке каждому пришлось постигать искусство пекаря и сообща решать проблему воды. В вечной мерзлоте колодца не выроешь, реки нет, а в лагуне вода соленая. Тундровый ручей далеко, и вода в нем рыжая, торфяная, такого вкуса, к которому не скоро привыкнешь. Но другой нет, и носить ее надо ведрами за километр. В таких условиях не размоешься.

Редкий мужчина на материке сам готовил себе обед. Здесь это стало необходимостью, как правило, постылой. Свежих продуктов нет, одни консервы, а сотворить вкусный обед из сухих овощей и консервов надо уметь. Мне известны случаи, когда среди зимовщиков возникала ненависть, главным образом из-за «гнусного», как они объясняли, приготовления пищи.

Специфика полярной зимовки на этом не кончается.

Улетая от Карышева, я знал, что ребятам предстоит за 800 метров перетаскать пятнадцать тонн угля и перекатать тридцать бочек нашего и шесть своего бензина и масла.

Летом 1937 года мне пришлось дважды бывать на зимовке Карышева. Я заметил, как устали ребята. Но крепились, готовили свое хозяйство к сдаче новой смены. Не заметил я признаков неприязни, какая могла образоваться за год жизни в тесном кругу.

В доме уже завелся порядок. Появились перегородки, разделившие площадь на четыре комнаты: три

восьмиметровые и одну около двадцати метров. Маленькие служили радиорубкой, метеокабинетом, механической мастерской и одновременно спальнями. Большая — кают-компанией и камбузом, так как почти посредине стояла печь-плита, поставленные друг на друга ящики исполняли роль буфета. В углу, еще на одном ящике, — патефон. Внутренний комфорт завершал дощатый стол на козлах и две скамейки.

Карышев сказал, что за год у них переночевало шестьдесят человек проезжих — летчики, геологи, врачи и советские работники. Я уже по себе знал, что в таких случаях на ночь стол и скамейки выносились на улицу, на пол настилались оленьи шкуры. Гости спали в верхней одежде и даже в шапках, если им казалось холодно.

Если посмотреть на все сказанное сегодняшними глазами, оценить, чего стоит человеку оторванность от близких и вообще от мира на целый год, то не позавидуешь. А если вместе с тобой попадет какой-нибудь «псих» или просто человек с дурным характером?

Первый год (1935/36-й) после постройки нашей базы мы тоже спали в доме, не раздеваясь от бани до бани. Потому я считал нормальным «в гостях» спать на полу в уличной одежде.

Меня не тошнило от хлеба, который пек механик Грибоедов, и от супа из сухих овощей, который он мог приготовить. Ознакомившись с комфортом американской зимовки, позавидовав их благополучию, я удивился не комфорту, какой могла предоставить богатая Америка своей единственной зимовке, а патриотизму соотечественников. На десятках зимовок, в малодоступных местах они, смеясь, отдавали свою молодость неуютной жизни в Арктике. Вопреки великим трудностям трагические ситуации оказывались редким явлением.

...Кто-то деликатно, но настойчиво тряс меня за плечо. На фоне слабого света, исходившего из радиорубки, я увидел склонившуюся надо мной фигуру. Голосом Димы Грибоедова фигура сказала:

— Михник, — так он меня звал, — природа проявила необычное усердие — сохранила безоблачную погоду. На Шелагском ясно и тихо. Певек не явился. Будешь досыпать или как?

Несколько мгновений соображал, где я, что говорит Дима. Безумно хотелось спать. Но мысль уже заботала, вытесняя сонную одурь.

— Будем вылетать, Дим. Зажигай свет — буди всех!

В тридцатые годы почти все отечественные самолеты имели моторы водяного охлаждения. Таким был мотор и на моем Р-5. О незамерзающей жидкости мы понятия не имели, и зимой перед полетом приходилось заливать горячую воду и масло.

Для их приготовления в военной авиации изобрели утепленную бочку на полозьях с печкой внутри, с отделением для воды и масла. На Чукотке имелись две такие водомаслогрейки — в Анадыре и на базе. В других пунктах обходились «домашними средствами».

За пять часов до вылета экипаж и все зимовщики на ногах; Тевлянто и Столопов из не загрязненного сабаками заструга вырубали куски снега и заполняли им ведра и корыто, стоящие на плите. Когда снег превращался в кипяток, его сливали в чистую бочку, покрытую брезентом и оленьей шкурой. Так в три приема, из-за нехватки посуды, изготавливались нужные двенадцать ведер кипятка.

Тем временем мы с Моховым и Грибоедовым готовили мотор и самолет. Моторный чехол, для удержания тепла подбитый ватой, имел брезентовую юбку до земли. В юбке ставился трехрожковый примус, тепло от которого поднималось в недра мотора. Чтобы примус не погас или не загорелся бы от него брезент, одному надо было находиться в юбке. В ней тепло, но тесно и угарно. Пролежать на корточках более пятнадцати минут невозможно, приходилось меняться. Пока один дежурил у примуса, двое разжигали костер из промасленной ветоши под бочкой с маслом, а потом принимались за самолет.

Снимался и вытряхивался кабинный чехол, отвязывались якоря, одежной щеткой очищалось крыло от осевшего за ночь инея.

Температура в ту ночь удержалась на минус тридцати двух. Мотор, масло и вода нагрелись за три часа. Вначале заправляем масляный бак. Из закопченной бочки по одному наливаем шесть ведер масла, и Дима Грибоедов подает их сидящему на моторе Мохову. После заправки масла Столопов, Тевлянто и метеоролог

Керлуша Пайч в шести ведрах подносят горячую воду. Мохов заливает ее в систему, принимая ведра из рук Грибоедова, стоящего внизу. Я стою под мотором и понемногу сливаю остывшую воду через краник радиатора, чтобы не прихватило крыльчатку водяной помпы. Но вот система заполнена. Ждем пять минут, пока мотор примет тепло воды, тогда сливаем два ведра остывшей и дополняем систему остатками кипятка.

Мотор прогрет, заправлен водой и маслом, его можно запускать. Но прежде чем снять чехол, надо запустить движок бортового компрессора. Заблаговременно Мохов прогрел его паяльной лампой и накрыл оленьей шкурой. Теперь он должен вырабатывать сжатый воздух на запуск. Как правило, этот движок, прежде чем запуститься, подергает наши нервы. Но вот он заработал, и кажется, все подготовлено окончательно. Я лезу в пилотскую кабину, включаю бензиновый кран, а Саша с Димой провертывают винт (пропеллер) для засасывания горючей смеси. После этого снимается моторный чехол, и по команде Мохова «Контакт!» я включаю зажигание, пускаю сжатый воздух от компрессора и кручу ручное магнето для усиления искры на свечах.

Обычно мотор, приготовленный по такой технологии, запускается с первой попытки, но каждый раз я с трепетом переживаю минуту, когда он чихает, плюется черным дымом, пока не «заберет». Теперь надо смотреть на приборы давления масла и температуры воды. Если стрелка масляного манометра не тронется с места за тридцать секунд, я обязан выключить мотор. Отказ масляной помпы произошел в отряде за все время единственный раз, в двух случаях отказывал манометр, но ожидать эту неприятность приходится при каждом запуске.

Манометр, слава богу, работает. Теперь все внимание температуре воды. Если крыльчатку водопомпы все же «прихватило», то циркуляции не будет и температура воды поднимется очень быстро. Тогда не зевай, немедленно выключай мотор и сливай воду, иначе она замерзнет в радиаторе. Вылететь удастся не раньше следующего дня. Надо снять водяную помпу и заменить шпонку. Такое случилось однажды, но ожидать приходится тоже каждый раз.

Через три минуты выясняется, что все работает как надо. Теперь следует набраться терпения и прогреть

мотор на малом газу, пока температура масла не поднимется до сорока градусов, после чего можно дать полный газ, убедиться в исправности всех приборов и мощности двигателя. Сидеть в кабине, обдуваемой морозной струей, напряженно всматриваться в смутно различаемые приборы мутрно, но необходимо...

Наконец все осмотрено и опробовано, самолет полностью готов к полету. Мотор накрывается чехлом, и все участники идут завтракать. Получена последняя сводка погоды, рассветает, можно стартовать...

Такова проза, на которой базировалась романтика полета в Арктике в те времена. Больше у меня не будет случая говорить о ней.

Прошу читателя помнить, что это повторялось каждый летный день. Следует добавить, что приготовление кипятка наполняло домик полярников парным туманом, от которого все отсыреет на неделю, а сами они после нашего отлета будут радоваться, что летчики посещают их не каждый день.

ГРОЗЕН ТВОЙ ЛИК, АРКТИКА!

«3 декабря. Биллингс — Певек. 1 час 55 минут. Наверное, есть профессии красивее, но вряд ли есть сложнее моей. Она каждый день экзаменует задачками, непохожими на вчерашние. Малейшая оплошность становится опасностью...»

Певек на связь не вышел. Дорожа каждым часом ясной погоды, я вылетел, когда рассвет на мысе Биллингса еще боролся с ночной тьмой.

Полет начался при едва серевшем небе и трудно различимом горизонте. Только на подлете к губе Нольде, минут через сорок, развиднелось как следует, а небо на юге начало розоветь. Но маршрут пошел вдоль отвесной стены гор, заслонивших румянец зимнего утра. Участок пути омерзительный. Бровка берега узка, как лезвие ножа, а прилегающее море так переторошено, будто черти здесь плясали. На высоте тысячи метров, словно в темном коридоре, хочется держаться рукой за стену. Слева — угрюмые провалы ущелий, справа — сизая мгла, переходящая в тусклый, цвета грязной синьки северный небосвод. За полчаса полета ни единого пятачочка для вынужденной посадки...

Чего только не передумаешь и не перечувствуешь

в такие вот длинные минуты. Если беспокоен, если чувствуются перебои в моторе или заметно ухудшается погода — сердце сжимается тревогой. Вглядываешься в показания приборов и высматриваешь, где приземлиться в случае чего. Когда все хорошо, порой налетают приступы пьянящего восторга от того, чего достиг.

Но вот стена оборвалась. Миновав ободранный ветром утес мыса Шелагского, выхожу на простор Чаунской губы и поворачиваю на юг. Морская мгла осталась за спиной, глазу открывается вся ширь оранжево-пламенеющего неба. В апельсиновый цвет окрашена равнина огромного залива. Вдалеке, по сторонам, его замыкают фиолетовые горные цепи. Оранжевое и фиолетовое — цвета пустыни — символы безжизненности. Стало жутко, и я оглянулся.

Лицо Саши Мохова, скрытое обындевевшим подшлемником, ответило вопросительным взглядом. Голова Тевлянто за спиной Мохова повернулась в мою сторону. Они тоже нуждались в ободрении, и я показал им большой палец своей рукавицы.

Капризная вещь — человеческая психика. Небо безоблачно, мотор безотказно крутит винт, как в сказке, осуществляется то, что четыре дня назад казалось невероятным, а на душе смута, какой, кажется, не испытывал.

Сейчас, когда все позади, знаю, что это от усталости. С 28 ноября, день за днем, огромные напряжения. Нервная система уже не выдерживает бесконечного риска.

Конечная цель полета, задуманного в Анадыре, — поселок чаунского райцентра Певек расположен на восточном берегу Чаунской губы. Свое название он позаимствовал у маленького галечного полуострова, единственного на все побережье залива. В этом месте горы отступили от берега в глубь материка, оставив двуглавую сопку высотой около семисот метров. Полуостров являлся подошвой сопки.

Зная коварство местного ветра-южака, подхожу к сопке готовым парировать сброс или болтанку. Но самолет не шелохнуло, и мое внимание переключилось на поселок.

На звук мотора из домов стали появляться люди, а я, завершив круг, спланировал на озеро. Как только самолет остановился, Мохов соскочил на землю, а за

ним стал вылезать и я. Опустив ногу на лед, почувствовал, что самолет ползет назад. Ай-яй-яй! Вот болван — это же южак сносит машину на берег!

Мгновенно я очутился на пилотском месте и сунул газ, чтобы отрулить подальше от близкого берега. Но не тут-то было! Самолет «вспух» и завис на месте, отворачиваясь шлепая лыжами по льду. Еще не в воздухе, но уже и не на земле. У меня похолодел затылок — с южаком шутки плохи!

Снизив обороты мотора, я перестал ощущать шлепки лыж, а движение машины прекратилось. Сажу ни жив ни мертв, лихорадочно осмысливая ситуацию. Рулить не удастся, а взлетать — безумие. Впереди гора, под ней завихренный поток — запросто опрокинет меня.

Тем временем люди, подбегавшие из поселка, следуя примеру Мохова, повисли на консолях нижнего крыла, стараясь прижать его к земле собственным весом. Их тела увеличили общую парусность, и самолет снова пополз. Я прибавил газ, и он вновь приподнялся...

В горячке я не заметил, когда Тевлянто и Столопов покинули кабину. Увидел их в толпе, навалившейся на крыло. Саня Мохов, сообразив, что получается худо, стал отталкивать, даже оттаскивать людей от крыла. Раньше других его намерение поняли наши пассажиры и стали помогать. Возникло общее замешательство.

Такая драматическая ситуация длилась минуты три-четыре, и они показались непереносимо долгими. На мою отчаянную жестикуляцию среагировали два человека. Первым, опередив Мохова, на подножку вскочил незнакомец в полушубке и шапке-ушанке. Из-под опущенного козырька торчал ястребиный нос и лихорадочно блестя глаза:

— Что делать надо?

— Якоря! Механик покажет, отгоните людей.

Несколько человек, подгоняемые ветром, бросились в поселок, остальные сгрудились в стороне. Место незнакомца занял Мохов. Наверняка он был взволнован не меньше меня, но я позавидовал бесстрастности его лица.

— Заведи конец за шасси, пусть держат за него...

Мохов соскочил, открыл багажник, нырнул под крыло, и через две минуты человек тридцать, падая спиной на ветер, тянули на себя трос. Паника кончилась, нача-

лись осмысленные действия. Тошнотный комок, застрявший в горле, растаял, но во мне все еще дрожит, а Саша вроде бы неторопливо, но споро делал необходимое. Когда принесли из поселка ломы, кирки, лопаты, Мохов не бросился рубить лед, как сделали бы многие, а отобрал для этого шесть человек, а сам бдительно следил за обстановкой. Вот такое расчетливое хладнокровие и нужно для полярного механика.

Но опасность еще не миновала. На морозном ветру, сбивавшем с ног, сделать якоря дело непростое. Метровой толщины лед надо пробить до воды около обоих концов крыла. Нелегко утопить и подвести под нижние закраины льда деревянные бруски, обвязанные тросом.

«Час, не меньше! — думал я с тоской. — Если машину снесет — пропадет работа. А если ветер усилится? И дураку ясно: как только хвост упрется в берег, машину развернет боком и превратит в утиль».

Солнышко совершало свой путь под горизонтом, освещая только небо и меняя его цвет. В местный полдень из оранжевого оно стало зеленым, ненадолго поглубело и начало быстро темнеть. Видимая мне сторона сопки из дымчато-сиреневой превращалась в серую, чернела, приближалась...

На небе стали появляться звезды. Меня знобило — скорей бы! Но лишь через полтора часа после посадки Саша Мохов скрестил руки, показав, что можно выключить мотор. Мышцы расслабились, по всему телу пошли токи отбоя. Усталость расплылась по телу вязкой тяжестью, и я не смог вылезти из кабины без посторонней помощи.

О своем знакомстве с южаком я уже рассказывал. Сейчас добавлю, что так называется местный ветер Певека. Как новоземельская бора и антарктический сток, южак — дитя особенностей земной поверхности данного района.

Чаунская губа и прилегающая к ней с юга речная низменность представляют собой выемку меж горных систем. Когда падает давление над полярным морем, более плотный воздух материка по этому лотку (длиной более двухсот километров) скатывается и набирает значительную скорость. На своем пути он встречает одинокую сопку и превращает воздушное пространство за ней в бешеный хаос.

В этот зимний сумеречный день ничто не напоминало о южаке. Нимб отсутствовал, в воздухе не трепало. Позднее вспомнил, что был сильный боковой снос, но я не придал ему значения, за что и поплатился.

Меня привели в дом с длинным коридором и рядом дверей по обеим сторонам. Мой проводник открыл одну из них, и я оказался в комнате начальника экспедиции.

Это был тот незнакомец, который спрашивал: что делать?

Не дав мне высказать слова благодарности, начальник сразу ушел, сказав, что вернется, как только устроит остальных и организуют обед.

Небольшая комната имела спартанский облик, очевидно присущий ее хозяину. Узкая железная кровать с тощим матрасиком, накрытая серым суконным одеялом. Грубо сколоченный стол, по стенам геологические ящики с образцами на крышках. Под потолком излучала неяркое сияние сорокаваттная лампочка. Угол занимала печь, одна на две комнаты с топкой из коридора.

Я прислонился руками и лицом к печке, с блаженством ощущая ее тепло, задремал. Услышав, как открывается дверь, я присел на один из ящиков. Мне пришлось сдвинуть в сторону лежащие на ящике камни, причем один из них упал и покатился под стол.

— Что вы делаете? — панически вскричал хозяин комнаты.

На немой вопрос тот с серьезным лицом и тоном проповедника сказал:

— Вы попираете ногами волшебный камень. Запомните его имя — касситерит! Он явился на свет, чтобы совершить чудо в этой бедной стране.

Ни один мускул не дрогнул на красном с мороза лице. Он смотрел на меня строгими глазами и, видя, что я лишь моргаю, не зная, как понимать это назидание, сказал повелительно:

— Возьмите его в руки и верните на возвышенное место!

Уразумев розыгрыш, я включился в игру:

— Повинуюсь и преклоняю колена в поисках этого чудо-камня!

Когда я выбрался из-под стола, мы оба рассмеялись.

Так началось мое знакомство с начальником Певекской горно-геологической экспедиции Григорием Лазаревичем Вазбуцким.



Глава четвертая

КАК РОЖДАЮТСЯ ГОРОДА

«ПРАЗДНИК ГОВОРЕНИЯ»

— Товарищ командир! Проснитесь! Шелагский сообщает — у них туман.

С трудом соображаю, где я, какое отношение ко мне имеет туман в Шелагском и что за человек трясет меня за плечо.

— А вы кто?

— Здешний радист, Ключарев я, Олег. Меня послал Григорий Лазаревич.

Выйдя на улицу, увидел, что ветер небольшой, погода ясная, но с севера от мыса Шелагского против ветра действительно надвигается туман.

При безоблачном небе на улице так светло, что можно читать.

Заметив, что у самолета толпится человек двадцать, недоумевая, направился к ним. Это были чукчи. Одни смотрели в рот Тевлянто, дававшего пояснения, другие ходили кругом, несмело притрагиваясь к разным частям самолета, как бы желая убедиться, что глаза не обманывают, можно и пощупать. Один из чукчей сидел под крылом возле шасси и что-то, смеясь, говорил еще двоим, сидевшим на корточках против него. Эти люди тундры впервые в жизни видели «летающую нарту» и вели себя словно дети.

— Этти, Каминьский, — приветствовал меня Тевлянто.

— Этти, этти! — раздались возгласы «экскурсантов».

Один подошел ко мне, потрогал за рукав меховой рубашки, оглядел и сказал восхищенно на ломаном русском языке:

— Каккуме! Ай, какой хороший у тебя нарта!

Тевлянто сказал, что эти люди самые уважаемые в районе, председатели кочевых Советов. Еще три дня назад, не зная о нашем прилете, райком собрал их для

инструктажа по проведению выборов. Сегодня будет заседание райисполкома — «Праздник говорения», сказал Тевлянто, на которое приглашают и меня.

Осмотр самолета, к нашему с Моховым удивлению, не обнаружил существенных повреждений. Лишь кое-где наши спасатели прорвали полотно на крыльях. Дырки заклеили цветастой фланелью, и машина приобрела живописный вид. Свою машину я ощущал не как мертвую вещь, а как верного и понятливого друга. Во всех испытаниях, какие мне достались, я ни разу не усомнился в нем. С любовным чувством я детально осмотрел все, что требовало осмотра, не поленившись на карачках пролезть в фюзеляж до самого хвоста.

На «Празднике говорения», кроме меня, из русских присутствовали секретарь партийного райкома Георгий Жатченко, председатель районной избирательной комиссии Николай Нестеров и Володя Столопов. Мы были гостями, а хозяевами те чукчи, которых я уже видел утом у самолета.

Мы сидели у стены на скамейке, а представители с мест, по обычаю скрестив ноги, сидели на полу.

В маленькой комнате райисполкома было тесно, жарко и пахло ярангой. Чукчи курили не переставая из трубок самого разного калибра.

Председатель Чаунского райисполкома Рынтыргин, мужчина лет тридцати, больше похожий на индейца, чем на чукчу, был одет в европейский костюм и хорошо говорил по-русски. Он открыл заседание на родном языке, и я даже не сразу понял, что «Праздник говорения» начался. Просто Рынтыргин встал и начал говорить, не предупредив ни Жатченко, ни Тевлянто. Однако все смолкли. Говорил он неторопливо, с убеждающей интонацией, жесты его были скупыми, а мимика лица выразительной. Он не забывал изредка по-русски объяснять нам смысл сказанного.

Я заметил, что в манере держаться у него была какая-то врожденная интеллигентность и независимость. Перед председателем окрисполкома и кандидатом в члены правительства он чувствовал себя как хозяин перед уважаемым гостем, не более того. В его голосе и поведении отсутствовало какое-либо подобие заискивания. Наоборот, когда он сказал: «Смотрите, его будет слушать Калинин», — то сделал властный подымающий жест, и Тевлянто послушно поднялся.

В этой манере поведения молодого деятеля Советской власти в глубинном районе Чукотки ощущалась школа секретаря райкома Наума Пугачева.

Тевлянто тоже говорил по-чукотски. В речах Рынтыргина и Тевлянто я угадывал знакомые слова и по ним улавливал общий смысл. А он сводился к тому, что жизнь чукотского народа идет к рассвету. Тевлянто приводил данные о работе культбаз и школ. Говорил, сколько соплеменников овладело грамотой, сколько учеников на полярных станциях скоро станут радистами и механиками и т. п. В заключение сказал, что главным человеком на Чукотке сейчас является учитель. Но нельзя выучить человека в яранге, интернаты — будущее чукотских школ. Обращаясь к этим старым чукчам, призывал: «Не позволяйте шаманам и кулакам обижать учителя!» Показав на Рынтыргина, добавил: «Все чукотские люди должны стать такими, как он!» Сделав жест в мою сторону, сказал:

— Лет через двадцать дети ваших детей будут уметь не только пасти оленей, но летать на самолете, как этот русский летчик!

Сдав свои посылки председателю районной избирательной комиссии Николаю Нестерову и получив расписку, я понял, что чувствует земледелец, убрав урожай. Можно печь блины и веселиться. Всего пять дней назад казавшееся Волковому чудом свершилось. Завтра во все стойбища разбегутся олени и собачьи упряжки. Вместе с документами уйдут все мои тревоги и переживания.

Певекцы принимали меня как почетного гостя, а я чувствовал себя человеком, который свое сделал и торопиться ему некуда. Ветер стих совсем, туман до Певека не дошел, в небе засияли звезды, и я направился в рубку Олега Ключарева, заказывать погоду домой. Какое хорошее это слово «домой»! И вдруг остановился, словно в стену уперся:

«Что-то ты, как заморенный конь, на свою конюшню оглядываешься? До дня выборов целая неделя, вполне можно добраться и до Островного!»

Никто из тех, кого я знал на Чукотке, даже Тевлянто, не видели этого самого отдаленного, почти ми-

фического пункта. Островное засветилось в романтическом ореоле своей недосыгаемости. И я «заказал» сведения о погоде на запад...

...Как ни странно, но выспаться в Певеке не удалось.

Утром 5 декабря меня снова разбудил радист Ключарев. Радостно сияя, он протянул мне бланки с погодой Амбарчика. Честно говоря, я не надеялся, что ему удастся выполнить мою заявку. Рация в Амбарчике тяготела к Колыме и постоянной связи со станциями Чукотки не имела. Погода там оказалась хорошей, и, как ни хотелось спать, пришлось вставать и налаживать подготовку самолета. Однако, когда к рассвету он был готов, туман все-таки дошел и закрыл Певек. Я не огорчился. То, что нельзя изменить, надо вытерпеть. До дня выборов оставалось чистых шесть дней, а Тевлянто и Столопову надо было задержаться здесь по своим делам.

Каждый день Ключарев приносил такую же отличную погоду Амбарчика. Ориентируясь на нее и видя в зените звезды, мы с Сашей ежедневно начинали готовить машину, но напрасно. Туман стоял как приклеенный. Седой утром, в середине дня он теплел, приобретал цвет чая с молоком. Иногда в зените голубело, и я колебался: «Вылетать — не вылетать!» — и, вспоминая пережитое между Анадырем и заливом Креста, отказывался.

До Амбарчика более двух часов полета, чуть больше светлого времени. Нужно выждать ясную погоду и там и здесь.

В общем, первая половина дня проходит в бесплодной работе, а вторая заполняется интересными встречами и наблюдениями. В частности, встречи с певекцами утвердили меня в убеждении, что Арктику покоряет молодежь. Вспомнилось, что среди приезжавших с материка я почти не встречал сорокалетних. Большинство не достигло и тридцати. А учителя — сплошь мальчики и девочки. В свои восемнадцать лет они делают, быть может, самое важное для чукотского народа: выводят его из темноты невежества и суеверий. Этим ребятам будет чем гордиться на склоне лет.

Очень интересные здесь люди. Ответственные! Ве-

роятно, ответственность и делает человека интересным, в нем раскрывается все, что есть лучшего.

В дневнике за 8 декабря я записал:

«Сегодня обрадовала радиограмма Катюхова. Он дошел до залива Лаврентия и тоже выполнил свою часть задачи. В ответной радиограмме я написал: «Молодцы — поздравляю!»

Тевлянто и Столопова я почти не вижу. Они делают свое дело в районных организациях, а когда туман приклеился к Певеку основательно, попросили согласия уехать на сутки в чаунскую культбазу. Правда, они пробыли в поездке двое суток, но это не играло роли, вылетать все равно было нельзя».

ГРИГОРИЙ ВАЗБУЦКИЙ

Вынужденная задержка с вылетом позволила познакомиться с началом дела, из которого впоследствии вырос город. Первый город на Чукотке — Певек. «Родителями» этого города, которые заложили первые камни в его фундамент, стали три экспедиции. Имена их организаторов достойны памяти хотя бы в названиях улиц сегодняшнего Певека.

На основании чисто теоретических предположений о металлоносности района Чаунской губы первую, во многих отношениях героическую разведку совершила экспедиция неутомимого искателя Сергея Владимировича Обручева. Она работала в 1934—1935 годах и привезла в Москву лишь уверенность, что теория может подтвердиться практикой.

Уверенность, не подтвержденная реальными открытиями, — зыбкая почва для поиска. Однако маленькая, всего из 17 человек, экспедиция геофизика Николая Ильича Сафронова нашла, что искала.

Открытие коренного месторождения доказало, что олово на Чукотке есть. Этот второй камень был положен в 1936—1937 годах. Осталось убедиться, что открытие экспедиции Сафронова имеет промышленное значение. Это означало расширение поисков и обнаружение новых месторождений. И вот эту завершающую работу начала в 1937—1938 годах экспедиция инженера-оловянника Г. Л. Вазбуцкого.

Роль личности, стоящей во главе любого дела, особенно рельефна в местах, отдаленных от центра. Там нет возможности свою неспособность или незнание оправдать ссылками на кого-то.

Профессия полярного летчика часто требовала от меня работы на науку и контактов с людьми науки. Этот опыт позволяет утверждать, что такого организатора в ученом, каким оказался Вазбуцкий, встретишь не часто.

По личному опыту я знаю цену каждой доске и гвоздю на полярной зимовке. До 1938 года на Чукотке имелось всего два трактора: один в Анадыре, другой на нашей северной базе. Единственный токарный станок и сварочный агрегат, как упоминалось, тоже только в мастерских Анадырского рыбокомбината. На фоне такой бедности оснащение экспедиции Вазбуцкого поразило меня.

Возглавив экспедицию в Москве, Вазбуцкий просил, получил и доставил на певекскую косу: два новых трактора, два вездехода, двое аэросаней, несколько моторных вельботов, сорок ездовых собак, три лошади, несколько коров и свиней с фуражом для них. С финляндской границы (из Карелии) он сумел доставить во Владивосток и далее до Певека три рубленых дома, буровую вышку, каркасный склад и гараж. Само собой разумелось наличие радио- и электростанций, бурового оборудования, токарного станка и сварочного хозяйства.

Григорий Вазбуцкий создал небывалый прецедент, доложив центральному руководству, что его экспедиция обеспечена всем необходимым!

Для тех лет все перечисленное могло оказаться на берегах Чаунской губы только в результате организаторского подвига. Понятно, что планирующие органы выделили такое богатство не из-за голубых глаз (а они действительно голубые!) Вазбуцкого. Решалась проблема независимости от импорта стратегических металлов. Экспедиция на Чукотку была одной из многих в разные районы страны и никаких преимуществ не имела. После получения нарядов все остальное зависело только от организатора.

Григорий Лазаревич Вазбуцкий оставил вдохновляющий пример, как без нытья и всхлипов, по-деловому

организовать труднейшую экспедицию в самый глухой угол Арктики.

В 39 лет Г. Л. Вазбуцкий уже был известен как геолог-оловянник. Таких специалистов в те годы считали единицами. По предложению Н. И. Сафронова ему и предложили возглавить поиски олова на Чукотке. Четыре геологических, пять топографических отрядов вместе с другими специалистами и горнорабочими составили 86 человек, больше половины населения Певека в 1937 году.

Но материальное обеспечение лишь половина дела. Геолог понимал, что решающую роль сыграют люди, а не вещи. Меня поразила новизна взгляда Вазбуцкого на проблему материальных стимулов. Непререкаемой догмой считалось, что в Арктике все без исключения должны иметь ненормированное рабочее время, без выходных дней. Вроде бы все компенсируется полярной надбавкой и увеличенным отпуском. В этой догме имелся свой смысл, и я был одним из его сторонников.

«На энтузиазме можно только авралить!» — доказывал мне Вазбуцкий. Планомерная, тяжелая физическая работа должна стимулироваться рублем. По его предложению впервые в практике полярной геологии для горнорабочих установили восьмичасовой рабочий день, сдельные расценки и нормальную шестидневную рабочую неделю.

«Ничто так не оправдывает себя, как затрата времени на подбор участников полярной экспедиции!» Начинаящий полярник, геолог Вазбуцкий не знал этого высказывания Амундсена. Но он не жалел времени на собеседования с кандидатами. «Что может этот человек?» — для него был первостепенный вопрос. Просчеты были, и он исправлял их до прибытия на место. Даже отсюда он нашел предлог отправить двоих обратно на материк. Оставшиеся работали отлично, и экспедиция свою задачу выполнила. Чаунский район стал надежным бастионом в борьбе страны с оловянным голодом.

Но и на солнце есть пятна. При всех неоспоримых достоинствах организатора герой этого рассказа имел недостаток, противопоказанный руководителю. Фанатично исполняя свой долг, он требовал такой же самоотверженности от всех, не умея считаться с самолюбием и другими слабостями подчиненных.

Принимая посылки с избирательными документами, Нестеров взял с меня слово, если задержусь, быть его гостем в первую очередь.

Еще по прошлому году я знал, что после Пугачева заведующий факторией Нестеров — самая популярная личность. Этому в немалой мере помогает и его внешняя представительность. Люди суетливые, говорящие быстро и много, доверия чукчам не внушают. Нестеров не только выглядит, но и говорит солидно, немногословно, низким голосом.

При невысоком росте у него крупная лобастая голова и своеобразное, удлиненное лицо. Обычно такая непропорциональность бросается в глаза как ошибка творца. Этого не скажешь, глядя на Нестерова. Просто с первого взгляда он представляется выше ростом, чем есть на самом деле. Нестеров смугл, лысоват, черноглаз. У него рабочие руки и спокойное выражение лица. Последнее обманчиво. Невозмутимым лицом природа замаскировала экспансивный темперамент этого человека. В свои двадцать семь лет Нестеров кажется значительно старше.

Такого типа лицо необходимо дипломатам, на нем не прочтешь, что творится в душе. Моему знакомому по роду его деятельности и приходится быть дипломатом. Как распорядитель дефицитных материальных благ здесь он нужен всем. Отказать в том или ином дефиците, особенно в спирте, не наживая вражды, — это искусство, и Нестеров им обладает.

Живет он в крохотном домике из засыпного теса. Домик щеголеватый. В единственной комнатке изумительно чисто, я сказал бы, даже стерильно. Пол выскоблен до желтизны, от двери постелена домотканая дорожка, на окнах кружевные, ручной работы занавесочки. Стены украшены картинками из журналов, на окнах — обернутые в бумагу консервные банки, в которых прорастивается лук в перо. Света еще мало, перья бледные, рахитичные. Но это попытка возместить отсутствующие цветы.

На дощатом столе вышитая скатерть, у рукомойника полотенце с петушками. Все, что возможно, накрахмалено до хруста. В этом великолепии царит юная Фенечка, кругленькая, курносенькая, с пшеничными коса-

ми короной вокруг головы. Ее женское счастье нарисовано на ней розовым и голубым. На меня пахло давно не виданным уютом любовно выстроенного человеческого гнезда.

Традиционная строганина на закуску, дымящиеся пельмени на обед, сдобный хворост и голубичное варенье к чаю вместо третьего. Во всем ощущалось обаяние женского присутствия. От моих комплиментов Фенечка заливалась краской и убегала за занавеску к люльке с дочуркой.

В застольном разговоре выяснилось, что Нестеров об отъезде не помышляет, хотя срок договора кончается. Он уже свободно объясняется с чукчами на их языке и строит планы надолго вперед.

Понимая, что из уюта, который создала Фенечка, можно и не рваться, все же спросил, не снятся ли ему поля и леса материка. Ответил примерно так:

— Всякая работа дает кусок хлеба, но не всякий хлеб сладок одинаково. Вот этот домик я построил своими руками на голом месте. Вот этих складов, — жест рукой за окно, — до меня тоже не было. Когда покажу факторию, увидишь, что и такой торговли здесь тоже не было. Короче — я не существую, а живу. Все, что придумаю, могу сделать. Дай мне дворец под пальмами и заставь жить без дела, я помру с тоски...

Бывает же так, что случайная фраза дает толчок мыслям в неожиданном направлении. Слова: «Что придумал — могу сделать!» — бросили свет в темноту виденного и слышанного, но не осмысленного.

Выходит, дело не в профессиях, а в том, как они раскрывают ту или иную одаренность человека. Нет совершенно бездарных людей, если они не больные. Секрет в умении или удаче найти для себя именно то, в чем одарен. А если смотреть выше, не в том ли состоит воспитательная задача общества — каждого приставить к своему делу?

Наладив торговлю в Певеке, Нестеров задумал выезжать со своими товарами в тундру к стойбищам оленеводов. Пургу, мороз, всяческие неудобства он и во внимание не берет. Похвалился заявками, какие составил для завоза в предстоящую навигацию. Но заявки составляют все. Нестеров не ограничился этим, а отправил их во Владивосток с верным человеком. Упросил уезжавшего Пугачева лично передать начальнику кон-

торы. Зная Пугачева, я позерил, что Нестеров получит все, что просит. Он сказал, что если привезут хоть немного строительного материала, то построит домик вроде гостиницы для приезжающих оленеводов и обеспечит их горячей пищей.

Склады торговых факторий на Чукотке — это, как правило, неказистые, поставленные где пришлось сооружения из брезента, натянутого на грубо сколоченный каркас. Углы неровные, там и сям на крыше и по бокам выпирают, натягивают брезент концы досок. Вдоль стен и вообще кругом хаотично навалены ящики и мешки с мукой, крупой и другими товарами, не поместившимися внутри. Они даже не всегда прикрыты от непогоды и собак.

При осмотре фактории Нестерова прежде всего бросается в глаза как чистота отделки самих складов, так и порядок вокруг них. Не только материальных ценностей, но даже обычного мусора нет и в помине. У ворот и дверей поставлены ящики с противопожарным песком и лопатами. Рядом висят огнетушители. В те времена не проводились конкурсы и соревнования между факториями Чукотки, но наверняка Нестеров получил бы первое место за рачительную хозяйственность.

Складов два: для продовольствия и промтоваров.

Кипы различной мануфактуры, мешки с мукой, сахаром, крупой и другими продуктами. Капканы, чугунные котлы, медные чайники, охотничьи ножи, патроны, ружья, бусы, ленты. Все на виду положено и вывешено заманчиво, с выдумкой. Третья часть промтоварного склада отгорожена занавеской и образовала отдельное помещение для пушнины. Сотни песцовых шкур висят рядами, распушив свои валютные хвосты. По словам хозяина, они одни якобы оправдают рейс парохода из Владивостока. Но и для добытчиков этого мягкого золота товар выложен лицом. Аж глаза разбегаются от разнообразия соблазнов для тундрового охотника.

В торговой половине за прилавком я увидел невысокого паренька лет двадцати.

— Мой помощник Толя Кеутуви! — с гордостью представил его Нестеров.

— Как торговля, Толя?

— Сегодня торговля нету. Однако ветер был сильный. Кит-кит (немного) ждать надо! — с затруднением

выговаривая русские слова, ответил Кеутуви, смущаясь.

Я сказал Нестерову, что в его магазине ассортимент не хуже, чем у мистера Брауэра на Аляске, где я побывал прошедшим летом. Но мой купец обиделся:

— А почему у нас должно быть хуже!

— Ну он все же для себя старается!

— А это совсем неинтересно — только для себя. Кому он там нужен, кроме своей жены? А я здесь почетный человек. На торжественных собраниях в президиум выбирают.

— Николай Николаевич! На твоей фактории великолепный ассортимент, чем объяснить, что его нет у других?

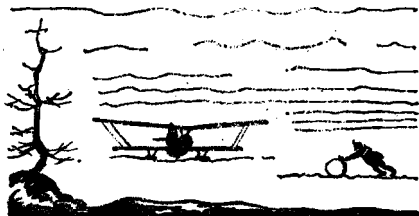
— Очень просто. Получив назначение торговать, я не положился на снабженцев, а сам излазил все склады и подобрал подходящий товар. Никто мне не препятствовал, даже спасибо говорили за помощь. Видел бы ты, что делается на складах владивостокской конторы при отправлении пароходов! Людей мало, помещения тесные — сам черт ногу сломит. Да и их работники плохо представляют, что нужно Чукотке. А товары не только для Чукотки, но и для Камчатки они подбирают не меньше как на пятьдесят торговых точек и почти тысячу наименований.

В этом году завоз в общем-то тоже неплохой, но и курьезы есть. Например, прислали нам десять патефонов, даже про иголки не забыли, а вот пластинок только две. Правда, по мне, так хорошие пластинки: на одной монолог городничего из «Ревизора», а на другой танго из фильма «Петер» и украинский танец «Гандзя». А курьез в том, что этих пластинок пятнадцать ящиков, по тридцать пластинок на каждый патефон. Вредительством я бы это не назвал, но головотяпство явное. И судить строго нельзя, зная, в каких условиях работают владивостокские снабженцы. А пластинками я поменяюсь с другими факториями — ничего страшного!

Ощущая свою работу почетной и уважаемой, Нестеров вкладывал в нее душу. Я мог заключить, что он не только доволен, но и счастлив, что нашел дело по себе. Любопытно, что на материке Нестеров работал заводским слесарем, а сюда приехал по партийной мобилизации. Уходя от него, подумал: «Сколько же здесь мобилизованных коммунистов и комсомольцев!»

Вероятно, были и такие, для которых мобилизация на Чукотку стала тяжким бременем. Но те, кого я видел, — Пугачев — секретарь райкома, Маслов — парт-орг, вот этот рабочий парень Нестеров, ставший торговцем, и многие другие, особенно комсомольцы-учителя, — все это патриоты чистейшей пробы. Они ехали сюда не по своему выбору, как мы: летчики, геологи и ученые полярных станций, не по корыстному расчету, как американцы на Аляску, а по мобилизации!

И тяжелое слово «мобилизация» представилось мне архимедовым рычагом. Опираясь на революционную сознательность масс, партия большевиков перевернула этим рычагом самоварную матушку-Русь и заставила ее стряхнуть с себя вековое прозябание и отсталость.



Глава пятая И СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО!

ОСТРОГ НИЖНЕ-
КОЛЫМСКИЙ

Неистощима изобретательность природы. С утра 8 декабря туман казался плотнее вчерашнего. Со спокойной совестью я дал отбой приготовлениям к полету, а сам принялся за дневник. Среди дня в комнату входит Саша Мохов, садится, смотрит, как я пишу, и лишь через несколько минут, как бы между прочим, объявляет:

— А туман-то, Михаил Николаевич, кончился!

От неожиданности я слюмал карандаш и вскочил на ноги.

— Как кончился?

— Да так, ушел совсем.

— Да что ж ты!..

Едва удержавшись от резкости, я выбежал на двор. Небо над Певеком открывалось взору нежнейшей, эмалевой голубизной, на юге слегка подкрашенной розовым, на севере — синим. Красота необыкновенная, но я задыхался от обиды: «Прозевал, балда!..»

— Не расстраивайся, командир! — Голос Мохова.

сочувственно-дружелюбен. — Час назад сопку еще не было видно, а когда он задумал уйти — вылетать стало поздно. — С чуть заметной иронией добавил: — Побереги здоровье, еще понадобится!

На материке я был убежден, что туман приносит и уносит ветер. На опыте полетов из Анадыря и залива Креста я стал понимать, как зависит погода от изменения атмосферного давления и температуры. В природе свои закономерности, их надо познавать, а познав, уже не будешь так глупо попадать впросак, как это случилось в Анадыре. Наверное, с вечера можно было заметить тенденцию к повышению давления и предположить, что понизится температура, а туман исчезнет. Я досадовал, что урок не пошел впрок и сегодняшнее улучшение погоды застало меня врасплох.

— Не зря говорят, Саша, сколько ни учишь, а дураком помрешь.

9 декабря с розовой зарей мы вылетели при безоблачном небе.

Наш маршрут проложен на юго-запад, вдоль берега Восточно-Сибирского моря. Вначале с левого борта простиралась Чаунская губа и прилегающая к ней обширная низменность; во второй половине пути к берегу приблизились горы. Совсем рядом пологие увалы сопки. Они уходят к югу, все более высокими, в зимних сумерках еле различимыми ступенями. Небо над ними тусклое, бескрасочное, не похоже на то, каким было час назад. В который раз охватывает ощущение собственной мизерности перед этим, всегда по-новому угнетающим миром.

История полетов над этими местами коротка. В 1929 году — первый полет Кальвицы; в 1933-м — прошел Леваневский; в 1936 году — Молоков; в апреле тридцать седьмого — Фабио Брунович Фарих. Они летели в светлые дни на многоместных самолетах. У них были механики, штурманы, радисты.

В полярную ночь мы с Сашей летим первыми.

Голая и бесплодная земля, все равно какая: равнинная или гористая, земля без деревца, без кустика — вызывает у человека чувство тоски и одиночества. Усмотрев на белом фоне чернеющие деревца, я ощутил к ним признательную нежность. Горы были исполинскими, а деревца — крохотными. На склоне сопки они жались друг к другу, как заблудившиеся дети леса. Ли-

ственницы — самые стойкие против зверской стужи и свирепого ветра. Самые смелые в лесном царстве. Никто дальше их не проникает за Полярный круг.

Мохов потрогал за плечо и показал на них рукой. Оказывается, мы думаем об одном и том же. А ведь есть люди, например чукчи, которые живут и умирают, не представляя, как растет дерево.

В Амбарчике мой самолет быстро заправили горючим, но есть ли бензин по дальнейшему маршруту — ничего сказать не могли. Радиосвязь с Нижнеколымским нерегулярная, последняя была три дня назад. Небо оставалось безоблачным, и я вылетел, отвергнув традиционное приглашение на чаепитие.

Устье Колымы зимой выглядело не столь грандиозно, как летом. Под снежным покровом не ощущалась мощь огромного потока, сотворившего себе такие ворота для выхода в море.

Нижнеколымск представлялся мне в ореоле старинных былей и легенд. Триста лет назад сухопутьем из Якутска сюда добрались первые русские, открывшие миру Колыму. В 1644 году казачий десятник Михаил Стадухин заложил здесь крепость, острог. В нем находили приют отважные люди, искавшие край земли. С изумительным упорством они уходили морем на восток, терпели крушения, возвращались, снова строили кочи и снова уходили. Только одна экспедиция холмогорского промышленника Федота Алексеева достигла цели. В 1648 году он обогнул мыс, получивший имя казачьего десятника Семена Дежнева. С течением времени Нижнеколымский острог стал центром огромной округи радиусом в пятьсот и более километров.

Враждовавшие друг с другом племена аборигенов были вынуждены признать власть русского царя, которую олицетворяли здесь суровые землепроходцы. Отсюда через горы и тундру казаки дошли до Анадыря, закончив воссоединение земель вольнолюбивых чукчей и коряков в едином Русском государстве.

Сделав посадку на реке против поселка, поразился необыкновенному теплу. Поглядев на градусник, не поверил своим глазам — плюс семь градусов. И это в середине декабря на 68-й параллели!

Снежная поверхность на реке неровная, видно, и здесь бывает пурга, но лыжи самолета легко продавливали отмякшие от тепла заструги. На берег нам при-

шлось перебираться по сходням, которые уже выложили местные жители. Увидел я поселочек значительно меньше и беднее Анадыря. В нем не насчитывалось и трех десятков маленьких избушек, с древней церковью на возвышенном месте. Домики имели плоский верх, и лишь здание районных организаций построено по европейскому образцу с двускатной крышей.

Из толпы встретивших навстречу нам вышли три или четыре человека местных руководителей. Нижнеколымский район был за пределами Чукотского округа и относился уже к Якутской республике. Для них мы случайные гости, но приняли нас приветливо, с готовностью оказать любую помощь.

На мой вопрос о бензине ответили, что здесь не знают, как он пахнет. Такой ответ меня обескуражил. Как голодавший человек все время думает о пополнении запасов пищи, так и я в незнакомых местах боялся оказаться без горючего, но фортуна вновь пришла на помощь...

Когда мы только представлялись руководителям рейса, кто-то из них обратил внимание, что на реке появилась собачья упряжка. Мы не пошли в дом, а, разговаривая, остались ждать, «кого бог пошлет». Минут через пятнадцать с нами уже здоровался крупный краснощекий мужчина лет сорока. В дополнение к отменному здоровью природа наградила его веселым нравом и готовностью тратить силу для людей без долгих расчетов. Узнав о моих затруднениях с бензином, он сказал, что поможет.

— Как?

— А вот я выясню тут некоторые вопросы и через полчаса выеду обратно. А ты, дорогой, прилетай завтра к нам, и все будет в порядке!

Оказалось, это Александр Алексеевич Мамонтов — «начальник всей торговли» Островновского района.

Контора Мамонтова находилась в сорока пяти километрах от Нижнеколымска, в поселке Пантелеиха. Там же базировалась экспедиция Наркомзема, имеющая аэросани. Мамонтов не сомневался, что бочку бензина мне дадут.

Но я усомнился в твердости слова неожиданного благодетеля. В нелегком пути он уже провел четыре часа и предстал перед нами вымокший до пояса. Ведь дорога — раскисший снег, местами пополам с водой. Но

Мамонтов и вида не показал, что промок и замерз. День клонился к вечеру, а он и минуты не колебался перед ночной дорогой обратно. Только сказал:

— Вот Родионов обрадуется! А мы тут горевали, как провести голосование!

С изумлением наблюдал, как Мамонтов, не поморщившись, вылил в себя стакан неразведенного спирта. Расправившись с огромной миской горячих пельменей, он не мешкая тронулся в обратный путь. Я выразил сомнение, выдержат ли собаки, но меня хором заверили, что упряжка Мамонтова лучшая в округе.

БЫВАЮТ ЖЕ ТАКИЕ СЮРПРИЗЫ

Утром 10 декабря держалась такая же ясная теплынь, и Мохов запустил мотор, не подогревая его. Взлетев, я не отказал себе в удовольствии сделать большой круг, чтобы рассмотреть окрестности исторического пункта.

Гигантским полотенцем не менее пяти километров в ширину Колыма развернулась с запада на восток. Окаймляющие русло заросли кустарника подчеркивали величавую значительность водной стихии, замкнутой в этих берегах. Невдалеке, к востоку от поселка, река круто развернулась на север и уже не изменяла этому курсу до самого моря. На поворотном углу к мощи Колымы добавляли свою силу два больших притока: Малый и Большой Анюн. Их верховья подходили к истокам Анадыря, проложившего себе путь в море Беринга.

Кружным путем я оказался позади той горной страны, которую из Анадыря видел далеко на западе. По прямой более тысячи километров отделяли меня от места старта. Отделяли от тревог Волкового и угрозных намеков Грызлова. Пусть читатель не посетует на частые возвраты к пережитому. Я не мог забыть его, а в тот момент, ликуя, думал: «Я выиграл в этой лотерее, товарищ Грызлов. Сегодня, десятого, я буду в Островном. Сегодня!» Эта мысль возбуждала нетерпение, интриговала и тем, что я первым из летающих людей увижу этот легендарный район Чукотки.

Пантелеиха — поселок одноименный с небольшой рекой, текущей с гор в Колыму. Люди построили свои жилища на северном, возвышенном берегу, а озеро, на которое, по словам Мамонтова, я мог бы приземлиться,

находилось среди лесных зарослей на южном берегу. Здесь меня должны встречать с бензином, выложив посадочный знак.

Но одно небольшое озерко, которое вижу, покрыто водой, а других в пределах видимости нет. Смотрю на реку. Она течет в высоких берегах, узка, извилиста и явно не посадочна. В поселке ходят люди, собираются кучками, задирают головы, но никаких знаков, указывающих, что меня ждут, не вижу.

Кружусь над поселком, а голову сверлит мысль: как быть? Что делать? Переглядываюсь с Моховым, он пожимает плечами. Не ошибся ли я? Может, это не Пантеленха? Да нет, других человеческих поселений здесь нет и быть не может.

Вдруг Саша стучит по плечу и показывает вниз, что-то крича. Не сразу его понял, потом рассмотрел на крыше длинного брезентового склада фактории надпись; она выполнена метровыми буквами из красного полотна: «Площадок нет».

Вот тебе и на! Как нет, почему нет?

И только тут меня озарило — озеро, о котором говорил Мамонтов, залито водой. Ах, какой молодец! Нашелся, как оповестить! Теперь все ясно. Озеро в низине, и в него неделю стекала талая вода. Убедившись в этом, Мамонтов не решился меня принять и успел выложить эту надпись на крыше склада.

«Интересно, как же он сумел ее закрепить? Неужели полотно пришивали нитками?»

Делаю круги над озером и размышляю. Мало того, что размеры его малы, но оно еще и под водой. По хорошему надо бы бежать не оглядываясь. Но здесь секретарь Островновского райкома Родионов, здесь надо оставить часть документов, и, кроме того, здесь бензин. Надо сесть!

Крутые морозы стояли три месяца, а оттепель всего неделю. Конечно, метровому льду ничего не сделалось. Сколько же могло натечь воды? Всматриваюсь в бровку берега, определяю, что воды не должно быть больше восьми-десяти сантиметров. От такого количества машина не перевернется. Надо садиться! Царапаю записку Мохову, тот согласно кивает головой.

Тевлянто из-за его спины смотрит встревоженно.

Сделав глубокий вираж над факторией, со снижением направляюсь к месту посадки, обозначив свое намерение

для людей на земле. Планирую на длинную сторону яйцеобразного озера. Смущают деревья, стеной обступившие площадку. Прохожу, едва не задевая вершины, и убираю газ. Плюхаюсь — это точное слово, потому что фонтаны воды поднимаются до верхнего крыла. Машина бежит, вздымая лыжами воду, не желая останавливаться. Пугаюсь, что выскочу в лес на противоположной стороне. Но все обошлось, даже осталось место для разворота.

Подруливаю к стороне озера, ближайшей к поселку. Мотор выключил, а вылезать не хочется. До берега метров двенадцать, придется промочить унты. Но Саша с этим не посчитался, соскочил в воду и на пальцах показал, что мои предположения оказались верными — восемь сантиметров. Однако Тевлянто, я и Столопов от этой информации храбрее не стали. В нерешительности сидим на бортах кабины, обмениваемся впечатлениями.

Минут через десять во главе с Мамонтовым прибежали запыхавшиеся, восторженные «туземцы». Они никогда еще не видели самолета и летчиков. На нас смотрят как на пришельцев с другой планеты. Мамонтов успел прихватить резиновые сапоги, каждого из нас перенесли на сухое место, там мы и переобулись.

Первым нам представился человек среднего роста с умными карими глазами. Подавая каждому руку, назывался: «Родионов!»

Это был самый молодой по возрасту и опыту секретарь партийного райкома на Чукотке. Я рассматривал его с уважением. На территории, равной Болгарии, куда не каждый год добирались инспектора из округа, этот человек в двадцать девять лет — главный. От его честности, ума и такта в глазах кочевников зависит репутация Советской власти, возникшей здесь совсем недавно.

Предупрежденный Мамонтовым о цели нашего прилета, он принес с собой и показал нам образец рукописного бюллетеня. Оказалось, что вся грамотная часть населения Пантелеихи и Островного, насчитывавшая двадцать человек, была мобилизована на изготовление этих бюллетеней. Их писали, кто как мог, на отрезках обоев, которые здесь без надобности, но прибыли в последнем завозе на факторию.

— Вот уж спасибо! Вот спасибо! — повторял Родио-

нов, разбирая привезенные посылки и как чудо рассматривая избирательные бюллетени, отпечатанные в типографии Хабаровска.

Окончив на материке партийные курсы, Родионов прибыл сюда лишь четыре месяца назад. Все внове, все необычно. Было от чего растеряться молодому работнику. Встреча с Тевлянто и Столоповым для него не только радость, но и практическая школа для лучшей ориентировки в национальных особенностях дела, которое он должен освоить.

Когда перебрались через лед реки, покрытый мокрым снегом, секретарь райкома, как великую ценность прижимая к себе посылки, увлек за собой дорогих для него представителей округа. Я остался на попечении Мамонтова, который и познакомил с работниками землеустроительной экспедиции.

В те пионерские времена для Чаунского и Островновского районов значение этих экспедиций было неопределимо. Остатки кулаков, потомственно опытных оленеводов, со своими стадами укрылись в глубинах Анадырского нагорья. В тех горах, на которые я смотрел и с востока, и с севера, и с запада, предполагая в них мир таинственный и обособленный, так оно и было. Это нагорье не было нанесено на карту, и там еще не побывали даже геологи.

Возникшие недавно оленеводческие колхозы стали возглавлять бывшие батраки. Их опыт самостоятельного хозяйствования едва отошел от нуля. Испокон веков в оленеводстве повелось летом пасти стада в прибрежной тундре, где нет гнуса, а на зиму уходить от пурги под защиту лесов. Олений мох — ягель, оказывается, растет не везде. Кулаки знали по опыту, передаваемому из поколения в поколение, ягельные места и маршруты движения стад.

Экспедиции предстояло составить карту района кочевков, обозначив места, богатые ягелем, и определить экономичные маршруты.

У экспедиции имелись и другие задачи, но вот об этой, главной, рассказал ее начальник Л. И. Разделишин. Худощавый, подвижный и остроумный москвич с энтузиазмом выполнял свою работу за пятнадцать тысяч верст от родного города. Знакомство с ним пополнило мой список еще одним деловым романтиком Севера.

Бочку бензина из своих небогатых запасов нам дей-

ствительно выдали безропотно, и тут пришлось свести короткое знакомство с водителями аэросаней. Старший именовался Иваном Ивановичем Иванковым, а младший просто Симой — Серафимом Найденовым. Оба оказались нашими коллегами, так как до поездки в Арктику Иванков работал авиационным техником, а Найденов в московском ЦАГИ. Я подумал, что уж очень часто в самых глухих углах я встречаю москвичей и ленинградцев. Обе столицы представились мне шефами в деле освоения Арктики. В первую очередь это ее жители своим присутствием на зимовках Заполярья создали атмосферу революционного энтузиазма. Вместе с Моховым наши земляки занялись переброской драгоценной бочки через реку и заправкой самолета. Бензин в экспедиции был грозненским, для моего мотора «легким», но мы и ему были рады.

Переваривая свои впечатления от этой экспедиции, я подумал, что эти люди тоже ехали сюда с понятным мне желанием своими руками сделать что-то, чем можно гордиться. Я посетовал на себя, что в Певеке не познакомиться с людьми из такой же экспедиции Пакаева. Против моей работы или работы геологов их деятельность здесь незаметна, она в тени, но от этого не менее значима для общего результата. В атмосфере этой жертвенной скромности возникло желание и самому, перед самим собой меньше гордиться тем, что делаю.

НА ПРЕДЕЛЕ ОТДАЛЕННОСТИ

Разговоры с интересными людьми, их угощение олеиной, чаепитие притупили мою бдительность. Прошло часа три, пока я вспомнил о времени. Взглянул на часы и ахнул. До темноты на этой широте оставалось два часа.

— Скорей, скорей, бегом к самолету!

Взлетел «на нервах». Стена деревьев на противоположной стороне озера казалась угрожающе близкой. У меня не было времени промерить длину площадки. Хотя это в данных условиях не имело смысла, но само отступление от укоренившегося правила подействовало на психику отрицательно.

Провожавших я попросил держать самолет за крылья, пока мотор не наберет полных оборотов. Вначале машина, встречая лыжами сопротивление воды, раз-

бегалась неохотно и лишь на второй половине площадки побежала резвее. Все-таки лыжи задели за верхушки деревьев, и я всю дорогу беспокоился, не повредил ли амортизаторы.

Река Малый Анюй, на которой мне предстояло сидеть, быстрая и порожистая. Лед на ней непрочный, торосистый, и промоин много. Родионов предупредил, что посадочные места начнутся вблизи Островного, но он не уверен в прочности льда и там. Такая информация перед взлетом не способствовала хорошему настроению. Но она оказалась правильной. Когда усмотрел на маршруте первую полосу льда, пригодного для посадки, обрадовался. Запомнил, как ее найти по местным ориентирам, чтобы в случае чего вернуться. Встретились еще два таких пятачка, и я совсем приободрился. Все ближе Островное, но все слабее дневной свет. Лишь бы успеть засветло дойти до конца, до места, рекомендованного Родионовым. Я видел только черноту леса, огоньки в домах, слившихся с лесом, и белые поверхности проток между островов. Некоторые действительно чернели промоинами. С первого же круга, одним взглядом запечатлев общую картину, я спланировал на ближайшую к поселку протоку, на которой не заметил промоин. Пока был в воздухе, боялся, что уже не смогу определить высоту выравнивания, но на деле благодаря черноте кустарника посадка оказалась легче ожидаемого.

Сел! Остановился перевести дух. Не верится, что все волнения последнего часа кончились. Порулил вокруг острова в главную протоку, на берегу которой стояло село Островное... Мохов сопровождал за крыло, но я уже не мог разглядеть выражение его лица.



Глава шестая НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ!

В ЗАТЕРЯННОМ МИРЕ

Проснулся от инстинктивного ощущения, что не один. Перед глазами стена из неотесанных бревен лиственницы. Приятно пахнет смолой. Еще не сознавая, где я, по-

ворачиваюсь на другой бок. У изголовья на ящике сидит Володя Столопов.

— Минут десять жду, когда проснешься!

С недоумением оглядываю тесную каморку, очевидно пристройку к какому-то дому. В помещении холодно. От дыхания поднимается парок, но под оленьей полостью мне жарко. За стеной голоса, звяканье посуды. Автоматически произношу:

— Что случилось, Володя? Где Саша?

Ощутил укол тревоги — успею ли долететь? Но вот все стало на место — долетел, нахожусь в Островном. Сегодня 11 декабря. Завтра день выборов. Через мгновение улавливаю смысл только что сказанного Володи:

— Не волнуйся, все в порядке. Саша уже у самолета, а нас ждет завтрак. Вставай! Пока одеваешься, поговорить хочу.

Преодолев желание понежиться в тепле, начинаю облачаться. В темпе натягиваю изрядно потертые меховые штаны, пыжиковые носки, торбаса, свитер, меховую рубашку. Поглядываю на Володю. Прямой нос, упрямый подбородок, хорошо очерченные губы, чистое, с морозным загаром лицо. Симпатичный. Такие нравятся девушкам с первого взгляда.

— Потрогал я тебя, а ты не шевелишься. Пусть, думаю, еще поспит. А сам сижу около тебя и удивляюсь своей судьбе...

Володя запнулся, преодолевая смущение.

— Вырос я в интеллигентной семье, рано осиротел, и после школы, выражаясь красиво, ветер романтики занес меня из Ленинграда на Камчатку. Работал в порту грузчиком, через год меня взяли в обком комсомола инструктором. Однажды, находясь в командировке в Корякском округе, получил предписание выехать в Анадырь. В Петропавловск вернуться не пришлось, выбрали секретарем Чукотского окружкома. Две тысячи километров от Петропавловска до Анадыря я проехал на собачках и еще столько же пролетел на самолете, чтобы оказаться в этом затерянном мире. С детства я мечтал о дальних странах, и вот мне, одному из всего класса, удалось осуществить свою мечту. Сижу и думаю — почему мне?

— Наверное, потому, Володя, что не только мечтал. На Камчатку тебя занес не ветер, а какие-то поступки, усилия осуществить свою мечту.

— Это верно, и все же удивительно. Вчера, проводив тебя в этот «люкс», я остался ночевать у здешних комсомольцев-учителей. Просидел с ними до полуночи и не могу скрыть восхищения. Им чуть больше двадцати, а они здесь по третьему году. Сам увидишь, условия для них, горожан, кошмарные, а они не тоскуют, не спиваются, а творят такое, чем я, секретарь окружкома, горжусь и, по правде говоря, завидую.

За время нашего путешествия я мало видел Володю. Обычно он исчезал сразу после посадки, вместе с Тевлянто. Каждый делал свое. Постоянная озабоченность подготовкой самолета, радиосвязью, погодой не оставляли места для душевных разговоров, даже когда мы оказывались рядом. Но даже просто смотреть на него было приятно. В некрупной, хороших пропорций фигуре чувствовалась негородская физическая прочность, очевидно приобретенная уже на Севере. Взгляд внимательный, неторопливый, какой-то ожидающий. Люди с таким взглядом больше слушают, чем говорят. Сегодняшний исповедальный порыв заинтересовал меня, и, боясь его спугнуть, одевшись, я присел на свои нары и закурил в готовности слушать. А Володя продолжал:

— Думаешь, почему я расфилософствовался? Наверное, потому, что к каждому приходит время какого-то прозрения. Человек работает, получает зарплату, живет обыденно и о высоких материях не думает. И вдруг ощущает себя вроде бы в полете. Горизонт расширился, и открылось ему что-то, о чем и не подозревал. Еще не было в мире молодежной организации, основанной на идее революционного преобразования мира. Теперь она есть, а главное — действует. Такие рядовые комсомольцы, как здешние Безруков и Хоменко, стали силой, изменяющей жизнь вот таких медвежьих углов. Я и раньше встречал энтузиастов, комсомольцев-учителя почти сплошь такие. По своей обязанности я поощрял их, а сам думал, что нашей жизни не хватит, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть с места эту вековую отсталость, расшатать суеверия, преклонение перед шаманами и прочей дикостью. Узнав этих парней, я понял, что ошибался...

Мне были интересны люди, ищущие смысл жизни, и в другое время я охотно поддержал бы такой разговор. Но мой собеседник выбрал явно неподходящий момент. Угадав мое нетерпение, Володя заторопился:

— Может, продолжим, когда будешь в настроении.

А сейчас пойдем завтракать, Афанасьевна заждалась, да и на дворе какой-то шум поднялся, посмотрим, что там делается.

Я почувствовал себя виноватым, но не нашелся, как смягчить огорчение Володи, и молча последовал за ним.

Пригибая головы в низком дверном проеме каморки, мы вышли на улицу. После сумрака помещения глаза не сразу адаптировались к свету, но по привычке отметил, что ветра нет, морозно и небо безоблачно.

На другой стороне улочки стоял амбар. От других домов он отличался высоким фундаментом, широкими воротами и длинным помостом вдоль всей стены. Перед помостом, пружинисто расставив ноги, лицом к нам стоял могучего сложения мужчина, слегка пригнувшись под двумя мешками муки на спине. Еще двое мужчин, один русский с бородой, другой чукча в меховых одеждах, держали на весу третий мешок. Русский с опаской в голосе говорил:

— Не выдержишь, Макарушка, жилу сорвешь, поопасись!

— Клади, не бойсь! Я и по четыре носил.

С тремя мешками (это двести сорок килограммов) мужчина, не шатаясь, прошагал наискосок к нашему дому. Когда подавальщики сняли с него один мешок, оставшиеся два, подбросив и как-то ловко извернувшись, Макар ухватил поперек, под мышки. Поднявшись на три ступени крыльца, внес в открытую дверь, возле которой в пару теплого воздуха стояла крупная женщина в ватнике. «Это и есть Афанасьевна!» — шепнул мне Володя. Женщина поразила меня легкостью, с которой, как котенка, взяла мешок из-под одной руки Макара. Положив его к мучному ларю, уступила место, чтобы Макар положил свой. Ласково огладив мужа по спине, бросив короткий взгляд на нас с Володей, женщина сказала:

— Иди, шатун, за стол, передохни, да не задавайся перед посторонними людьми!

Так началось мое знакомство с жителями и историей Островного. Теперь, дорогой мой читатель, надобно вам совершить маленький подвиг воображения.

Вы на высоте тысячи метров. Небо безоблачно, и, хотя солнышко под горизонтом, крупные ориентиры различаются километров за пятьдесят. До предела видимости хаотическое нагромождение сопок. Они расчленены

распадками, по которым белыми ниточками среди зарослей ивняка и лиственниц вьются безымянные речушки. Лиственницы покрывают и склоны сопок. С высоты белые прогалины среди лесной черноты представляются скелетом огромного дерева с сучьями и веточками. Оно отпечатано между сопок на пространстве в сотни квадратных километров.

Восточную часть горизонта стеной заслонил хребет. На темно-голубом фоне неба вы хорошо видите зубчатую линию его вершин, но не различаете составных частей. Они обозначены лишь пятнами и полосами, в которых преобладают сиреневые и фиолетовые тона. Такая картина была бы красивой, если бы не подавляла вашу психику. Это огромное пространство существует по своим, губительным для человека законам. Вы не зависите от них, пока вас держит в высоте это хрупкое сооружение из фанеры, пока работают лошадиные силы, запряженные в хитроумное изобретение человеческого разума. Если истощится запас этих сил, если вы останетесь один на один с этой окаменевшей безжизненностью — вам не на что надеяться. Вы никуда не дойдете, и к вам никто не придет...

Правда, вы знаете, что где-то здесь обитают люди с оленями. Но по обе стороны вы не заметили ни дымков, ни следов. Не удивляйтесь — пространство огромно, а людей мало. На каждое стойбище приходится до тысячи квадратных километров безлюдного пространства, в котором обнаружить человека так же трудно, как иголку в стоге сена.

Я предложил вам представить, что видели мои глаза во вчерашнем полете. Но ведь через эти сопки и горы еще сотни лет назад прошли русские люди. И не на самолете, а пешком! Казалось бы, ничего особенного? Ведь жили и живут здесь люди! Но к этим условиям и физически и психологически аборигены приспосабливались веками. Они не знали других условий жизни, и эти представлялись им вполне естественными. Если сегодняшнего кочевника перенести в условия большого города с его теснотой, шумом и ритмом, чукча психологически надорвется от непривычного. Тевлянто рассказывал, что лишь немногие студенты из народов Севера, жившие в Ленинграде, выдерживали трехлетний срок обучения. Большинство заболело от тоски и чужой для них пищи.

Способность человека приспособливаться к непри-
вычному изумительна. Во всяком случае, остается исто-
рическим фактом, что еще в XVII веке русские казаки
прошли через эти дебри. Материальным подтверждением
их проникновения сюда осталась крепость. При свете
дня я увидел остатки крепостных стен из бревен листвен-
ницы. В былые времена они опоясывали острог с трех
сторон, оставив открытым лишь крутой берег реки. Часть
стен местами повалилась, а часть их употребили на
дрова местные обитатели.

Очень хорошо сохранились крепостные ворота со сто-
рожевой вышкой и частью стены по обе стороны. Все,
что я знал из книг, здесь обретало достоверность исто-
рии, запечатлевшей в этих сооружениях силу и мужество
первопроходцев.

Середину огороженного пространства занимает при-
митивное здание без крыши — казацкая церковь. Теперь
в ней размещаются все имевшиеся в районе учреждения:
райком, райисполком, райфо, районо. Она же была ме-
стом собраний, клубом и библиотекой. Только в райкоме
и райисполкоме штат состоял из двух сотрудников,
остальные учреждения представлял единственный ра-
ботник, а на весь район был один милиционер.

В кругу обветшавших домиков давнишней постройки
обращало на себя внимание новенькое здание из той
же универсальной лиственницы. Мне с гордостью сооб-
щили, что это подарок островитян к дню выборов — шко-
ла-интернат. А в будущем году закончат и районную
больницу на десять коек. Ее фундамент выступал из
снега рядом со школой. Островное приобретало призна-
ки райцентра не только по названию. Несколько доми-
ков и складских строений, общим числом в два десятка,
представляли собой поселок, овеянный легендами труд-
нодоступности.

Эпоха Советской власти наступила здесь в начале
тридцатых годов. До того Островное действительно оста-
валось «затерянным миром». В нем знали, что свергнут
«царь Николашка», что есть новая власть, но какая она,
что даст чукчам, было им неясно. Как и в прежние века,
кочевники жили натуральным хозяйством. Олени давали
им пищу, одежду, жилище, тепло и свет. Высшими авто-
ритетами были шаманы и тойоны — богатые сородичи-
оленоводы.

Первым чукчей этого района, попавшим на материк,

оказался Коольгын. В 1932 году добравшийся сюда уполномоченный послал его делегатом на съезд Советов в Хабаровск. По-русски Коольгын знал три слова: «страстуй», «пирт» и «тую-мать». Ему пришлось плыть на пароходе, увидеть паровоз, трамвай, автомобиль. Открылся новый мир, полный непонятного. Пытаясь объяснить соплеменникам, что такое многоэтажный дом, он не мог подыскать иного сравнения, как «яранги, поставленные одна на другую». Слушателям было невозможно вообразить, как русские «таньги» ставили полукруглую ярангу на другую, на нее третью и так далее.

Во Владивостоке, на Семеновской толкучке, из кармана камлейки у Коольгына исчезли деньги. Если чукча в тундре что-то теряет, об этом знает вся округа. Когда эту вещь находил другой чукча, то она обязательно возвращалась к хозяину. А тут людей — «как комаров в тундре», а денег никто не нашел. О том, что можно украть, Коольгын не имел представления.

Из Чаунской губы Коольгын пробирался домой морем на байдарке. Увидев медленно идущий среди льдов пароход, Коольгын поспешил ему наперерез, размахивая камлейкой. Капитану «Смоленска» Сидневу доложили: «Человек в море, вероятно, терпит бедствие!» Капитан изменил курс, и человека подобрали. Оказалось, Коольгыну надо добраться до бухты Амбарчик. Все равно пароход идет туда, а ему надо потратить много дней. Таковы были нравы еще в тридцатых годах.

Первое, что сделала Советская власть для Островного, — послала туда партийного организатора и учителя. Первым секретарем райкома был Казанский, о котором, кроме фамилии, я тогда ничего не узнал. Но, как и Пугачев в Певеке, он был первым, и этим все сказано. Казанского сменил встреченный нами в Пантелеихе Н. А. Родионов.

Первым учителем в 1933 году приехал Павел Гоман. Он кочевал с чукчами, учился их языку, ел их пищу и обучал русскому языку. Никаких систематических и программных занятий быть не могло. Разговоры с учителем чукчи воспринимали как развлечение в свободное время. Имени и фамилии Гомана они не знали. Учитель — стало его собственным именем. В яранге, где он жил в порядке очереди, как пастух на Руси, собирались все, кто хотел, и старые, и юноши, и дети. Так начинали все первые учителя Чукотки. Они прокладывали первые

борозды в целине сознания и быта этих детей дикой природы.

В 1935 году на смену Павлу Гоману прибыл Георгий Безруков, комсомолец двадцати лет. В 1936 году ему на помощь приехал восемнадцатилетний Николай Хоменко. Эти ребята начали со школы, которую построили своими руками. К ней приделали крохотную комнатку для интерната.

Наиболее трудной задачей оказалось самое простое — набрать учеников. Чукчи боготворят своих детей, и требовалось завоевать большое доверие, чтобы родители отпустили ребенка из стойбища жить в школе. Надо отдать должное — чукчи любознательны, способны и охотно тянутся ко всему новому. Через два года, в зиму с 1936 на 1937 год, у Безрукова и Хоменко появился контингент из нескольких учеников, живущих при школе.

Окрисполком выделил по тем временам огромные средства, и при школе образовался штат, равный штатам всех остальных учреждений. Три учителя (третьим в 1937 году стала жена начальника райфо товарищ Ли), воспитатель при интернате, учитель труда — плотник, повариха и две уборщицы-прачки. Кроме учителей, это были старожилы, но свои обязанности они исполняли ревностно.

На летний период кочевники перегоняли свои стада на просторы тундры, прилегающие к морю, где не было гнуса. Это двести-триста километров от зимних пастбищ в лесной зоне. Чукчи не соглашались оставлять детей в интернате. Боялись за них, да и нужны они были в их натуральном хозяйстве как помощники. Учителя пошли за учениками. С помощью родителей они построили другую школу из плавника. Устье реки Медвежьей близ бухты Амбарчик стало летней резиденцией не только школы, но и всех районных учреждений. Их представителем в Островном оставался заведующий радиостанцией Василий Введенский. Рация появилась здесь в 1935 году. Поступавшие радиogramмы ждали возвращения своих адресатов до зимы.

Следует добавить, что ближайшим населенным пунктом к Островному была Пантелеиха. До нее 165 километров, и это расстояние по горнопересеченной местности на собаках и оленях одолевалось за три-четыре дня. На собаках во внешний мир можно было попасть зимой, летом же только на своих двоих: быстрая и поро-

жистая река Малый Анюй не позволяла использовать лодки.

Несмотря на изолированность, примитивность жизненного уклада, люди в поселке жили дружно, отношения с окрестными кочевниками тоже были дружелюбными и доверчивыми. В самой большой мере это зависело от старших. От секретаря райкома в первую очередь. И от учителей. Это они, пришедшие из мира, в котором утвердились юридические и нравственные нормы нового общественного строя, творчески внедряли их в сознание и быт людей, живших «по старым заветам». Володя не зря восхищался их энтузиазмом. Воспитывая из детей кочевников новых людей, эти ребята росли и сами. Забегая вперед, скажу, что узнал о дальнейшей жизненной карьере Георгия Ивановича Безрукова. Впоследствии он стал секретарем комсомольского райкома, заврайоно, секретарем партийного райкома. Работал в округе и области, а в шестидесятых годах был избран председателем горсовета в крупном промышленном районе Магаданской области — в Сусумане. И такой путь прошли почти все комсомольцы, каких я знал или о которых слышал в те годы на Чукотке.

Мне кажется характерной такая деталь из биографии секретаря Островновского райкома Николая Родионова. До 1937 года существовал партмаксимум. Родионов имел оклад триста пятьдесят рублей, в то время как беспартийный и неграмотный председатель райисполкома чукча Тыльвавтын семьсот пятьдесят. Три года Родионов не знал об отмене партмаксимума, а когда ему начислили разницу, он отдал эти деньги на постройку домика райкома. Отпуск за четыре года зимовки в Островном для Родионова совпал с началом войны. Он уцелел и в сорок пятом демобилизовался начальником политотдела пехотной дивизии. По последним сведениям, Родионов до сих пор на руководящей работе где-то в Амурской области. Всей своей жизнью, беззаветным служением народу Родионов заслужил доверие партии, и ноша ответственности с годами только увеличивалась.

В дни нашего пребывания население Островного бурно переживало весть, что в распоряжение Пантелеиховской торговой конторы прибыли два трактора ЧТЗ. Дело в том, что все нужное для жизни островитяне получали с материка через Колыму. Катера с баржами мог-

ли добраться только до Пантелеихи, где и разгружались. С установлением санного пути все блены и собачьи упряжки района мобилизовались в обозы, которыми годовое снабжение переправлялось в Островное. Эта операция была дорогой, долгой и мучительной как для людей, так и для животных. Теперь засияла надежда, что она ляжет на плечи еще не виданного здесь механического транспорта.

С новыми тракторами прибыли механики-водители, демобилизованные краснофлотцы Константин и Александр Косицыны. Недавно мне стало известно, что эти братья отслужили на своей нелегкой трассе тридцать пять лет бессленно.

Для инструктажа по проведению выборов и получения бюллетеней (до нашего прилета предполагалось — самодельных) в Островное приехало около двадцати представителей кочевых стойбищ. Как и в Певеке, ими были самые авторитетные люди, председатели нацсоветов. Поэтому, когда Макар демонстрировал свой «номер», у него оказалось большое число «болельщиков», кроме местных жителей. Среди них и Тевлянто. Чукчи очень сдержанны в выражении своих эмоций. А тут впервые я наблюдал прорыв национальной традиции. У председателя окрисполкома ничего не осталось от солидности крупного должностного лица. Тонкая корочка цивилизации слетела с него, как будто ее и не было. Когда Макар тронулся с тремя мешками на плечах, экзальтация заинтригованной толпы вылилась в общий вздох и хор «Каккуме!». Забыв обо всем, кричал и Тевлянто. Вместе с другими он забегал вперед, заглядывая в лицо, отдалялся — убедиться, не шатается ли Макар. В кухлянке и торбасах, с непокрытой головой, он был одним из этих простодушных детей леса и тундры.

Но вот спектакль окончился возложением мешков к мучному ларю. Болельщики остались у крыльца обсуждать происшедшее, и Тевлянто заметил нас с Володей. Как бы оправдываясь и гася возбуждение, сказал: «Первый раз такое вижу. Это надо в театре показывать!»

С этой фразой он возвратился в XX век и уже голосом хозяина округа сделал Макару предложение перебраться в Анадырь.

— Найдем хорошую должность, а по праздникам

твою силу будем показывать чукотским людям. Чтобы захотели стать такими же сильными.

— Да куда ему, старому! — всплеснула руками Афанасьевна.

— Молчи, квохтушка! — прервал Макар. — Вот уеду, женюсь на молодой, поплачешь!

Макар был польщен, однако от предложения отказался:

— Спасибо, что отметили, товарищ Тевлянто. Только я непривычен менять места. Здесь, как тот камень, мохом оброс. Да и жена, видите, возражает.

Наталья Афанасьевна была не только пекарем для всего поселка, но и поваром школьного интерната. У нее питались холостяки учителя, а теперь и мы перешли на ее иждивение. Из огромной, непривычной для глаза русской печи она выставила чугунный котел, достаточный, чтобы накормить небольшое стойбище. На деревянные миски навалила из котла куски вареной оленины с небольшим количеством наваристого бульона. Этот первый завтрак, достойный богатырского аппетита, запомнился мне сюрпризом, который преподнес Тевлянто.

— В Ленинграде однажды нас, курсантов, привели в цирк. Там я увидел, как русский шаман из пустого платка достал аквариум с водой и рыбками. Три дня я не мог понять, что мне говорили, все думал: где он взял этих рыбок? Потом узнал, что это называется фокус. Теперь я тоже умею делать фокус.

Убедившись, что мы заинтригованы, Тевлянто раза три хлопнул в ладоши и быстро перенес руки под стол, откуда извлек сверток из пыжикового меха. Обратился ко мне:

— Если, Миша, угадаешь, что в этом пыжике, — отдам свой малахай.

Надо сказать, что малахай Тевлянто давно был для меня предметом вожделения. Выполненный из редкого белого пыжика, отороченный мехом молодого волка, он был изящен и невесом. Его длинные уши, плотно обнимая шею и нижнюю часть лица, сзади скреплялись костяной застежкой. Открытыми оставались лишь глаза. Для дальних поездок лучшего головного убора не придумаешь. Он был бы хорош и для полетов в открытой кабине моего самолета.

Переждав наше оторопелое молчание, Тевлянто развязал сыромятный ремешок и засунул руку в мех. Еще

раз торжествующе оглядев наши лица, резким движением выдернул из меха бутылку шампанского.

В этом первобытном мире около закопченного чукотского котла и деревянных мисок с горками дымящейся оленины оно явилось как серебристо мерцающее чудо цивилизации. Володя захлопал в ладоши.

— Помнишь, Миша, в Анадыре я сказал, что в Островном шампанское за мной. Вот оно, слово Тевлянто, за ветром не ходит!

— Наверное, ты хотел сказать, что слов на ветер не бросаешь? — поправил Володя.

— Ты, комсомольский секретарь, всегда говоришь правильные слова, а я еще плохо знаю русские поговорки. Однако делаю как говорю.

И вот пришел день, которого я так боялся две недели назад. Чтобы он состоялся, с 30 ноября во все концы Чукотки в любую погоду мчались собачьи упряжки и летели самолеты. Сегодня первый чукча станет членом правительства нашей державы.

В назначенный час все население Островного, человек тридцать взрослых, собралось перед зданием новой школы. Председатель райисполкома, молодой чукча Тыльвавтын, открыл митинг, предоставив слово кандидату в депутаты. После короткого выступления Тевлянто секретарь райисполкома Д. А. Кулагин по-русски и по-чукотски прочитал инструкцию о порядке голосования. На этом митинг закончился, мы вошли в школу, получили бюллетени и опустили их в урну, отделенную от зала занавеской. Урной оказался ящик из-под макарон, обвитый красной тканью. Исполнив свой гражданский долг, направились к Афанасьевне завтракать. Поздравив Тевлянто, распечатали в его честь шампанское, уцелевшее на пути из Анадыря.

Заметным событием для островитян наравне с выборами этот день стал и по другой причине. Я решил сделать показательный полет. Поселок опустел. На реке около самолета собрались, что называется, стар и млад. И даже русские во время приготовления самолета к запуску мотора смотрели на меня и Сашу как на волшебников, которые вот-вот сотворят чудо. Сказав, что могу поднять в воздух двоих, спросил, кто хочет полететь. Вызвался голько Безруков. Видя, что среди взрослых смелых нет, он что-то сказал по-чукотски, и из кучки сверстников вышел маленький чукча лет тринадцати. До-

верчиво глядя в глаза учителю, он прижался к нему. Обняв за плечи своего воспитанника, Безруков подвел его к самолету, помог забраться в кабину и сел сам.

После полета их засыпали вопросами, рассматривали и даже ошупывали, как будто они в чем-то стали другими. До темноты я и Саша, даже и Володя, отвечали на множество вопросов, объясняя устройство самолета и почему он летает. Некоторые, в том числе и Мака-р, осмелились посидеть в кабине, с опаской притрагиваясь к приборам и рулям управления.

Для жителей района возникла точка отсчета нового времени. Все, что сегодня видели и слышали, будет передаваться от человека к человеку, от стойбища к стойбищу, обрастая фантастическими подробностями. У кого-то они вызовут страх, а у кого-то — мечты о грядущих переменах в их жизни.

Вечером того дня, провожая меня в «люкс», Володя подтвердил мои ощущения, сказав:

— Завидую я твоей судьбе, Михник! Ты со своим самолетом олицетворяешь могущество человека над природой, временем и пространством. А это совсем другая скорость жизни, конец захолустью со всей его дикостью. Раньше я смотрел на самолеты глазами человека с материка как на полезную вещь, и только. Сегодня, наблюдая страхи и восторги островитян, понял, что это для них «птица революции». А сколько таких мест в Заполярье! И всюду летчики — самые желанные вестники перемен. — Володя вздохнул и после паузы продолжал: — Побывал я у геологов, у твоих ребят на базе, теперь со здешними учителями познакомился. И пришлось мне в голову, когда ты делал полет. Вот люди! Они уедут, а после них останутся облетанные трассы, открытые рудники, построенные школы, а что останется после меня?

— Ну, Володя!.. Только вчера ты говорил, что гордишься своей работой комсомольского организатора...

— Но хочется что-то сделать и своими руками!

— Это я понимаю. Сделать такое, что можно сразу и пощупать, для человека большая радость. Себя творцом чувствуешь. Но есть творческая работа, которую рукой не потрогаешь, а она порою важнее той, какую можно пощупать. Здешние учителя не тем оставят по себе память, что школу построили. Они формируют, если хочешь, создают людей, которые построят новую жизнь

своего народа. И ты участник этой работы — в этом главное.

— Твои слова объясняют, но как-то не утешают. Создают?! Громкое слово! Можешь ли ты, например, назвать человека, который создал тебя смелым и решительным? Наверное, это природное, а не воспитанное?

— Спасибо за комплимент, Володя, но, во-первых, я не всегда и не во всем так смел, как тебе кажется. А во-вторых, ты не прав по сути. Человек рождается чистым, как лист бумаги. Все свои качества, и хорошие и дурные, он приобретает в человеческом общении. В одном его покоряет смелость, в другом настойчивость и так далее. Многие люди были примером и для меня.

— Михник! Ты как-то упомянул о страхе, мне казалось, что он тебе незнаком?

— Ошибаешься, дорогой! Бесстрашных нет, и я не исключение.

— Я не все мог оценить, лежа в хвосте, но дело прошлое — перед взлетом в тумане душа переместилась в пятки. И когда машину от южака спасали, тоже страха натерпелся. А ты?

— Певекский южак захватил меня внезапно, а вот на взлет в Анадыре я решился сознательно. Боялся, конечно, но еще больше боялся, что не выполню задачу.

— Но это уже не страх, а что-то другое.

— Можешь назвать это ответственностью. Есть много вещей, за которые человек боится не меньше, чем за жизнь. За любовь, например, или за честь, свободу. Впрочем, зачем далеко ходить. Вот ты мог бы руководить своими комсомольцами, не выезжая из Анадыря, а напророчился в опасный полет. Что тебя заставило?

— Дело, за которое отвечаю. Но дело делом, а и себя хотелось проверить.

— Чем? Страхом?

— И страхом тоже. В пятом классе моим героем стал Овод. В восьмом Мартин Иден. В десятом — Камо и другие бесстрашные революционеры. И все время меня терзала мысль: а что могу я?

— Ты, Володя, романтик, воспитанный на мужественных идеях революции. Но ведь были другие времена и другие идеи. Например, религиозные или завоевательные. Из-за них люди тоже шли на край света и на жертвы. История каждой идеи написана кровью мил-

лионов ее приверженцев. Меня давно занимает вопрос, какое же из свойств человеческих поставляет бойцов идеям, заставляет терпеть всяческие лишения и рисковать жизнью? Как ты думаешь — что?

— Убежденность, наверное.

— Идеинная убежденность может творить чудеса. Но мне кажется, что она возникает на чем-то, без чего человек уже и не человек. В полете к Островному я ужасался дикости этих мест и думал: а что же чувствовали в этих дебрях темные, суеверные люди семнадцатого века? Они гибли от голода, холода, болезней. Теряли товарищей в боях с туземцами и все же шли. Вроде бы ни идей, ни корыстных мотивов — один страх. Что же было сильнее страха?

Я слышал афоризм, что любовь и голод правят миром. Но думаю, это лишь красивая фраза. Видно, есть что-то другое, как ты говоришь, свойственное человеческой природе?

— Правильно думаешь, Володя! Колумб искал путь в Индию. Спартак — свободы для рабов. Казаки, построившие эту крепость, — край земли. Не любовь и не голод заставляли их идти навстречу лишениям и опасностям.

— Согласен, но что же?

— Над этим вопросом, Володя, ломаем голову не мы первые. В Певеке на эту тему зашел у меня разговор с Вазбуцким. Он как будто ждал такого вопроса и, не говоря ни слова, достал с полки книжицу старинного издания. Прочитав на память, что он прочитал в ней:

«Природа, щедро одарив человека всеми способностями при рождении, этим не удовлетворилась. Она вдохнула в него еще желание превзойти других, вызвать удивление, прославиться. Таким образом, природа на самого человека возложила попечение о своем усовершенствовании. Его ум в непрерывной деятельности силится стяжать почести, признание, и благодаря этому человеческое племя идет от совершенства к совершенству».

Это очень близко подходит к моим мыслям, что стремление к самоутверждению инстинктивно. Это действительно дар природы. Оно питает жажду знания и стремление к лидерству. Человек всегда хочет иметь больше, чем имеет, знать больше, чем знает, сделать то, что кажется невозможным. Автор той книги, по-моему,

прав — дитя человеческое от рождения заряжено желанием быть первым. Естественно, первым среди других людей. Массовые движения, возникающие на идеях своего времени, и предоставляют такую возможность. А ты как думаешь?

— Это любопытная точка зрения, в ней что-то есть, но признать ее за истину почему-то не хочется. Мне, например, когда я вступал в партию, не приходило в голову прославиться. Уверен, что и твой Маслов не силится «стяжать почести». Мой жизненный опыт слишком мал, чтобы возражать, но думается, что честолюбие, погоня за славой не самые лучшие стремления человека. А в общем, я над этим подумаю. Сейчас повторю вопрос, с какого начал, — как мне повернуть свою судьбу? Ведь уже двадцать пять! Посоветуй, что делать?

Твердая позиция и доводы Володи меня смущали. Действительно, к таким, как Маслов, эта теория не имеет отношения. Да и мои убеждения вместе с поступками не объясняются точкой зрения автора той книги. А Володя, упрямо сдвинув брови, требовательно смотрел на меня как на старшего, более мудрого, обязанного знать ответы на все вопросы. Но только последний вопрос не был для меня трудным:

— Ты, Володя, прошел первый класс самоутверждения. Давай этот термин за неимением других оставим. Ты уже много знаешь и умеешь. Главное — умеешь понимать людей, переживать их горе и радости, поддерживать слабых, поощрять сильных. Переходи в следующий класс. Идет третья пятилетка, а страна по-прежнему нуждается в специалистах всякого рода. И не просто в инженерах, а в таких, как ты, — убежденных строителях социализма. Работа в комсомоле подготовила тебя к новой ступени, и я верю, что ты одолеешь ее.

Володя поднялся серьезный и напряженный. Он ушел, а я долго не мог заснуть, ища ответа на вопрос, который немногими словами Володя сделал снова для меня неясным.

Из многого, что мог бы рассказать о пребывании в Островном, я выделил эти мировоззренческие беседы с Володей Столповым. В моем представлении в его лице отобразился новый человек эпохи, типичный представитель поколения, строившего страну и себя.

Вернувшись в Ленинград, поступив в строительный институт, с началом войны он добровольцем пошел в

ополчение и погиб. Без колебаний он отдал жизнь за родной город, свои убеждения и будущее новых поколений. Я горжусь, что был в одном деле с этим светлым парнем.

История Островновского района, самобытные обычаи и нравы, да и сами люди требуют подробного рассказа. Но пусть это сделают историки края. Отмечу лишь, что в косный, патриархальный быт этого района стремительно вошла техника XX века. Первыми ей проложат дорогу тракторы братьев Косицких, через два года и самолеты начнут прилетать регулярно. Появятся кино, радиотрансляция, районная газета, подрастут ученики Безрукова, и в считанные годы Островное прочно вступит в эпоху цивилизации.

При Советской власти такое развитие было естественным для всех отсталых окраин Российской империи. Но Островновскому району выпал счастливый жребий получить дополнительное ускорение. Под оленьими пастбищами геологи обнаружили золото, и оно сказочно преобразовало жизнь в «затерянном мире». В оленьем крае, где не было дорог шире охотничьей тропы, где люди жили в ярангах при свете жирника, возникли автомобильные трассы, поселки с многоэтажными домами и городскими удобствами, а Билибинская атомная станция осветила всю округу электрическим светом.

Еще живы люди, как чудом, восхищавшиеся моим фанерным Р-5, а сейчас они летают к своим стадам на вертолетах, а в Анадырь и в Москву — на реактивных лайнерах. Их дети и внуки поголовно грамотны, а некоторые, окончив институты, работают учителями, врачами, техниками и инженерами. Они уже не представляют свою жизнь без телевизора и транзистора. Островное осталось поселком охотников и оленеводов, так как кочевники почти везде перешли на оседлость. Районный центр переместился к месту золотодобычи и носит имя отважного первооткрывателя золотого клада Юрия Билибина.

ПЛАТА ЗА ОШИБКУ

Выборная кампания завершилась, теперь надо доставить Тевлянто обратно в Анадырь. 9 декабря я успел долететь из Певека до Нижнеколымска потому, что ле-

тел на запад, а маршрут на два градуса широты склонился к югу. Сейчас светлого времени хватит только до Амбарчика, и лишь на второй день я попаду в Певек. Но два дня безоблачной погоды на побережье — дело счастливого случая.

Разглядывая карту, сделал открытие: по прямой, через горы, до Певека всего триста километров вместо восьмисот через Амбарчик. Черт возьми! Зачем же терять два дня, если можно обойтись одним! Лететь через горы, зная, что вынужденная посадка — это почти наверняка катастрофа, конечно, неприятно. Но мотор меня не подводил, а вот погода Певека может. Остаток бензина в баке — на четыре часа, и если непогода заставит вернуться, то застряну в Островном надолго. Этим рисковать нельзя. Надо знать певекскую погоду.

Однако попытки связаться с рацией Певека к успеху не привели. Пять дней, каждое утро томлюсь на радиостанции и не знаю, на что решиться. Отказаться от этого варианта не хочется, а время идет. Эх, была бы здесь хотя бы бочка горючего, я не побоялся бы вылететь и без связи. Расспрашиваю старожилов, где поблизости к Колыме может оказаться авиационный бензин.

Ответ получил у возвратившегося из Пантелеихи Родионова. От землеустроителей он слышал, что на притоке Колымы — Омолоне с прошлого лета базируется геологическая экспедиция Дальстроя. Ее завозили из Магадана и обслуживали самолеты. Там должен быть и бензин. В этих местах, где даже самые малые события становятся известными всей округе, экспедиция не может быть мифом.

Найдя на карте указанное место, увидел, что оно на одной широте с районным центром Чукотки поселком Марково, где я бывал. Расстояние между обоими пунктами шестьсот километров — четыре часа полета. А от Маркова четыре часа до Анадыря. Этот путь вдвое короче маршрута по северному побережью. Здесь устойчивее хорошая погода и светлый день более шести часов. Да и сам маршрут интересен. Он пересекает середину загадочной горной страны, протянувшейся от Ледовитого океана до Охотского моря. Обрадовался: «Вот и выход, лучше не придумаешь. Не искушая судьбу в темноте и плохой погоде на Севере, за два дня доставлю Тевлянто да еще увижу то, что не удалось и Обручеву!»

Так было принято решение, которое по воле фортуны привело к неожиданному повороту событий и сыграло огромную роль в моей карьере полярного летчика. Но прежде я должен дать справку и поведать историю одной биографии, которая начиналась на Омолоне.

Если Колыма считается одной из великих рек земли, то Омолон — достойный брат своей знаменитой сестры. Его истоки в горах близ Охотского моря, на шестьдесят третьей параллели, а устье за Полярным кругом, близ шестьдесят девятой. Большую часть своего тысячекилометрового пути Омолон прорезал в горных теснинах. Речки, впадающие с этих гор в Колыму, золотоносны. Вполне вероятно, что и притоки Омолона содержат россыпное золото. Руководство Дальстроя послало на разведку специальную экспедицию.

В июле 1935 года на только что построенном катере «Комсомолец» изыскатель Баженов, геолог Куликов и двое опытных старателей вышли из бухты Амбарчик. Пройдя вверх по Колыме триста километров, они вошли в устье еще никем не разведанной реки. Населенных мест теперь уже не встретится, а неожиданностей будет предостаточно.

В успехе похода решающая роль принадлежала экипажу катера. Его капитаном назначили тридцатилетнего Григория Лукьянчикова. Несмотря на молодость, Григорий был известен смелостью и находчивостью в трудных условиях плавания по Колыме. В свою команду он сам выбрал матроса и двух мотористов, на каких мог понадеяться.

Участникам пионерского похода довелось свести короткое знакомство с коварным нравом Омолона. В нижнем течении можно было заблудиться в многочисленных протоках меж островов, а позднее совсем не просто найти проход среди мелей и перекатов. Досаждали и порой ставили в опасное положение бурные, всегда неожиданные паводки, когда в верховьях шли дожди. Были моменты — казалось, не спастись катеру, но хладнокровие и опыт капитана выручали экспедицию из самых трудных положений.

За время пути они повстречали лишь одного местного жителя — старика ламута. Он спросил, как поживает царь Николашка. Его соплеменники еще не знали

о переменах в жизни страны. Непочтительное отношение к главе Российской империи в этих краях укоренилось под влиянием ссыльных революционеров.

Пройдя по Омолону приблизительно пятьсот километров, катер уже не мог преодолевать перекаты и поздней осенью благополучно возвратился в Колыму. Баженов же со своими спутниками пошел в верховья пещком. Эта группа претерпела ужасные лишения, пока среди зимы добралась до Магадана, но свою задачу выполнила. Золото было найдено, но не россыпное, а коренное, в кварцевых жилах. По тому времени его разработка была невозможной.

Эта краткая справка дает возможность прикоснуться к удивительной судьбе одного из участников того похода, моториста катера Алексея Аркадьевича Каша. В восемнадцать лет он оказался в числе первооткрывателей мест, не виданных европейцами. Вернувшись с Омолона, поработав в Магадане шофером, слесарем, авиатехником, он выучился на бортмеханика. Перевели в полярную авиацию. В 1948 году, в первой после войны полярной экспедиции, оказался вторым механиком в моем экипаже. Настойчивый и целеустремленный, он сумел переучиться на летчика, что в его годы было уже непростом. И вот в этой роли полностью проявилась его отвага. Потому не случайно именно ему выпала честь первому из советских летчиков поднять свой самолет над Антарктидой в 1956 году.

После многих лет жизни в малообитаемых местах, выйдя из тысячи опасностей, Алексей не смирился с тихой жизнью авиационного пенсионера. Испытав себя шофером московского такси, он вернулся к самолетам на наземную работу. И вскоре снова втянулся в трудное и небезопасное предприятие, удивительное даже для наших дней.

Анатолий Савельевич Янцелевич — капитан дальнего плавания. Его имя широко известно на флоте. С 1956 года он почти ежегодно водит свой корабль к берегам Антарктиды. Казалось бы, для жизни одного человека неизведанного достаточно. Но Янцелевичу оказалось мало. Он задумал выполнить поход по маршрутам арктических первопроходцев. Для этой цели на свои средства построил парусно-моторный швертбот (тип

яхты) и пригласил в спутники старого знакомого по арктическим походам Алексея Каша.

Суденышко было названо «Пингвином».

За десять (!) летних отпусков Янцелевич и Каш провели «Пингвина» из Москвы в Белое море, далее по Северному морскому пути дошли до устья Колымы и поднялись по ней до верховьев. По магаданской трассе на трайлере «Пингвина» перевезли в бухту Нагаева, откуда своим ходом дошли до Хабаровска. Здесь зимой по вине местных хранителей «Пингвин» сгорел дотла. Тяжело пережив эту потерю, аргонавты не сдались. На польской надувной лодке с подвесным мотором по речным системам они добрались до Улан-Удэ.

В 1976 году Янцелевич, вернувшись в июне из очередного похода в Антарктику, вместе с Алексеем Кашем по реке Селенге спустились в Байкал и по Ангаре дошли до Енисейска. Свой многолетний поход эти рыцари трудных дорог намереваются завершить в Москве, вероятно, в 1978 году.

Смотрят на это предприятие по-разному. Люди ленивые и нелюбопытные осуждают. Другие считают блажью одержимых чудаков. Но известно, что разного рода «чудаки» немало содействовали прогрессу человеческого знания и опыта. Наши путешественники не открыли новых земель или научных законов, но существенно увеличили знание того, *что может человек* нашего комфортного времени. Замечу, что энтузиасты никем не финансируются. Не считая времени отпусков, все затраты несут за свой счет.

Мне эта история представляется по-настоящему романтической и поучительной. Сам испытав немало всякого, я поражаюсь их фантастической целеустремленности. Даже совсем не искушенный в подобных делах легко представит, сколько энергии, предприимчивости и даже простой физической выносливости потребовало такое предприятие от его участников.

Поистине молод не тот, кому двадцать лет. Янцелевичу и Кашу под шестьдесят! Отражая атаку лет, они сохраняют душевную и физическую молодость до преклонного возраста. Я горжусь этими современниками, их отвагой и тем, что лично знаю их. А смысл этого рассказа сопрягается с рассуждениями о судьбе, которые я предложу читателю в конце этой повести.

Принимая решение лететь на Омолон, я понимал, что оно базируется на зыбкой почве сведений из третьих рук. Но идея этого полета уже завладела мною. Когда человек чего-то хочет, он находит много оправданий своему желанию и склонен игнорировать все, что против. Надо бы через Нижнеколымск и Магадан добиться связи с этой экспедицией, но опыт показал, что на это тратится не день и не два. А запасы терпения уже исчерпались. Рассуждаю так:

«Два часа полета. Бензина хватит, чтобы вернуться в Пантелеиху. Если не найду экспедицию, выпрошу у землеустроителей еще бочку бензина, и ее хватит до Амбарчика. Но это крайний случай. Если эта экспедиция существует, я ее найду. Избавлюсь от многих страхов и быстро решу свою задачу».

Успокоив себя, советуюсь с Моховым:

— Саша! Чукотка для нас своя территория, там не пропадем, а Омолон — это «заграница». Здесь все для нас, как говорится, покрыто «неизвестным мраком». Может, подождем связи, а то опять вслепую?!

Бортмеханика не терзали сомнения командира. Ответил не задумываясь:

— А нам не привыкать! Бездарно потеряли неделю хорошей погоды, не дай бог запуржит. Надо срываться! Делай как решил! Через сорок минут самолет будет готов, смотри, чтобы Тевлянто не задержал!

Вспоминая свои просчеты, я задумывался над природой ошибок, которые ставили меня на опасную грань. Не имея достаточных данных для верного решения, я рисковал. Но ведь не глупость — обстоятельства вынуждали. Жажда победы над обстоятельствами — это для человека норма. Можно оказаться побежденным только потому, что побоялся риска. Овто умер бы, если бы я не полетел с ним в ту погоду. А где бы я был сейчас, если бы на каждом этапе полета из Анадыря ожидал связи и хорошей погоды? Победа потому и называется победой, что добывается решимостью в борьбе с неизвестным!

И в этот раз, ища подкрепления своему решению, я легко согласился, что поступаю правильно. И не было бы того, что произошло в полете, не вмешайся непредвиденное.

В серьезных делах, как студенту перед экзаменом, нам часто не хватает еще одного часа. Все Островное

знало, что с часу на час мы улетим, но когда пришел этот час, то выяснилось, что островитяне не готовы расстаться с нами. Точнее — с председателем окрисполкома Тевлянто. Впервые он появился здесь, и неизвестно, когда появится снова. При энергичной поддержке Тевлянто Родионов уговорил меня задержаться «еще на часок». Однако деловые разговоры превратились в «отвальную», сопровождавшуюся местной бражкой, которую искусно приготавливала Афанасьевна на изюме.

Когда я увидел, что на столе появились бутылки, надо было сразу махнуть рукой на пропащий день, но я дважды приходил за Тевлянто, а на третий вспылил и чуть ли не за руку увел за собой. Компания расстроилась, и ничего не оставалось, как вылететь, хотя резерва светлого времени почти не было. Взлетал без радости, томило ощущение, что делаю ошибку. Я уже обругал себя рабом собственных решений. Самолюбивым упрямым, для которого важно настоять на своем.

На шестьдесят восьмом градусе широты солнышко в декабре не всходит, но, набрав полторы тысячи метров, я увидел его. Янтарным желтком оно плыло над горизонтом. Местность под самолетом оставалась в тени земной выпуклости, и лишь вершины Анюйских хребтов холодно желтели на синем фоне. Эта панорама могла бы восхитить, но я чувствовал лишь неприязнь к самому себе и неуверенность в том, что ждет меня в ближайшие часы.

Через сорок пять минут самолет пересек границу лесной зоны, окружавшей Островное. Впереди открылась местность холмистая, но безлесная. У края леса усмотрел небольшое, голов на пятьсот, оленье стадо и четыре яранги при нем. По здешним понятиям это стойбище бедняка, а для меня последняя зацепка за обитаемое место. Так и эдак поворачивая карту, я не смог определить его координаты. Изображенное на карте не совпадало с тем, что видели глаза. Мелькнувшая мысль о возврате сюда тут же отпала. Если не найду экспедицию, заночевать придется там, где застанет темнота.

Скорость перемещения самолета к южным широтам какое-то время опережала склонение солнца, и оно приподнималось над горизонтом. «Ого! Похоже, успею выйти на Омолон еще при солнечном свете!» В зеркало поглядываю на Сашу. Вот он заметил мой вопрошающий взгляд и как-то виновато покрутил головой, давая

знать, что связи нет. Меня это не огорчило. И не из таких положений мы с ним выходили! Мне казалось, что в рискованных обстоятельствах я доверяю свою жизнь безотказности мотора. Сейчас с братской нежностью подумалось: «Нет, не мотору, а золотым рукам и светлой голове своего механика я обязан больше всего...»

Какой-то неосознанный импульс переключил мое внимание на внешнюю среду. Впереди, справа и слева до предела видимости простиралась местность, на которой не за что было уцепиться глазу. Ни единой черной точки. Из-за края земли красным глазом выглядывало огромное чудище. Внизу, за красными склонами бугров, стлались длинные серые тени. Подобно застывшим волнам, в безбрежную даль уходила выпуклая подстилающая поверхность. Как будто одноглазое чудище подгрестило ее под себя. И горы с левого борта, легшие на горизонт сиренево-фиолетовым облаком, представились огромной рукой одноглазого.

Жуткое ощущение нереальности, пронзительное чувство незащитности в этом замороженном пространстве охватили все мое существо. Будто подо мной чужая, беспощадная ко всему живому планета. Стало душно, и я зажмурился. Красно-серая белизна превратилась в радужные круги и звездное мелькание. Глубоко дышу, сердце частит, пульсация крови покалывает левый висок. Медленно считаю: двадцать один, двадцать два... Усилиями мысли изо всех сил отталкиваюсь от дьявольского наваждения. На десятой секунде в голове прояснилось, открываю глаза, осматриваюсь...

Фу ты, черт! Может же такое почудиться! И с чего это разыгралось мое воображение? А может, это форма предчувствия, так сказать, сигнал с того света? Нет, обычное закатное солнце, вечерние тени на земле, неразличимая в деталях полоска гор на востоке. Пространство действительно огромное для одного человека, но есть же у него конец! На память пришли другие эпизоды, когда неживое пространство казалось угрожающим, но я же побеждал его! В зеркало вижу спокойно оглядывающего окрестности Сашу. Возникло робкое чувство гордости. Никто нас не загонял сюда. Настроенные снова стало боевым. Ну и что с того, что сегодня это пустыня! Завтра придут люди и преобразят ее. И сейчас мы здесь не одни. Эти люди где-то здесь есть. Я должен найти их!

А мотор усердно крутит пропеллер, и самолет все дальше перемещается к югу. Однако солнышко не пожелало оправдать моих ожиданий. С неуместной быстротой, как-то неожиданно, оставив розовое сияние на небе, оно упало за горизонт. Но на белизне тундры уже появилась черная полоска. Ею мог обозначить себя только лес на берегах большой реки. Цель полета мнилась близкой, но прошло еще долгих двадцать минут, прежде чем я увидел под собой Омогон. Сомневаться в этом не было причин. Ширина более километра, а острова и берега покрыты рослыми обитателями умеренных широт. Тополь, береза, ольха легко отличались от лиственниц и радовали, как встреча с давнишними и добрыми знакомыми.

Курс от Островного я проложил заведомо правее пункта назначения. Смысл простой — если сразу не увижу поселка, то не стану сомневаться, куда повернуть. Выйдя на реку, я развернулся влево. Минут через пять-шесть должны появиться дома экспедиции. Но проходит десять, двенадцать, пятнадцать минут напряженного ожидания, а на снежной целине ни одной тропинки, проложенной пешим или санным человеком. В душе стремительно растет тревога.

Темнеющее небо отражается от белой поверхности сумеречно-синими тонами. Как-то быстро исчезла оранжевая подсветка от вечерней зари. Горы, которые теперь были впереди, так и остались темно-фиолетовой линией на восточном горизонте. Теряюсь в догадках: в чем же дело? Может, неточно указано место? А может, эта экспедиция — плод чьего-то воображения? Если так, то я лечу навстречу своей гибели. В эту жуть не верилось. Наверное, все погибшие до последнего не верили, что идет их последний час.

Однако надо что-то предпринять. В зеркало вижу, что Мохов ждет моего взгляда, в его глазах тревога. Ладонью правой руки показываю с наклоном вниз — знак, что готовлюсь к посадке. Он заулыбался, вероятно, подумал, что близко поселок. Разубеждать не стал.

Изучаю возможность вынужденной посадки. По кустарнику определяю, что глубина снежного покрова намного больше метра и его никогда не уплотнял ветер. Из такого рыхлого снега не взлетишь. У поворотов реки темнеют промоины. Это значит, что река быстрая,

лед на ней прирастает медленно и под таким пуховым одеялом может оказаться непрочным...

На исходе двадцатая минута полета над рекой. Все без перемен, и это страшно. В таких случаях летчики говорят «запахло жареным». На память пришел разговор с Володей о страхе. Весной тридцать шестого мне пришлось разыскивать в море возле Уэлена охотников-эскимосов, оторванных на льдине от берега. Стоял туман, и, имея под собой десять метров высоты, я уходил далеко в море. Осенью того же года, на трясучем моторе прорезая снежные заряды, четыре часа со штурманом Морозовым и Сашей Моховым я летел над проливом Де-Лонга, делая разведку для каравана. В обоих случаях нервы вибрировали. Но я знал: если погибну, никто не осудит, я выполнял свой долг. Страх был как бы рядом, он не мутил сознания, скорее наоборот, возбуждал азартную удачу: нас не запугаешь!

Сейчас все было иначе. Я не находил себе оправдания ни за поздний вылет, ни за опрометчивость, с какой принял на веру сведения об экспедиции. Да и необходимости, строго говоря, не было. Подумаешь, неделей позже я прилетел бы в Анадырь!

Шла двадцать пятая минута полета над рекой. Появились звезды, и я всей кожей ощущал, что чувствует мышь, попавшая в мышеловку...

Надо немедленно делать посадку. Надеяться не на что. Но я продолжаю оттягивать неизбежное. Детали поверхности уже неразличимы, только черное отделяется от белого. Испуг ударил в голову — ведь через две-три минуты все сольется в одну темную краску, я не определю глубины и побью машину! Рука сама потянула сектор газа, и самолет опустил нос. Переваливаю какую-то горушку вплотную над вершинами деревьев, круто снижаюсь на реку, и вдруг... в боковое поле зрения справа попала искра света и исчезла за деревьями. Даю газ, разворачиваюсь и ясно вижу огни.

Нервное напряжение достигло такого предела, что я не поверил тому, что видел. Галлюцинация! Почему огни в лесу, а на свободном пространстве ни дорог, ни строений? Кладу машину в вираж — огоньки не исчезают. Стало жарко, во рту пересохло, язык заполнил весь рот. Кружусь над загадочными огнями. Крохотная вначале, надежда с каждым мгновением растет, переходит в горячее ликование — спасен!

Из леса (теперь рассмотрел поляну и контуры домов по опушке) бегут темные фигурки. Они бегут на протоку, перпендикулярную руслу реки. У самого берега загораются два входных костра. Только авиационные люди могли так быстро сообразить, что мне нужнее всего. Планирую. Сердце бьется у горла. Между кострами погружаюсь в пух. Испытываю невыразимое ощущение земной тверди.

Самолет замедляет бег. Справа возвышенный берег чернеет стеной, над ней звезды. Опасаясь застрять в глубоком снегу, с ходу разворачиваюсь. Темнота усугубилась метелью, поднятой струей от винта. Вынужден остановиться, чтобы видеть, куда рулить. Проваливаясь в снегу, к самолету бежит человек. Он взбирается на подножку и, тяжело дыша, кричит мне в ухо:

— Рулите, товарищ командир, вон туда, к стоянке, я буду показывать.

Рулите! Товарищ командир! Стоянка! Эти слова мог сказать только авиатор. Душевное напряжение, державшее меня, как пловца на поверхности, исчезло в один миг, а тело, ощутившее опору, расслабилось, отдавшись изнеможению.

Как по-разному ощущается нами время. Иногда и день как падающая звезда: не успеешь всмотреться — погасла. Меньше трех часов отделяет меня от взлета в Островном, но это было давным-давно... Чувство благодарности к спасшему меня чуду олицетворяется в первом на этой земле человеке. Преодолев спазм бессилия, спрашиваю:

— Кто вы? Как зовут?

— Моторист базы Мансуров Саша!

Через три минуты выключаю мотор возле кучки людей, не различая их лиц. Тихо. Потрескивает остывающий мотор, а я сижу в кабине, не имея сил и желания покинуть ее. Только испытав так остро близость неправимого, можно понять, какое это счастье вот так просто быть... среди людей...

В МОСКВУ

Опираясь на прошлогоднюю разведку Баженова, в 1936 году Дальстрой направил на Омолон рабочих для постройки геологоразведочной базы. Этот десант возглавил человек уже в годах, но сохранивший в себе

веселую и кипучую энергию южанина, — Донат Мовсеян. Он выбрал место близ крупного притока под названием Большой Олой. (Точка, указанная мне в Островном, была ниже по течению Омолона километров на шестьдесят.) Весной 1937 года база приняла самолеты из Магадана. Они доставили геологов и других специалистов. До осени пешком, на лодках и самолетах Ш-2 геологи обследовали значительную часть территории, тяготеющей к базе. С геологическим молотком и нивелиром эти люди первыми вторглись с запада в загадочное Анадырское нагорье. Я застал экспедицию в стадии камеральных работ.

С геологами до весны осталась зимовать группа авиаспециалистов. Летчик Павел Сысоев, штурман Николай Пьянков, инженер Солдатенков, авиатехник Демидов и мотористы Валентин Желтухин и Александр Мансуров. Старшему из них было двадцать шесть. Эти славные ребята, соскучившиеся по своей работе, приняли мой экипаж с распростертыми объятиями.

Сожалею, что не имею возможности рассказывать о делах и людях этой экспедиции. Полагаю, в истории Дальстроя она не забыта, потому возвращаюсь к теме своей повести. Но сначала несколько слов о Мансурове. Из мимолетного знакомого ему было суждено стать моим соратником и другом.

В общении с авиаторами экспедиции заметил, что этот парнишка заметно выделяется своей интеллигентностью. Выяснил, что он вырос в детдоме, в Москве окончил рабфак и поступил в институт иностранных языков. Нет, никакого природного тяготения к этой карьере у него не было. Как и многие, соблазнился на красивое звучание института. В каникулы 1936 года нанялся сопровождать во Владивосток железнодорожные платформы с самолетами Дальстроя. Юноше, всем обязанному Советской власти, воспитанному на революционной романтике, нужен был небольшой толчок, чтобы соблазниться испытать себя на трудном в дальних краях. Так в двадцать три года Факив (мы его называли Саша Мансуров) оказался мотористом в Омолонской экспедиции.

Мне импонировали люди, искавшие в этих местах не длинный рубль, а призвание. Я пригласил его перевестись в Чукотский отряд. Там он выучился на бортмеханика и вместо переводчика с английского стал про-

фессиональным полярным авиатором. Безупречно прослужив полярной авиации пятнадцать лет, по воле случая вынужден был пройти проверку на гражданскую зрелость и верность своему призванию. Работая в воздушной экспедиции на реке Анабаре, Саша проявил самоотверженность, спасая свой самолет в момент стихийного бедствия. Самолет спас, но получил инвалидность и преждевременную пенсию. В судьбе Мансурова проявилась та беззаветность, с какой потомки древних землепроходцев только и смогли покорить суровую твердыню Заполярья.

На четвертый день нашего гостевания в экспедиции ее радистам Соколову и Володе Кузнецову удалось установить связь с Марковым. Погода сохранялась безоблачной, и я был уверен, что на следующий день буду на Чукотке. Но, как говорится, человек предполагает, а судьба располагает. Ночью пришла правительственная «молния». Секретарь ЦИК СССР Енукидзе поздравлял Тевлянто с избранием в депутаты и предлагал прибыть 12 января 1938 года на первую сессию Верховного Совета. Как прибыть, не указывалось, так как в Москве не знали его местонахождения, и «молния» дошла до нас через Анадырь.

Надо ли говорить, как взбудоражило нас это сообщение! С какой надеждой смотрел на меня депутат Чукотки! Ведь выбраться из этой глуши совсем не просто.

На стене радиорубки школьная карта страны. Москва на дальнем ее конце. Тринадцать тысяч километров гипнотизируют мое воображение. Ближайшая авиационная трасса начинается в Якутске. От расположения экспедиции надо преодолеть горный водораздел между Омолоном и Колымой. По ней пролететь до верховьев, пересечь хребет Черского, Индигирку, за ней Верхоянский хребет и Алдан. Со всеми изгибами пути это три тысячи километров. Но каких! Они стоят оставшихся десяти. Нет, этот полет — фантастика! Он по плечу лишь таким авиазубрам, как Водопьянов. У меня нет ни опыта, ни карт. Нигде меня не ждут, и, наконец, нет главного — разрешения на такой полет.

Взволнованно хожу по кубрику, в десятый раз смотрю на карту, измеряю расстояния, расспрашиваю о Ко-

лыме начальника экспедиции Новикова, взвешиваю свои силы и ответственность. Понимаю, что сегодняшнее мое решение определит мою судьбу. Сколько шансов решить такую задачу? Даже одна вынужденная посадка в необитаемом месте сведет на нет все усилия.

Вспомнился завет Конкина: в сомнительных случаях не дрейфить и полагаться на здравый смысл. Никакая инструкция не могла предусмотреть такой ситуации. Пока придут указания — депутат на сессию опоздает. Надо действовать, и не теряя часа!

Вместе с Тевлянто принимаем такое решение:

Он посылает «молнию» начальнику Главсевморпути О. Ю. Шмидту с просьбой лететь на запад моим самолетом. И мы, не ожидая ответа, вылетаем в Усть-Утиную. Это поселок Дальстроя в верховьях Колымы, на пути к Якутску. Там ждем ответа. Если разрешение получим, летим дальше, но первые девятьсот километров будут позади. Если Шмидт откажет — разворачиваемся на Магадан и возвращаемся на Чукотку.

25 декабря в Верхнеколымске было ясно, и меня не смущала облачность в месте вылета. Но в середине пути, в горах за водоразделом между Омолоном и Колымой, снегопад вынудил меня снизиться до бреющего полета, и здесь-то я по-настоящему прочувствовал, что значит попасть в мышеловку.

Колымский снегопад сродни тропическому ливню, когда он обрушивается непроглядной стеной... Только здесь этот ливень из крупных, чуть ли не с ладонь, хлопьев снега. Подо мной чернота леса, в которой извивается белая полоска реки. Видимость нулевая, я не могу отойти от этой белой ниточки и на двадцать метров, лишь в последнее мгновение увертываясь от очередной скалы на повороте. Прodelав такой смертельный номер раз пятнадцать, почувствовал, что больше не могу. Нервная система не выдерживала ожидания прямого удара, который был неизбежен, если я опоздаю с реакцией на черноту высокого берега, который обтекает река. Инстинкт самосохранения кричал во мне: «Что ты делаешь! Убери газ, садись, убьешься!»

Но сесть — это не значит спастись. Даже не поломав машину, пропадешь. Взлететь из этого снега невозможно. Так трезвый рассудок боролся с паникой инстинкта ни много ни мало пятьдесят минут. Надо ли говорить,

сколь длинными они показались? И вот снова чудо. У самого устья Коркодона самолет выскочил из снегопада, как из стены, на абсолютно ясную погоду. Я набирал высоту и радовался, что подчинился рассудку, а не инстинкту.

Много раз я удивлялся, что здравый смысл всегда оказывался правым. Выйдя на Колыму, я критически посмотрел на свой план посадки в Верхнеколымске. До него двести километров, которые удалят меня от Утиной. А до Утиной сейчас чуть больше четырехсот. Но бензина хватает, и светлого времени хотя и в обрез, но тоже хватит. Зачем же терять день, который может оказаться важным в моем расчете?

Я повернул на Утиную. Правда, на подлете попал под низкую облачность, но бреющим полетом успел дойти, когда в окнах домов уже горел свет. На реке увидел створ из елочек, а между ними полосу, укатанную трактором. С ходу убрал газ и плюхнулся между елочек. Впервые за три года после Москвы я сидел не где придется, а на площадку, специально приготовленную для самолетов.

С 26 по 29 декабря Утиную засыпал снегопад, который я миновал над Коркодонам. Вылетать было нельзя, но и ответ еще не поступал. Он пришел к концу снежного ливня, и я порадовался, что сейчас сижу не в Верхнеколымске. Мне было разрешено лететь до Якутска, где сдать Тевлянто местным летчикам.

31 декабря, оставив Володю Столопова в Утиной добираться домой через Магадан, мы преодолели самую высокую часть хребта Черского и опустились в поселке Дальстроя Берелех. Можно без конца описывать неожиданности полета и переживания летчика. Скажу кратко, что и в этот раз в горных теснинах меня зажали облака. Перевал закрыт, и развернуться уже нельзя. Оставалось, что называется, перекрестясь, на полном газу карабкаться вверх по прямой.

Я выкарабкался за облака на высоте почти трех тысяч метров. Но это еще полдела. Оставалось неизвестным (связи не было), открыт ли Берелех. На мое счастье, облака закрывали только хребет. Так новый, 1938 год мы встретили в домике начальника горногеологического района Семена Раковского.

1 января вылетели к устью реки Нера. На этом притоке Индигирки базировалась геологическая экспедиция

одного из основателей Дальстроя В. А. Цареградского. Здесь я впервые заблудился, не распознав Индигирку и пролетев по ней вверх километров за сто пятьдесят дальше Усть-Неры. Посадку сделал опять в темноте, как выяснилось, невдалеке от Полюса холода — поселка Оймякон.

Утром Саше удалось связаться с радистами Цареградского. Нас видели (их поселок тоже был в лесу) и ждали вызова. Место моей посадки было на пути в Якутск, но Цареградский очень просил возвратиться к нему. Я ответил, что в этом случае мне не хватит горючего до Крест-Хольджая на Алдане. Он заверил, что отдаст последние сто литров, припасенные для рации. Все 109 человек его экспедиции были завербованы в Иркутске и полгода не имели связи с близкими. Моя оказия с письмами была для них дороже временной утраты связи с Магаданом.

К сожалению, я не могу уже рассказывать об этой замечательной экспедиции и ее начальнике Валентине Цареградском. Замечательной хотя бы потому, что впервые в истории авиации того времени она до последнего гвоздя была переброшена в это недоступное место самолетами. А ее начальник интересен не только как пионер Колымы, но и как личность.

Переночевав у Цареградского, 3 января я опустился в Якутском аэропорту, у пионера полярной авиации Виктора Галышева. Здесь по просьбе Тевлянто получил разрешение лететь дальше и 7 января приземлился в Иркутске. До Москвы следовал, придерживаясь линии Транссибирской железной дороги.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

В этой книге рассказать удалось лишь о половине событий, связанных с выборами депутата Чукотки и полетом в Москву. Не желая оставить читателя в полном неведении, скажу лишь, что задача, представлявшаяся мне на Омолоне невыполнимой, была успешно решена. Я добрался до Москвы, а Тевлянто успел на сессию.

Этот перелет мог состояться благодаря помощи многих самых разных, совсем незнакомых людей. Они повсеместно проявили дружеское участие и бескорыстие, к которому никто их не обязывал и которое ничем не будет

вознаграждено. Всех их объединяло лишь то, что они новые люди, воспитанные советским строем.

До самого Якутска я летел по копированным картам, которые ночами мне готовили геологи Дальстроя. Радисты и метеорологи старались обеспечить меня сведениями о погоде. Везде нам давали кров и пищу, а самолету бензин. Нас безвозмездно приютили в своей юрте якуты после вынужденной посадки близ Оймякона. Всем этим людям я очень обязан. Спасибо им великое.

На Чукотку я возвратился через четыре месяца после взлета в Анадырском порту Виктора Остроушенко. Возвратился с первым своим орденом Красной Звезды за проводку каравана в 1936 году. В Москве я получил новый двухмоторный самолет Г-1, со мной возвратились и Тевлянто и Саша Мохов. На двух самолетах Р-5 следом шло подкрепление Чукотскому отряду с великолепными летчиками А. Н. Старовым и М. Н. Томилиным.

К осени 1938 года на свой риск и страх из Певека, Уэлена и Анадыря я собрал группу чукотских юношей, и идея аэроклуба осуществилась на практике. Весь отряд с энтузиазмом включился в обучение этих ребят, зырянных из первобытных яранг. Целую зиму мы учили их русскому языку, арифметике, основам летного дела и умению носить европейский костюм, включая галстук.

До лета 1939 года Миша Томилин пятерых курсантов выучил летать на самолете У-2. Тогдашний начальник полярной авиации, один из героев высадки группы Папанина на Северном полюсе, И. П. Мазурук, принял горячее участие в этих ребятах, и с его помощью Томилин закончил их обучение на самолетах Р-5 в Тамбовском училище ГВФ. Так чукотский народ получил первых своих профессиональных летчиков задолго до срока, намеченного Тевлянто.

Удовлетворив свое стремление сделать что-то заметное своими руками и выполнив клятву, данную над могилой Тымнеро, я мог со спокойной совестью вернуться в Москву. В Арктику стал летать рядовым летчиком от Московской авиагруппы полярной авиации.

Дорогой мой читатель! По правде говоря, мне жаль расставаться с Чукоткой, на которой мы с вами прожили два года. Жаль потому, что впереди было еще много

интересного. Авиационное освоение Чукотки, как сказано, завершилось приобщением к летному делу самих чукчей. Они, эти отважные юноши, наглядно доказали справедливость убеждения коммунистов, что национальная отсталость зависит не от природы, не от расы или цвета кожи, а от социальных условий. Измените условия — и чукчи будут летать наравне с другими! Вот что доказал этот эксперимент!

По милости фортуны у меня оказалось впереди много лет и дел не менее интересных. Мне посчастливилось быть одним из открывателей Полюса недоступности, пройти войну командиром тяжелого ночного бомбардировщика, участвовать в ряде полюсных экспедиций послевоенного времени, которые завершились для меня зимовкой на дрейфующей станции. Особо горжусь участием в борьбе за признание принципиально нового, внеаэродромного самолета О. К. Антонова Ан-2. Я вводил в Арктику первый самолет нулевой серии, когда он еще не поступил в эксплуатацию на материке. И наконец, дважды я был осчастливлен участием в антарктических экспедициях. Мне удалось заснять для карты свыше пяти тысяч километров наименее исследованного побережья этого материка.

Я сознаю себя счастливым, которому многое удалось. Вот почему посчитал я своим долгом, как умею, рассказать о людях, которые сделали так много. Они, мои современники, совершили подвиг покорения самых суровых окраин планеты, и подвиг этот не должен остаться забытым.

Я принадлежу к поколению, которое видело живых городских и не по книгам знает, чем была Российская империя. Поэтому не устану повторять, что все перемены в жизни чукчей — закономерное следствие Октябрьской революции, результат самоотверженной работы и братской помощи других народов, в первую очередь русского.

О себе скажу, что, уезжая на Чукотку, я практически ничего не знал о ней, не знал, с кем сведет судьба, и очень мало знал о самом себе. Лышу себя надеждой, что моя повесть ободрит тех молодых людей, которые так же, как и я в те годы, не знают еще, что они могут. Человек может гораздо больше, чем он предполагает. Не надо только стоять спиной к ветру.

На этом послесловии я мог бы поставить точку, но

опасаюсь, что некоторым покажется, что мне просто повезло на интересную судьбу, что не все смогут добыть такую или похожую, следовательно, не стоит и рисковать. Потому выскажу свой взгляд на судьбу.

Молодость снабжает человека отвагой, но не вооружает опытом. Опыт добывается в процессе труда и подчас дорогой ценой. Но, добытый и разумно усвоенный, он позволяет одолеть дорогу к самой трудной цели. Когда говорят: «судьба», то многие видят за этим что-то мистическое, заранее предопределенное и от самого человека мало зависящее. Вроде бы он должен покориться тому, что «на роду написано».

Напомню вам, читатель, что анадырская прокуратура формально, соединяя действительные факты (и описанные мною), сделала выводы, которые могли бесславно завершить мою авиационную карьеру. Ответственный работник прокуратуры Грызлов, как мне казалось, сожалел, что выборная кампания не позволяла ему немедленно реализовать эти выводы. Все зависело от того, как я справлюсь с поставленной мне задачей, и можно сказать, что моя судьба оказалась в моих собственных руках. До самого Певека я не забывал об этом. Но не страх заставлял меня рисковать. Даже если бы ничто не угрожало моему благополучию, я поступил бы так, как поступал. Это дело характера и мировоззрения.

Часто и справедливо говорят, что каждый сам делает свою судьбу. Читая эту повесть, некоторые подумают, что мне «везло». Согласен, что личную удачливость совсем скидывать со счетов нельзя. Но нет ли в ней, удачливости, чего-то предопределенного поступками самого человека? И не только поступками, а и мыслью, в которой выражается его наблюдательность, предусмотрительность, опыт и расчет. Все то, что определяет понятие интуиции, если к этому еще прибавить и творческое воображение.

Я не сидел сложа руки, когда требовалось действие. Трудная жизнь на Чукотке учила не унывать, а бороться, видеть ошибки и смело распоряжаться добытым опытом. И еще очень важному — самостоятельно мыслить и действовать сообразно обстановке. Так получилось, что решительными действиями на коротком отрезке времени — от вылета в Анадыре и до посадки в Певеке — я коренным образом изменил уготованную мне товарищем Грызловым судьбу.

Написал это и подумал: «Вот и выдал сам себе похвальный лист!» Но мною не руководит самолюбие или тщеславие молодости, и хочется повернуть вопрос в другую плоскость.

Читая и слыша высокое слово «освоение», будь то в Арктике тридцатых годов или в космосе и на БАМе семидесятых, многим представляется что-то грандиозное, от нас мало зависящее. Так думал и я. Но, проведя караван О. Ю. Шмидта в октябре 1936 года, а потом эту кампанию по выборам, я понял, что государство и я — понятия не столь уж отдаленные. Каждое «я» — значимая величина в деятельности государства. Люди — это деятельные молекулы всего организма. Государство тогда сильно, когда каждая молекула совершает свою работу с полной отдачей сил и не уклоняясь от личной ответственности.

Надо иметь, а если не имеешь — приобретать то, от чего зависит успех в жизни. Целеустремленность! Настойчивость! Желание добиться большего, чем имеешь! Силу воли для смелых решений!

Конечно, в жизни встречаются ловкачи, добивающиеся внешнего успеха и делающие свою карьеру чужими руками. Но их процент невелик, хотя порой кажется иное. Судьбу, достойную людского уважения, приобретают люди добросовестные и порядочные по отношению к людям и своему общественному долгу. Таких людей вы видели в моей повести. Для человека нет награды выше людского уважения и гордости сделанным своими руками. Так, на мой взгляд, смыкается судьба человека с тем, что он сам для нее делает.

ЭПИЛОГ

28 января 1938 года. Москва. Главсевморпуть. Кабинет исполняющего обязанности начальника полярной авиации Цатурова. То ли осетин, то ли дагестанец с выразительными черными глазами, худощавый, энергичный, Цатуров, поздоровавшись и указывая мне на стул против себя, сказал:

— Везет же полярным летчикам. Слава по пятам за ними ходит!

Не зная, как понять эти слова, я ответил вопросом:

— Вас это удивляет или огорчает?

— Да нет, я лишь к тому, что она ошибается не часто, доказывая, что не место красит человека!

С этими разъяснениями Цатуров передвинул ко мне лежавшую на его столе «Ленинградскую правду» за 25 января.

— Смотри, на третьей странице.

Недоумевая, развертываю газету, и вижу стихотворный текст: «Илья Авраменко. Депутат Чукотки. Поэма». Поднимаю глаза на Цатурова:

— А о какой тут славе полярных летчиков?

— Читайте, читайте, там и ваша фамилия в конце!

В этот момент на столе зазвонил телефон. Цатуров встрепенулся, как будто ждал этого звонка.

— Да, я, Отто Юльевич!.. Слушаюсь, сейчас доставлю!

Взяв из моих рук газету, Цатуров продекламировал с выражением:

С далекой Чукотки, где яростны долгие зимы,
В дорожной кухлянке, на ноги напяливши пимы,
Летел, провожаемый чукчами, с сотней приветов
Народный избранник Тевлянто — в столицу Советов.

А в конце вот какие слова:

Под небом Отчизны, на голос московских курантов
Машину свою с депутатом Чукотки Тевлянто
Бессонный, но зоркий, с любовью ведет материнской
Сквозь вьюгу Сибири, над камнем Урала — Каминский.

— Пошли, командир. Потом прочитаешь полностью, это от тебя не уйдет.

Не успел я осмыслить все это, как мы оказались перед дверями кабинета начальника Главсевморпути О. Ю. Шмидта.

Цатуров посторонился, пропуская меня вперед. Только тут я сообразил, что слово «доставлю» относилось ко мне. А остановился в нерешительности, оробев.

— Иди, иди! Сумел натворить такое, умей и ответ держать.

Это было сказано с серьезным лицом и строгой интонацией. Только по обращению на «ты» и улыбочиво прищуренным глазам можно было предположить нарочитость этой строгости.

Сделав глубокий вздох, я толкнул дверь. Моему взору представилась большая квадратная комната, углом выходящая на улицу Разина. Панели из красного дерева по стенам, роскошная лепнина потолка и карнизов, венецианские окна на две стороны. В глубине, около окна на улице Разина, большой стол. Перпендикулярно ему длинный, под зеленым сукном стол для совещаний. На стене большая карта Арктики и портреты вождей.

Отто Юльевич, точно такой, каким я представлял его по фотографии, услышав, как отворилась дверь, поднял голову от бумаг, легко встал и, обойдя стол, пошел ко мне. Быстрый, оценивающий взгляд скользнул по фигуре и остановился на лице.

— Совсем обыкновенный парень! А я думал — увижу богатыря вроде Водопьянова! Ну-с, рассказывайте, как воюете с Чукоткой?

— Мы не воюем, Отто Юльевич, стараемся дружить. Для войны силенок маловато!

— Это хорошо сказано. Хорошо, что не бахвалитесь. С Арктикой шутки плохи. Наверное, слышали, что наш флот во льдах зимует? Ну а все-таки, как осмелились на одном энтузиазме добраться до столицы?

— Так дело ж того потребовало!

Шмидт заинтересованно повернулся ко мне всей фигурой. Как бы взвешивая ответ, пристально смотрел мне в лицо. Чувствуя, как краска заливает щеки, я опустил глаза. Но смущение рассеялось, когда услышал:

— Это третья зимовка у вас?

— Так точно! — ответил за меня Цатуров.

— Ну вот и результат! Это опыт, товарищ Каминский. И еще — большевистское отношение к своему долгу перед Родиной. Вот почему вы оказались в Москве, когда это понадобилось!

Шмидт поднялся, встали и мы. Жестом посадив нас обратно, он стал расхаживать перед своим столом и, как бы размышляя вслух, говорить:

— Тридцать четвертый год положил начало серьезному освоению Чукотки. Этот год останется памятной вехой и в истории покорения Арктики. Тогда мы делали первые шаги и чаще всего спотыкались на Чукотке. Почти ежегодно во льдах Чукотского моря зимовали транспортные корабли. Три года без смены пробыл на острове Врангеля Ушаков. Пять лет было невозможно снять зимовку Минеева. Когда затонул «Челюскин», всему ми-

ру казалось, что его экипаж обречен. И хотя челюскинцев спасли, думалось, пройдут многие годы, пока моряки и авиаторы смогут работать на Чукотке без страха.

Я помню вашу разведку осенью тридцать шестого. В критический момент для каравана ей не было цены. С тех пор я внимательно просматриваю донесения с Чукотки, но признаюсь, что мы здесь и до сих пор боимся ее сюрпризов. Когда началась выборная кампания, мы серьезно опасались, что на Чукотке она может сорваться...

Шмидт остановился у окна вполоборота к нам и задумался на минуту, как бы вспоминая, потом снова зашагал снова около стола.

— Не скрою от вас, что я колебался, когда вы запросились с Тевлянто в Москву. Да, товарищ Каминский, не в обиду будь вам сказано — колебался серьезно. Ведь еще не было случая, чтобы перелеты такого масштаба кто-то совершал в декабре. Все полеты, какие выполняли наши именитые пилоты: Фарих, Галышев, Водопьянов и другие, мы разрешали не ранее конца февраля и после основательной подготовки.

Но, посоветовавшись с Шевелевым, все же решился дать «добро». С вами был депутат Чукотки, а ему надо было попасть на сессию. Это же первый в истории член правительства — чукча! И не случайно мировая печать придала этому событию такое значение. Спасибо вам!

Отто Юльевич говорил, обеими руками держась за спинку своего кресла и добрыми глазами глядя на меня. Сказав: «Спасибо вам!», он сел и после небольшой паузы заговорил в новой, какой-то гордой тональности:

— После катастрофы «Челюскина» не прошло и четырех лет, а наши успехи в Арктике превзошли ожидания. Как вы знаете, Водопьянов осуществил свою мечту и высадил четверку Папанина на Северном полюсе. Через Арктику правительство разрешило лететь экипажам Чкалова и Громова. Самое отрадное, что наряду с ветеранами — Чухновским, Алексеевым, Фарихом, Козловым и Галышевым — встает на смену талантливая, работающая, самостоятельно мыслящая молодежь. Мы гордимся новыми именами, такими, как Павел Головин, Василий Махоткин, Иван Черевичный. Признаться, я завидую вам, молодым. Вы увидите победный конец нашего дела, увидите Арктику покоренной. И каждый из вас

будет вправе гордиться тем, что сделал для этого своими руками...

Помолчав, Отто Юльевич встал.

— А сейчас, пожелаю вам благополучного возвращения на Чукотку. Мне докладывали ваши нужды, и мы поможем вам всем, чем сможем!

Аудиенция кончилась. Шмидт молчал. Надо было что-то сказать в ответ. Хотя бы заверить, что, мол, оправдаю доверие или что-то другое в этом духе. А я онемел. Уперся взглядом в знаменитую бороду, не смея поднять глаза выше.

Видимо, Отто Юльевич понял мое состояние. Он подошел и с какими-то ободряющими словами, придерживая меня за локоть, проводил до двери...

Как часто возвращался я мыслью к этому дню в трудные, суровые минуты. Была в нем греющая сердце, ни с чем не сравнимая отеческая заинтересованность старшего к дороге молодых, вышедших вслед за ним. Справедливая оценка труда рядовых людей, делающих свое дело вдалеке, не под юпитером истории, — быть может, самая вдохновляющая для них награда...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

ЗДЕСЬ КЛЯТВ НЕ ДАЮТ, ИХ ВЫПОЛНЯЮТ

<i>Глава первая.</i> Ветры перемен дуют на Чукотку	6
<i>Глава вторая.</i> «Штурмовать далеко море посылает нас страна!»	66
<i>Глава третья.</i> Закономерность случайностей	111
<i>Глава четвертая.</i> К Полюсу недоступности	141
<i>Глава пятая.</i> Прагматик среди энтузиастов	177
<i>Глава шестая.</i> «Берегись судьбы, когда она расточает ласки!»	212

Часть вторая

СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦЫ ВОСХОЖДЕНИЯ

<i>Глава первая.</i> Если хочешь победить — атакуй!	262
<i>Глава вторая.</i> «Лишь тот достоин жизни и свободы...»	289
<i>Глава третья.</i> Под небом без солнца	306
<i>Глава четвертая.</i> Как рождаются города	322
<i>Глава пятая.</i> И свершилось чудо!	333
<i>Глава шестая.</i> Никто, кроме тебя!	342

Каминский М. Н.

**K18 Своими руками. М., «Молодая гвардия», 1977.
384 с. с ил.**

Книга полярного летчика Михаила Николаевича Каминского «Своими руками» представляет собой продолжение его книги «В небе Чукотки». Она рассказывает о становлении советской авиации в Арктике. Что может и чего стоит человек — основная нравственная проблема книги. Автор раскрывает ее на примерах людей, которые делают свою судьбу «своими руками», — покорителей Арктики, летчиков, моряков, партийных и советских работников.

к 70803—252 245—77
078(02)—77

91(98)